

Звезда Востока

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1932 года

Общественный совет журнала

Председатель совета
Бабур АЛИМОВ

Абдулла АРИПОВ
Абдулла АЗАМОВ
Баходыр АХМЕДОВ
Ольга ГРИГОРЬЕВА
Хуршид ДОСТМУХАММАД
Николай ИЛЬИН
Татьяна МОТОРНЮК
Насретдин МУХАММАДИЕВ
Кувондик САНАКУЛОВ
Мухаббат ШАРАФУТДИНОВА

Главный редактор
Улугбек ХАМДАМ

Зам. главного редактора
Ирода РАХИМОВА

Ответственный секретарь
Зиёдбек УРИНОВ



Республика Узбекистан
Ташкент

СОДЕРЖАНИЕ

Бобур АЛИМОВ

В преддверии великого праздника 3

ПРОЗА

Адыл ЯКУБОВ

Где ты, Морико? (Рассказ) 7

Владимир БАГРАМОВ

Журавлёвка. (Роман) 17

Герман ГЕССЕ

Тропа мудрости. (Индусский роман) 40

Назар ЭШОНКУЛ

Люди войны. (Повесть) 78

Сергей ТАТУР

Железные люди. (Фантастическая повесть) 88

Галина ДОЛГАЯ

Поцелуй Тигра. (Невыдуманная история) 94

Галина РАХМАТУЛЛАЕВА

Мозаика жизни. (Цикл рассказов) 111

Ольга ГРИГОРЬЕВА

Синдром страха, или закон матрешки.
(Фантастический роман) 120

ПОЭЗИЯ

Вафо ФАЙЗУЛЛАХ

Жить бы и жить, малой искрой сверкать. (Стихи) 85

Рашид АЗИБЕКОВ

В небесный омут с головой шагнул
в ту осень я. (Стихи) 104

Рано ЮНУСОВА-АЗИМОВА

Я вобрала в себя этот мир. (Стихи) 108

Маргарита ТАРСИНА

Созвучие чувств. (Стихи) 117

ВЫМЫСЛЫ И ХИТРОСПЛЕТЕНИЯ

Николай ИЛЬИН

В сезон больших бабочек.
(Фантастический рассказ) 132

ПРОСВЕТИТЕЛИ ВОСТОКА

Дилором АЛИМОВА

Абдукадыр ШАКУРИ, Ашуралли ЗАХИРИ 136

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Томирзон УМИРЗАКОВ

Роман Д. Джойса «Улисс» переводится на
узбекский язык 137

ПУБЛИЦИСТИКА

Юрий МОРИЦ

Имморализм в аспекте аксиологии 141

Звезда Востока

2011 № 1

Учредитель

Союз писателей Узбекистана

ИНДЕКС – 831

Журнал зарегистрирован
Узбекским агентством печати и
информации
Reg. 0296

Адрес редакции:

100027. Ташкент, ул. Узбекистанская,
д.16 А (4 этаж).
Тел: 245-27-87.

E-mail: zvezdavostoka1932@mail.ru
www.zvezdavostoka.uz

Дизайн, верстка, оригинал-макет

Акбарали Мамасолиев

Редактор

Светлана Шеглова

Подписано в печать 10.03.2011.
Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Усл. п.л. 12,60. Уч.изд.л. 14,86
Тираж 785 экз. Заказ № 1046-11
Цена договорная.
Отпечатано в типографии
ИПТД «Укитувчи»
г. Ташкент, ул. Навои, 30.

Редакция журнала осведомляет
авторов о том, что к рассмотрению
принимаются рукописи,
выполненные в компьютерном
наборе.

Набор текста в любом формате с
приложением дисков и распечаткой.
Рукописи не возвращаются.

Перепечатка без соглашения с
редакцией не допускается.
Ссылка на журнал «Звезда Востока»
обязательна.

Copyright © «Звезда Востока»

Бобур АЛИМОВ,
Председатель Союза писателей
Республики Узбекистан

В ПРЕДДВЕРИИ ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА

Работая над данной статьей для первого номера всем известного и уважаемого журнала «Звезда Востока», мне вспомнились все те знаменательные события, которые нам предстоит отпраздновать в наступившем 2011 году.

Этот год особенно значим тем, что в нем будет отмечаться самый великий, самый дорогой и священный для всех нас праздник – 20-ая годовщина Независимости страны, народ которой живет в мире и согласии, в созидательном труде и обновлении всех сторон жизни на благо нашей земли.

Любой молодой человек, в двадцать лет с надеждой вступая во взрослую жизнь и достигая зрелости, окрепнув и возмужав, сможет отличать белое от черного. Продолжая приобретать жизненный опыт, он хорошо осознает всю ценность национального достояния, значимость для него окружающих людей, родных и близких. Он с самых первых своих шагов до накопления практического жизненного опыта, пройдя сквозь различные трудности, приходит к тому, что обретает мудрость и дальновидность в поступках.

Историческая веха двадцатилетия Независимости – это праздник, о котором мечтало прошлое и нынешнее поколение соотечественников, которые в своих сердцах несли любовь к Родине и старались отразить это в своем творчестве. С глубокой древности и до сегодняшних дней в самые суровые и тяжелые годы наш народ сохранял свое культурное наследие – обычаи и традиции, почитаемые священные места, древние рукописи, памятники архитектуры. Все это делалось лишь с одной целью – сохранить нашу ментальность и самобытность, и в этом процессе творческое сообщество сыграло основополагающую роль. Наш уважаемый Президент отмечал, что **«...Некоторые наши писатели получили воспитание в советское время, много лет творили в духе господствующей идеологии. Но правда и в том, что многие из них, хотя на словах и поддерживали идеи коммунистического режима, на самом деле всей душой их не принимали. Потому что коммунистический режим не позволял человеку, народу, нации жить и мыслить свободно, он был направлен против национального мышления, религиозных ценностей, и творческая интеллигенция глубже всех понимала это»**¹.

Действительно, в тот период времени национальный дух внедрялся в сознание поколений, прежде всего посредством художественных и литературных образов в произведениях различных жанров, будь то маленькое стихотворение, рассказ или же повесть и роман. И это свойство нашей национальной литературы до периода

¹ Каримов Ислом. Адабиётга эътибор – маънавиятга, келажакка эътибор. Тошкент. «Ўзбекистон». 2009. С. 10, 11.

Независимости, как отмечал Президент нашей страны, достойно уважения и признания. В течение прошедших столетий высокие образцы литературно-художественного творчества, отражая духовные ценности народа, смогли сохранить у разных поколений наш менталитет, национальную гордость, самосознание, патриотизм, собственное мировоззрение, обычаи и традиции, пронся все это сквозь экономические и социальные кризисы. Литература, служа своему народу в условиях тоталитарного режима и всеобщей цензуры, спасла и сохранила наши духовные ценности. Сегодня защитником и хранителем нации стало наше великое и независимое государство.

За двадцать лет во всех сферах общества, в частности в духовной и культурной областях, произошли коренные изменения. Наш Президент Ислам Каримов в своем труде **«Адабиётга эътибор – маънавиятга, келажакка эътибор» («Забота о литературе – забота о духовности и будущем»)**, признавая основополагающую роль литературы в воспитании совершенного человека и развитии духовности народа, отмечал: **«Общеизвестно, что XXI век – век интеллектуального развития, мышления и духовности, открывая перед человечеством все новые и новые горизонты, вместе с тем поднимает острые проблемы, прежде не встречавшиеся нам.**

В это сложное и противоречивое время писатель, задумываясь о будущем человечества, должен животрепещущим словом пробуждать в людях благородство, совесть, любовь, милосердие и великодушие.

И эти пламенные слова должны приобретать первостепенное значение в их творчестве»².

Опираясь на сказанное руководителем нашего государства, я считаю, что неотъемлемая часть духовности – это литература, которая является именно той силой, которая помогает защитить людей от различного рода ошибочных путей, от злодеяний, безверия и непросвещенности. Страна и народ тогда едины, когда духовность становится их опорой, душой. Подлинно талантливое литературное творчество, направленное на то, чтобы призвать людей быть совестливыми, милосердными, великодушными и добрыми во всех их начинаниях и делах, служит этим своей стране и народу. И бесспорно то, что духовность и литература – это тот источник, который способен показать подлинно человеческое в человеке. Великий поэт, мыслитель и политический деятель Алишер Навои придавал большое значение силе слова:

*Основа цветущего рода есть слово,
И душу развить помогает нам слово.*

Высокообразованные люди разных времен всегда считали, что родной язык – это самое великое наследие. Если говорить о наших дедах и отцах, живших в период духовной несвободы, то они не могли в полную меру реализовать свои творческие мечты, но сегодня дети нашего народа имеют возможность претворить эти мечты в жизнь. Сегодня наши современники уверены в своей судьбе, их сердца переполнены гордостью и достоинством, потому что в Узбекистане произошли коренные изменения в социальной и экономической сферах.

Любая сфера деятельности человека – будь то промышленное производство или система образования и просвещения – решает сегодня новые великие задачи, отражающие интересы народа.

Мы с честью, гордостью и достоинством пришли к нашему двадцатилетнему празднику свободы. Разве эти годы по своей значимости не равны целому столетию, а каждый день не равен ли году? Не давались ли нам правильные и, самое главное, далеко идущие решения, благодаря огромной силе воли и труду каждый новый день, шаг за шагом, во всех отраслях деятельности человека, от сельского хозяйства до тяжелой промышленности? Ведь понятие «Независимость» предполагало новые преобразования во всех сферах – в экономике, политике, просвещении. Национальное образование, промышленность, производство, национальная безопасность, армия, социальная защита – все это общенародные и великие наши задачи. Наш народ под руководством

² Там же. С. 11, 12.

главы государства с честью прошел этот созидательный путь. Можно сказать без преувеличения, что каждый шаг до сегодняшнего дня был сделан обдуманно, с мыслью о будущем народа, нации и этот путь имеет огромное значение. В стране проведены позитивные реформы, они успешно реализованы. Коренным образом обновлены все сферы жизни общества, а также внутренняя и внешняя политика. Все это показало и доказало, что наша страна достойна великого будущего – быть в одном ряду с самыми развитыми странами мира.

Узбекистан имеет собственную модель развития, выбранную с учетом нашей ментальности. Немаловажное значение имеет и то, что многие государства в мире стали брать с нас пример. Наряду с развитием различных сфер народного хозяйства и экономики весьма значимы и мероприятия, связанные с духовностью и литературой. Труды руководителя нашей страны, такие как **«Юксак маънавият – энгилмас куч» («Высокая духовность – непобедимая сила»), «Адабиётга эътибор – маънавиятга, келажакка эътибор» («Забота о литературе – забота о духовности и будущем»),** а также указы об организации фонда «Ижод» и реконструкции и активном использовании Дома творчества «Дурмон», – все это является подтверждением вышесказанному и, без сомнения, является только началом, основой для еще более великих созидательных деяний и светлых перспектив для государства и народа.

Если быть последовательным, то нельзя не отметить важности в труде Президента **«Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқарорлик жамиятини ривожлантириш концепцияси» – «Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране» главы под названием «Ахборот соҳасини ислоҳ қилиш, ахборот ва сўз эркинлигини таъминлаш» – «Реформирование информационной сферы и обеспечение свободы слова и информации»,** в которой отражаются основные задачи СМИ в жизни общества. Ведь совершенствование политических связей, государственного управления, судебно-правовых отношений, социально-экономической сферы и их реформирование связаны с общим развитием самого общества, с развитием духовности и вместе с ней литературы.

В указанной книге также сделаны предложения и поставлены задачи, повышающие значение духовности, литературы в процессе демократических преобразований, модернизации общества на современном этапе развития страны. Слово «модернизация», означающее «коренное качественное изменение», у нас получило, таким образом, еще более широкое значение. Свидетельством тому задачи, поставленные в нашей стране в экономической и общественной сферах, которые привели к качественно новым позитивным изменениям в обществе. Нужно изменить также сознание и мировоззрение наших людей. Человек XXI века, впитавший в себя духовно-нравственные ценности народа – это, конечно, интеллектуальная личность, которая идет в ногу со временем, горячо любит свою Родину и, уважая обычаи и традиции других народов, имеет толерантность. Будущие поколения должны целенаправленно и твердо придерживаться этой линии. Поэтому становится очевидным, какая ответственность возлагается на современных поэтов и писателей: им необходимо всегда помнить о тех задачах, которые поставлены перед ними в деле воспитания молодежи в духе идей национальной независимости.

Поэтому наше правительство уделяет особое внимание деятельности средств массовой информации, нашей литературе, издательскому делу, журналам и газетам, в вопросах воспитания у молодого поколения высокого духовного и всесторонне гармоничного развития. Все более актуальными становятся задачи по защите подрастающего поколения от вредного воздействия образцов так называемой «массовой культуры» в условиях глобализации, где современные СМИ занимают значительное место. Под видом «массовой культуры» могут скрываться такие элементы, как бескультурье, насилие, эгоцентризм, неприятия вековых традиций, обычаев и образа жизни других народов. Любой мыслящий человек должен обеспокоиться и задуматься над тем, как предотвратить влияние подобных идей.

В брошюре **«Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране»** руководитель нашего государ-

ства осветил вопросы перехода на новый уровень развития в различных областях и отдельно остановился на задачах, связанных с сущностью, значением и свободой деятельности средств массовой информации. В сегодняшних быстро меняющихся условиях СМИ должны опираться на духовно-национальные традиции нашего общества, поднимать уровень духовности народа. В современной литературе, начиная с периода Независимости, отражается жизнь и те события прошлых лет, которые были связаны с надеждами и чаяниями старшего поколения, с преодолением всевозможных запретов, а также с проблемами сегодняшнего и завтрашнего дня, осознается вся сложность создания образа современного человека и его духовно-нравственных исканий, поиска своего места в обществе. Обращаясь к образам современников, писатели и поэты должны отразить их деяния и поступки, показать людей, идущих не только в ногу со временем, но и впереди него. Эти литературные образы, несомненно, должны найти отклик и одобрение в сердцах наших граждан, особенно молодежи.

В работах, выступлениях, программных заявлениях Президента очевидно проявление внимания к творческому сообществу нашей страны, уважение к его труду. Это внимание и забота налагают еще большую ответственность на творческих людей, потому что перед художниками слова стоит задача формирования нового мировоззрения.

Отмечая наши достижения и победы, следует все же отметить, что есть немало нерешенных проблем. Основные из них – это наличие противоречий между старым и новым сознанием, различные пережитки и пороки, оставшиеся нам со времен тоталитаризма. И все это должно найти отражение в произведениях наших писателей, показываться в образах персонажей – носителей этих недостатков и героев, борющихся против них.

В нашей современной литературе важно создавать образы интеллектуально развитых, образованных героев, осознающих свою ментальность, проявляющих национальную гордость, ценящих славные наши традиции и культурное наследие, доставшееся нам от предков, любящих свою страну. Эта цель и святой долг перед Родиной всех членов Союза писателей Узбекистана, издателей, редакторов, журналистов и других работников печати.

С первых дней Независимости наше правительство не оставляло без внимания проблему воспитания молодежи в духе национальных духовных традиций. В этом направлении последовательно ведется работа по выявлению одаренной молодежи, начиная с дошкольного и школьного возрастов, а также учащихся колледжей и вузов, создаются все условия для развития их таланта. Все это касается и большой литературы. Наши талантливые писатели и поэты вносят немалый вклад в процесс воспитания будущего поколения в духе верности и уважения к Родине. Они глубоко осознают все идеологические угрозы, информационные войны, социальные события и потрясения, происходящие в мире.

Для нас 20-летняя годовщина Независимости страны совпадает с еще одной знаменательной датой – юбилеем всенародно любимого журнала «Шарк Юлдузи», который на протяжении 80 лет являлся отражением узбекского литературного процесса. В годы Независимости каждый номер журнала представляет собой определенный этап развития нашей литературы. И с гордостью можно сказать, что в литературно-художественный процесс вовлекаются все новые и новые молодые таланты. И одной из главных задач журнала является – познакомить народ с ними.

Думаю, что мы готовы выполнить поставленные перед нами важнейшие жизненные задачи. И очень важно, чтобы сердца наши горели вдохновением, смелостью и высокой национальной идеей. И тогда мы сможем многое достичь и добиться на пути осуществления великих целей нашей Независимости.

проза

АДЫЛ ЯКУБОВ



ГДЕ ТЫ, МОРИКО?

Рассказ

Жизнь человека непредсказуема и полна неожиданных событий...

Вернувшись с торжественного праздничного собрания, посвященного Дню памяти и почестей, я решил отдохнуть, как вдруг зазвонил телефон.

В трубке раздался звонкий голос девушки.

– Вы писатель? Я звоню с «Узбектуризма». К нам приехала группа туристов из Японии. Одна дама из этой группы спрашивала о Вас и хочет с вами встретиться.

Я удивился:

– Откуда она меня знает?

– Не знаю, – ответила девушка. – Во время Второй мировой войны, вы же участвовали в Японской войне и были в городе Порт-Артур?

Я еще сильнее удивился.

– Да, я был там. Но...

Девушка перебила меня:

– Она знает русский язык и прочла одну из ваших книг, которая называется «Улугбек».

Порт-Артур! Японская женщина, знающая русский! Давным-давно забытые, но все еще дремавшие в уголках моего сердца далекие чистые воспоминания ливнем нахлынули и унесли меня в прошлое.

– Алло, – сказала девушка. – Почему Вы замолчали? Или Вы не хотите встретиться с ней?

– Нет-нет почему же! Хочу...

– Тогда запишите мой телефон и назовите удобное для Вас время. Остальное я организую сама.

* * *

Дальний Восток. Теплые осенние месяцы 1945 года, маленький и уютный городок Порт-Артур, построенный для японских офицеров. Спрятавшиеся посреди изумрудных рош, опрятные и красивые одноэтажные домики. Японская девочка Морико, мило тараторящая по-русски...

Почти на две тысячи верст раскинулась великая пустыня Гоби, по которой нам – солдатам с трудом пришлось идти. Но вот остались позади и горы Хинган, преграж-

давшие нам дорогу. А впереди раскинулась бескрайняя и безграничная ярко-зеленая долина. Это была Маньчжурия.

Нас, измученных, оборванных, обросших, оставшихся в одних портянках солдат – обмундирование наше истлело и изорвалось в пути – опять погнали вдоль этой долины. За неделю мы добрались до какого-то городка, где проходила железная дорога. Здесь нас, как селедок в консервных банках, набили в красные вагоны и повезли. Состав, как сонная муха, тащился целую неделю через какие-то города (впоследствии мы узнали, что это Мукдси и Харбин). Затем людей словно спички из коробка, вытряхнули на холмистой возвышенности около города Порт-Артура.

В тех местах росли великолепные яблоневые и грушевые сады. Днем мы ныряли в эти сады, оставшиеся без присмотра, и, наполнив пазуху яблоками и грушами с медовым вкусом, спускались к нашим палаткам. Нас тоже на некоторое время оставили без присмотра... Целыми днями мы лежали, слонялись без дела, бродили в этих рощах – в общем, были предоставлены сами себе.

А чуть вдалеке нам был виден раскинувшийся небольшой, но несравненно прекрасный Порт-Артур, построенный с великолепным вкусом и мастерством. С одной стороны города сверкала на солнце голубая речка, впадающая в океан. А там – на горизонте виднелись плывущие корабли. Куда они направляются? Мы с тоской вглядывались в голубоватый дымок, выходящий из их труб. «Может быть, однажды мы тоже отправимся на одном из них на родину, а может наши останки будут похоронены в этой красивой, но чужой нам земле», – такие мысли проносились в сознании и от этого становилось грустно и шемило на сердце.

Эта «вольная» жизнь длилась десять дней. Наконец, со всех окрестных воинских частей к нам стали наведываться их представители или «сваты» (мы их так называли). Они отбирали нужных им солдат: снайперов, пулеметчиков, автоматчиков, а то и поваров, парикмахеров и портных.

В один из таких дней в нашу, так называемую роту, а на самом деле неорганизованную толпу, пришли два офицера и молодой красивый майор с позвякивающими орденами и медалями во всю грудь. Кроме десяти-пятнадцати автоматчиков, им нужен был в штаб грамотный солдат с хорошим почерком.

Командир нашей роты был отличным бойцом, но закончил всего семь классов, поэтому, составляя разного рода донесения «верхам», всегда обращался ко мне. Он-то и порекомендовал мою кандидатуру. Майор осмотрев меня со всех сторон, внезапно спросил:

- Откуда ты родом?
- Из Узбекистана, – сказал я.
- По национальности узбек?
- Узбек.
- Сколько классов закончил?
- Десять.
- Твой русский неплох. Когда научился?
- До пятого класса учился в русской школе.
- Ты видел Ташкент?
- Видел.

Майор, усмехнувшись, спросил:

– А что означает Ташкент?

Я опешил.

– Ташкент – это Ташкент!

Майор сдвинул мне на нос мою старую, замасленную шапку, засмеялся и сказал:

– Эх, ты, даже этого не знаешь. Ташкент – это город, построенный из камней. Таш – это камень! Кент – город!

Я смутился, но майор сделал вид, что не заметил и сказал:

– Хорошо. С сегодняшнего дня будешь моим секретарем. До обеда – служба в

штабе, потом мелкая работа по дому. Например, будешь ловить мух. – Он вновь засмеялся, поглаживая усики, которые так были ему к лицу.

С этого дня моя жизнь из мучительной и нечеловечески тяжелой участи солдата-пехотинца превратилась в сущее блаженство. Большую часть времени я проводил в доме моего командира – начальника штаба. Майору выделили красивый коттедж, со всех сторон обросший можжевельником, а находился он на берегу моря, неподалеку от крепости Порт-Артур. Когда-то этот дом принадлежал влиятельному японскому генералу... Теперь и генерал, лишившийся всех титулов и наград, жил в маленьком сарайчике в конце двора вместе с двумя дочерьми. Старшую звали Чикосан, ей было около 22–23 лет, а младшую – Морики. Отставной генерал после неудачной военной кампании отошел от мирских дел, жил уединенно, ревностно охраняя своих дочерей от русских офицеров.

Я поначалу не обращал на них внимания, занятый своими делами. Работа моя была необычная, совсем не похожая на солдатскую службу.

По утрам вместе с начальником я ездил в майорской машине в штаб. До обеда печатал мелкие донесения на машинке для генерального штаба (за одну неделю я научился печатать), а после обеда выполнял личные поручения майора. Два раза в неделю ходил в полковой склад и получал продукты. Паек, который выдавали офицерам, по тем временам был роскошным: хлеба хоть завались, а трофейные продукты – снеди, еще захваченные у японцев, целые пакеты хрустящего галетного печенья с медовым вкусом, сгущенное молоко, мясо, рыбные консервы, колбасы трех-четырёх видов, несколько бутылок спирта – все это не только для одного человека, но и для пяти или шести человек оказалось бы сверх нормы.

Продукты я раскладывал в погребе, затем гладил одежду майора, убирал комнаты. На это уходило около двух часов, а в остальное время, как и говорил майор, можно было и мух ловить. Когда мне было скучно, брал бинокль и наблюдал из окна за жизнью хижины поверженного генерала, а, если честно, следил за шалостями и проказами его дочерей, которые скучали в пять раз больше меня. Однажды во время этого занятия меня застал майор. Я не заметил, как он вошел в дом, потому что был поглощен озорством двух девушек, которое дошло до предела: сначала они, громко смеясь, обливали друг друга водой, затем, сняв насквозь мокрые платья, почти обнаженные, выжимали их. Я был очень взволнован, и у меня сильно билось сердце, ведь я был все-таки деревенским парнем, в своей жизни еще не видевшим обнаженных девушек.

– Ты что делаешь? – От такого властного голоса я вздрогнул и вскочил с места.

– Ничего, товарищ ... майор!

– А ну дай сюда бинокль! – приказал майор. Какое-то мгновение он неподвижно смотрел в бинокль на хижину генерала и вдруг впал в мое состояние.

– Вот негодницы, – сказал он, с трудом оторвав глаза от увиденного. – Смотри-ка какая изящная и тонкая талия. Прелесть! Особенно старшая... Я вчера узнал у одного приятеля, что человек, которого мы считали генералом, на самом деле контр-адмирал. Он героически участвовал в морских сражениях и разгромил американский флот в 1941 году. Его жена умерла. Живет он с двумя дочерьми. Старшую зовут Чикосан, а того маленького чертенка – Морики. Говорят, что муж Чикосан был камикадзе. Ты знаешь, что означает слово камикадзе? Так называли императорских летчиков, которые сами себя обрекали на смерть. Они на самолетах врезались в американские военные корабли и погибали... О, господи!

Майор, глубоко вздохнув, покружил по маленькой комнате, и вдруг неожиданно его темные глаза игриво сверкнули.

– Слушай меня, приятель, – сказал он тяжело дыша. – Не попробовывать ли нам вскружить им головы. Младшая из сестер еще мала. Но старшая – моя. Что скажешь?

Я вспомнил о высказываниях офицеров в штабе о том, что связи русских офицеров с японскими девушками и молодыми женщинами строго запрещены. И за нарушение приказа последует жестокое наказание.

– Э, – сказал майор, нетерпеливо махнув рукой. – Волков бояться – в лес не хо-

дить! Сам Господь бог предоставил нам такую возможность, и мы должны отказаться? – воскликнул он и спросил:

– Что у тебя есть из продуктов?

– Все! Вы же кроме спирта ничего не употребляете, товарищ майор!

– Тогда сделай так! – перебил он. – Найди одну коробку! Положи туда пару банок сгущенного молока, пару пакетов галетного печенья. Они до смерти любят их! Положи еще пару палок колбасы! А я пока напишу письмо.

– Они же не знают языка, как я объясню им?

– Растяпа. Столько живешь и не видел? У сестер есть крохотный русско-японский словарь. Он постоянно с ними. Иди, выполняй приказ!

Спустившись в подвал, я нашел картонную коробку и наполнил ее всякими лакомствами. Мой начальник, волнуясь, нетерпеливо ждал меня.

– Прочитай! – сказал он, – У меня от тебя секретов нет!

Письмо майора состояло всего из нескольких строчек: «Чикосан! Я тебя люблю! Очень-очень люблю! Жду вечером, когда стемнеет. Если не придешь, я умру. Крепко обнимаю, майор Миша Ногов».

– Ну как, хорошо написано?

Майор весело расхохотался.

– Знаю из опыта – ни одна молодая женщина не устоит перед таким посланием! Что ты понимаешь в этих делах, молокосос? Ты вообще хоть однажды целовался? – майор опять громко захохотал, поглаживая свои тоненькие усики. – Теперь вот что сделай, приятель! Спрячь коробку под дерево и знаками позови того маленького чертенка.

– А если увидит генерал?

– А что он может сделать. Ну, увидит и что? Пусть гордится этот старый обшипанный петух, что русский офицер без памяти влюбился в японку. А эта хитрая плутовка должна стать почтальоном между мной и сестрой. Если ты ее уговоришь – очень хорошо! А если нет, выгоню из штаба. Будешь на службе с утра до вечера ползать по земле! Иди, боец, выполняй приказ! Вон, как будто чувствует, вышла во двор, поливает ели. Я сосватаю ее тебе!

Действительно, маленькая Мориико, босая, в коротеньком платьице с оголенными руками, из шланга поливала деревья.

Я, простой паренек, по правде сказать, еще никогда в жизни не общавшийся с девушками, трепеща вышел во двор. Положив коробку с нашей стороны под арчу, знаками подозвал Мориико. Я думал, что она испугается и убежит. Но Мориико, отбросив шланг, вприпрыжку подбежала ко мне (сестры видимо давно ждали от нас знаков внимания). Она так близко подошла ко мне, что я почувствовал ее легкое дыхание. Она была мила и изяшна даже в простом летнем платьице. Ее девичьи груди задорно выступали, словно маленькие спелые хандаляшки¹. Мориико случайно коснулась меня и зажгла огонь в моей душе. Ее слегка раскосые глаза смеялись и блестели золотыми искорками на солнце.

– Это тебе, – сказал я, открыв коробку.

Мориико хихикнула.

– О-о, это очень много, – сказала она, произнося русские слова с японским акцентом. Мне в ней нравилось все – и ее смех, и произношение, и коверканье слов, напоминающее лепет младенца.

– А это сестре Чико! – сказал я и протянул письмо майора. – Хочешь, можешь прочитать. Не секрет!

Мориико, взяв письмо, пробежала его глазами:

– Я сейчас, сейчас, – сказала она и стремглав кинулась в свою сторону двора.

Я остался стоять на месте, а майор, открыв окно, нетерпеливо спросил:

– Ну, что там?

¹ Хандаляк – сорт скороспелой маленькой дыни, имеющей круглую форму и чудесный запах.

Я невольно рассмеялся.

– Не торопитесь, дело спорится. Она ушла переговорить с сестрой!

Морики скоро вернулась, прижимая к груди русско-японский разговорник. Ее лицо светилось по-детски озорно и весело.

– Сестра согласна, – сказала она, то поглядывая на меня, то подыскивая слова в разговорнике. – Только не сегодня, потом, завтра.

– Почему?

– Потому что... – она опять стала листать словарь. – Потому что, если девушка сразу согласится... будет стыдно! – сказав так, она, как ребенок, весело засмеялась, с легкостью подняла коробку, помчалась к своему домику и молниеносно скрылась за дверь.

Обрадовавшись, я побежал к майору. Выслушав меня, он рассвирепел.

– Почему не сегодня, почему завтра? Боец, ты не смог хорошо выполнить приказ! Иди заново поговори, приятель. Вон младшая снова вышла поливать. Скажи ей, объясни! Скажи, если сегодня не придет, мой командир умрет!

На этот раз Морики уныло ответила:

– Хорошо, я объясню сестре! – она с неохотой пошла в дом, но через какое-то время, улыбаясь, вернулась.

– Хорошо, если капитан умирает... Сестра сказала, что придет, и пусть не умирает беденький, – Морики, хихикнув, хотела скрыться, но я быстро схватил ее руку.

– Ты тоже приходи, Морики, хорошо? Придешь? – спросил я, задыхаясь от волнения. Не вырывая руки, она сказала со смешком:

– А что будем делать?

– Поговорим.

– И все?

– Если согласишься, если захочешь, я разок поцелую тебя!

Морики, играя черными, как маслины, глазами, кокетливо промолвила:

– Нет, мне нельзя целоваться!

– Почему?

– Потому что... потому что я маленькая.

Она положила мне на плечи свои маленькие ладошки.

– Когда я буду как ты, мне можно будет целоваться.

Игриво расхохотавшись, она вырвала свои руки и убежала.

На этот раз майор остался доволен.

– Вот это другое дело, солдат! – сказал он и похлопал меня по плечу. – А когда придет? Не назвала время?

– Зачем вам время? Как только стемнеет, она и придет. Потерпите немного!

– Иди, иди, занимайся своими делами. Дай храпака, к примеру. Дальше не твое дело!

И после таких усилий, не мое дело?! Я долго лежал, как лев в клетке, в комнате майора, прислушиваясь к шагам.

Уже стемнело, а Чико не было слышно. Чтобы отвлечься, я стал думать о Морики. Мои мысли были светлыми, как лучи солнца. Я был уверен, что если не сегодня, то на днях она обязательно придет. Если придет... что будет... что делать-то? – от этих вопросов тревожно трепетало сердце, бросало в дрожь.

В сладких грезах я крепко заснул. Утром меня разбудил майор, резко сдернув одеяло.

– Ты мой подчиненный, или я твоя прислуга? Уже полдень, бездельник, – майор стоял надо мной, по-детски улыбаясь.

– Товариш майор, Чикосан приходила?

Майор, поглаживая усики, иронично усмехнулся:

– Ишь, приходила ли?! Только сейчас ушла! Такая нежная, как шелк! Черт, ласкится к рукам, словно кошечка! Нет! – взерошив волосы, он покачал головой. –

Сколько я перевидал красавиц! наших русских марусек, хохлушек, полячек, немок. Только с твоими узбечками ничего не вышло, – сказал он, по-моему, желая меня обрадовать – когда я служил в Ташкенте, я много раз пытался ухаживать за ними. Ваши девушки – другие. Ну, да ладно!

Майор внезапно смутился от своих слов и, громко кашлянув, приказал мне:

– Значит так, эта Чикосан не пьет спирт, черт бы ее побрал! Нужно найти пару бутылок вина, друг! Ты сегодня не ходи в штаб, сразу беги на склад. Скажи завскладу, что от майора. Передай, чтобы хоть из-под земли нашел пару бутылок вина. Боец, задание понятно, приятель?

– Понятно, товарищ майор!

– Если понятно... выполняй приказ! Убери дом. Может, тебе удастся уломать младшую. Может, и она вечером придет. Если придет... будем свояками!

Майор в прекрасном расположении духа отправился в штаб. Я сразу схватил бинокль, но ни Чико, ни младшей не было видно.

При мысли о предстоящей встрече, сердце мое тревожно сжималось. Я тщательно убрал дом, выгладил сначала одежду майора, а потом свою, наконец, взяв под мышку торбу, помчался на склад. Завсклад, близкий приятель майора, выслушав меня, заворчал:

– У меня есть пара бутылок вина, припас для командира полка. Если он потребует, что я скажу?

Однако не отказал. Завернув бутылки в плотную бумагу, спросил:

– Твой начальник случайно не связался с какой-нибудь японской девушкой?

– Нет, ваш друг разве обратит внимание на японку? Вы же знаете, сколько у него друзей-приятелей. Каждый вечер собираются, кутят!

– Ты, парень, смотри за ним. Пусть глупостей не наделает. Есть приказ, согласно которому если офицеры встречаются с японками... то не только майора, но и генерала выпрут из армии...

Слова завсклада не возымели на меня никакого действия. В прекрасном настроении (выполнено второе «боевое» задание командира), со светлыми мыслями о Морики я, засунув две бутылки в торбу, быстренько помчался домой.

Морики во вчерашнем легком платьице стояла босиком около палисадника под нашими окнами и поливала цветы из дырявой посуды. Я с надеждой поспешно подбежал к ней.

– Морики, идем, зайди ко мне!

Морики, перестав поливать, посмотрела мне в глаза:

– Что будем делать?

По ее губам пробежала кокетливо-лукавая улыбка.

– Поговорим.

– Какая польза от пустых разговоров?

– Есть толк, – ответил я, показав бутылки.

– Я не пью вино! – сказала Морики.

– Морики! Умоляю! Дорогая Морики!

– Хорошо, – обворожительно улыбнулась она. – Если не будешь приставать, зайду. – И как экзотическая бабочка вспорхнула и скрылась за нашей дверью.

Весь трепеща, я вошел вслед за ней. Вся моя решимость куда-то исчезла.

Морики сидела на кровати в моей комнате, от былой ее игривости не осталось и следа. Ее черные раскосые глаза были наполнены какой-то глубокой печалью. Я сел рядом.

– Что с тобой, Морики?

– Это была моя комната, – она тяжело вздохнула. – Вон те стены были украшены моими рисунками и собственноручной вышивкой.

– Зачем ты их унесла? – спросил я, и сам пожегся от своего вопроса.

Морики бросила быстрый взгляд, и на ее нежном лице появилось холодное, похожее на ненависть выражение.

– Почему я должна оставлять свои рисунки, вышивку, которую я с любовью вышивала, солдатам, унижающим нас, – сказала она с какой-то неожиданной яростью.

Опешив, я не знал, что ответить.

– Морики, оставь эти разговоры...

– Подожди, – сказала она, слегка смягчившись. – В комнате напротив жила Чико со своим мужем, а в комнате, где живет твой начальник, жили отец (она произнесла «отес») с моей покойной мамой. На окнах и дверях висели красивые шторы. Красивые цветы стояли в больших горшках, в комнатах были дорогие столы и кресла. Сейчас везде пусто.

Я обнял ее нежные, по-девичьи хрупкие плечи.

– Мы же солдаты, Морики. А что есть у солдат? Лучше разреши разок поцеловать.

– Отпусти, – сказала она.

– Не отпущу! Один поцелуй!..

– Отпусти, – сказала она не шелохнувшись. – Я сильная, так и знай. Не веришь? Вот! – рванувшись, она выскользнула, как скользкая рыбка, из моих объятий и по-детски рассмеялась. – Я была первой среди гимнасток в Порт-Артуре, так и знай. Не веришь?

– Верю, верю, Морики.

– Еще знай, что в конкурсе красавиц я заняла первое место. У меня есть диплом, – сказала она все с той же детской гордостью. – Вот смотри! – и она высоко подпрыгнула, едва не задев потолок. Затем проделала кульбит – грациозно перевернулась в воздухе и оказалась передо мной. Она была такой милой, красивой девочкой с обворожительной улыбкой!

– Морики, ты еще получишь титул первой красавицы не только Порт-Артура, но и в конкурсе красавиц мира! Иди, посиди со мной рядом!

– Постой, – сказала она. – Только не давай воли рукам. Я сама тебя поцелую.

Наклонившись, она прикоснулась к моим губам своими пухлыми, нежными губами. Ее губы пахли медом и имели вкус сладкого галетного печенья. Мне показалось, что комната, этот город и даже весь мир наполнился каким-то волшебным светом. Забыв о просьбе девушки, я обнял ее тонкую, гибкую, как прутик ивы, талию.

– Отпусти, солдат! – Морики изящным движением высвободилась из моих объятий.

– До свидания, солдат! – она рассмеялась веселым детским смехом и подобно удивительной бабочке выпорхнула за дверь.

Я был заворожен и не мог пошевелиться...

Около десяти дней моя жизнь протекала как в волшебном сне, я жил проказами и милыми проделками Морики. А для майора жизнь превратилась в сплошной праздник. Каждое утро, приходя ко мне, он поглаживал усы и повторял одну и ту же фразу:

– Нет, никто не сравнится с этими японками! Я очень много видел красоток, но таких не встречал! – И каждый день задавал мне одни и те же вопросы:

– Ну, как твои дела?

– Неплохо, товарищ майор!

– Перешел дальше поцелуев?

– Нет, товарищ майор.

– Тряпка! – усмехался он, натягивая мне пилотку на глаза. – Так тебе и надо, растяпа!

К сожалению, эти сказочные дни, озарившие мир чудесным светом, неожиданно закончились. Закончились внезапно, как гром среди ясного дня. Генерал, по видимому, обо всем узнал и запер дочерей дома. Злой, обросший, в лохмотьях, он время от времени появлялся во дворе и в полном одиночестве кружил по двору, как сумасшедший, бросая ненавидящие взгляды в нашу сторону.

Майор терпел день, терпел другой, а на третий – пришел навеселе, почернев от тоски.

– Что же это делает сумасшедший старик? – спросил он, взяв в руки бинокль.
– Он что, запер их в подвале? Если он и сегодня их не выпустит... вечером я этого негодяя расстреляю! – Майор был очень зол, но вдруг он воскликнул:

– Ого, куда направляется этот безумный старик, еще и генеральскую форму одел! Кто ему разрешил?

Из-за густых деревьев, стройным рядом закрывавших убогую генеральскую хижину, показался генерал. Он шел, почесывая растрепанную бороду. Он действительно был в генеральском кителе, в фуражке с прикрепленным к ней японским гербом и в начищенных сверкающих сапогах. Насупившись, не глядя в нашу сторону, до смешного гордо подняв голову, он прошел мимо наших дверей.

Ударив меня по плечу, майор сказал:

– Беги, возьми топор! Если он закрыл подвал... Освободи девушек, даже если придется сломать замок.

«Сначала сделаю разведку!» – решил я и пошел к дому генерала. Ломать замок не пришлось. Едва я приблизился, из дома стремительно выскочила Мориико, схватила меня за руку и нырнула в густые заросли арчи справа.

– Идем быстрее, пока не вернулся отец!

Ветки арчи больно царапали мое лицо. Мы остановились на ровной, как ладонь, полянке. Солнце уже село, но еще было светло, с моря дул легкий ветерок. За это время Мориико слегка осунулась, она всхлипывала и тяжело дышала.

– Мы сегодня будем делать прошай-прошай, – сказала она.

– Что случилось? Почему вдруг «прошай-прошай»? Где твоя сестра Чико?

– Чико сейчас пойдет к твоему командиру. Пойдет на одну минуту. Пойдет делать прошай-прошай, – Мориико, размазывая слезы по лицу, рассказала, что произошло. Узнавший обо всем генерал кричал на дочерей:

«Вы – дочери генерала, опозорили честь собственного отца, встречаетесь с офицерами – врагами. Позор на мою голову. Лучше убейте своего отца, растопчите меня! Я не вынесу такого позора, я пойду к русскому начальству, расскажу все что случилось, и их выгонят из армии. Знаю, что русским офицерам строго запрещено встречаться с японскими девушками!».

Тогда Чикосан тоже стала возмущенно кричать:

«Отец, если вы так поступите, я сегодня же вечером повешусь».

Услышав такие слова, отец обнял своих дочерей и они долго плакали. Сестры пообещали, что больше не будут встречаться с русскими офицерами. Затем генерал пошел в японское представительство просить поскорее отправить их на родину. Утром поездом они должны будут уехать в большой порт под названием Дальний. Там сядут на пароход для японских служащих и отбудут на родину – в Японию.

– Сейчас мы будем с тобой прощаться...

Мориико, глубоко вздохнув, бросилась в мои объятия и прижалась мокрым от слез личиком к моему лицу.

– Целуй! Умоляю! – шептала она. – Сколько хочешь целуй!

Ее нежные губы, имевшие прежде вкус галетного печенья, были соленными от слез. У меня судорожно сжалось горло.

– Погладь меня! – проговорила Мориико и прижала к своей груди мою руку. Как только я прикоснулся к ней, она, словно пробудившись ото сна, тихо вскрикнула, широко раскрыла глаза и, осторожно оттолкнув меня, отстранилась.

– У вас!... не по-русски, а на вашем языке как называют очень-очень любимого человека? – спросила она, очень тихо.

– Жоним, жонгинам, говорят, Мориико.

Мориико скрылась за деревьями, и оттуда послышался смешанный с рыданиями голос. Я остался стоять оглушенный от предстоящей разлуки.

– До свиданья, жоним, жонгинам!

Вероятно, Чикосан тоже уже приходила, так как майор сидел насупившись в

своей комнате в деревянном кресле. Перед ним стояла бутылка спирта и буханка черного хлеба. Услышав что я вошел, он поглядел на меня помутневшими глазами.

– А-а, приятель! – сказал он, пьяно уставившись на меня. – Они уедут утром на рассвете. Ты приготовь два букета из цветов, которые растут под нашими окнами. Завтра мы проводим их.

– Как же, товариш майор? Ведь вы же известный офицер, начальник штаба?!

Майор ударил кулаком по столу. Бутылка со спиртом и буханка черного хлеба, подпрыгнув на столе как лягушки, упали на пол.

– Какое твое дело, что будет со мной, мелюзга?! Иди, выполняй приказ!

Вокзал находился недалеко от нашего дома, всего за версту. Еще не рассвело и было темно, когда майор разбудил меня.

На перроне мы их не увидели. Но вагоны были полны людьми, оставляющими Порт-Артур. Всюду кричали дети, плакали женщины. Морики с родными расположились не то в третьем, не то в четвертом вагоне. Генерала не было видно, сестры, в надежде попрощаться с нами, стояли у окна. Завидев нас, они заулыбались и опустили окно. Чикосан зарыдала, пряча лицо в букете цветов. А Морики... Морики, ну не ребенок ли, с глазами полными слез, смеялась. Мы даже не успели сказать друг другу ни слова, когда паровоз, издав долгий гудок, тронулся с места.

Чико все еще плакала. Морики, вытерев глаза, помахала рукой.

– Как ты говорил у вас влюбленные называют друг друга? – крикнула Морики.

– Жоним, жонгинам, говорят, Морики.

– Жоним! – прокричала она. – Прошай, прошай, прошай, жоним!..

Исчез вдаль последний вагон. Мы молча шли по опустевшему перрону.

В конце перрона нас окликнул строгий и грубый голос:

– Майор!

К нам торопливо приближался подполковник с двумя офицерами. Подойдя к нам, они окружили нас.

– Ты, солдат, – сказал подполковник, – возвращайся в полк, понял? А вы, майор (он не сказал товариш, только майор), пройдемте с нами.

Майор, насмешливо выпятив грудь, отдавая честь, сказал:

– Есть, пройти с вами!

Подполковник и два офицера куда-то повели его. Я вернулся не в полк, а в дом майора. Майор пришел, когда уже стемнело, пьяный и без погон.

– Так, приятель! – сказал он, похлопав меня по плечу. – Утром пойдешь в свой полк, будешь служить в девятой роте третьего батальона. Я сказал командиру батальона, что ты хороший парень, грамотный, что у тебя хороший почерк. Может быть, возьмет в штаб батальона.

– А вы? – спросил я, – что будет с вами?

Он беззаботно рассмеялся, тряхнув головой.

– Со мной?! Ни четырехлетнюю службу на войне, ни мои геройские подвиги, когда я вытаскивал пленных на плечах из немецких окопов через колючую проволоку... Ничего не приняли во внимание! Меня выгнали из армии. Поразительно! Выгнали за мою любовь, – нервно засмеялся он, – что теперь я буду делать? Наверно, уеду на Дальний Восток, или наймусь матросом или кочегаром на какое-нибудь торговое судно. Но обязательно уеду в Японию. Найду Чико. Может быть и умру в той стороне... Ну, все, иди спать, я очень устал, приятель...

* * *

С тех пор прошло очень много лет. И теперь вот в Ташкенте встретились мы в красивом многолюдном фойе гостиницы «Интерконтиненталь». Как только я вошел, то сразу же обратил внимание на супружескую пару, – в руках у них было по мороженому. Возраст японцев трудно определить – часто пожилые люди выглядят молодо. Мужчина выглядел респектабельно – в очках с золотой оправой, в черном дорогом костюме. Его иссиня-черные волосы еще не были тронуты сединой. Рядом

с ним стояла дама. Из-за умелого пользования косметикой ее лицо было гладким, без единой морщинки. Ее волосы пепельного цвета были коротко подстрижены, и только с правой стороны выделялась рыжая прядь. Одетая она была очень просто, но элегантно. На ее правой руке сверкали рубиновое кольцо и браслет.

«Это та Мориико или другая красавица?» – пронеслось у меня в голове.

Когда я приблизился, женщина встала, протянула мне свою нежную и белую ручку и спросила:

– Вы господин...?

Я кивнул головой.

– Давайте присядем, – сказала дама.

Она неплохо говорила по-русски, только произношение было все тем же, до боли знакомым и милым.

Когда я садился, господин, сказав что-то ей, встал с места.

«У моего мужа много работы, он извиняется перед вами», – сказала дама мне.

Мы остались одни. Я с трудом узнавал в ней еще не забытую мною красивую девочку. Ее раскосые черные глаза по-прежнему блестели, только в зрачках уже не было солнечных бликов.

Разговор не клеился, мы оба чувствовали себя неловко. Я нарушил молчание и спросил о Чико. Дама тяжело вздохнула.

– Чико умерла в прошлом году. Она так и не вышла больше замуж. Генерал умер 15 лет назад.

Я спросил о майоре, не приезжал ли он. А когда спросил, то и сам смутился.

– Майор? – нахмутив брови, спросила дама и засмеялась. – Руси капитан. Хороший был человек.

– Он хотел поехать в вашу страну и отыскать Чикосан.

Дама грустно улыбнулась.

– Юношеские мечты! Сказка!

В моей голове невольно промелькнула мысль: «Зачем же ты тогда приехала? Зачем тебе нужно было беречь чистые, как родник, воспоминания?»

Дама, словно догадавшись о моих мыслях, глубоко вздохнула и улыбнулась. В этот момент она стала похожа на ту Мориико, которую я знал в тяжелое солдатское время и мне стало не по себе. Кто знает, может и ее тревожили эти воспоминания, и поэтому она приехала ко мне. Видимо, эти искренние, трепетные и неповторимые чувства тоже не давали ей покоя. Виновато склонив голову, я пригласил Мориико с мужем приехать к себе в гости. Она поблагодарила меня по этикету японских женщин, попросив прощения. Оказалось, что они с мужем едут в Самарканд, затем в Бухару. Мы договорились после их возвращения в Ташкент созвониться. Но, ни они, ни я так и не позвонили друг другу...

У писателя А. Чехова есть рассказ «Дом с мезонином». Главный герой, молодой студент, приехал на летние каникулы на дачу к своим дальним родственникам. В их семье было две дочери. Старшая Лида была очень красивой, но несчастливой девушкой. Молодой человек полюбил младшую – Мисюсю. Но эта прекрасная возвышенная любовь молодого человека к юной девушке в одну ночь была разрушена. И виновницей была Лида. Столкнувшись с реальностью жизни, рухнуло счастье двух влюбленных, как разрушаются воздушные замки, которые строят в мечтах.

Мои светлые юношеские воспоминания, хранимые всю жизнь в уголке моего сердца, тоже разрушились сами собой. Я осознал это с горечью и спросил себя: «Где же ты, Мориико!».

Перевод С. Камиловой

проза

Владимир БАГРАМОВ



ЖУРАВЛЁВКА

Роман

*Прабабушке Матрене Максимовне
Баграмовой, светлому истоку
хлопотливо-шалыного рода нашего,
посвящаю.
Автор*

ЧАСТЬ I

Розовая накипь умирающего заката дымилась в его волосах.

По столу тянулись тени от лампы. Чугунная змея-пепельница дразнила раздвоенным языком, проглатывая окурки. Статуэтка Дон-Кихота на подоконнике выдергивала из ножен заржавленную шпагу, а глаз лимона мигал из чашки, и серебряная ложечка трамвая вызванивала поздний час.

Под окнами ходил ноябрь, с грохотом пинал водостоки и сметал вороха листьев колючей ветлой ветра.

– Что ты знаешь о войне, мальчик?

Из-за стекол очков на меня глянули жерла печей Освенцима. Коричневая шея, орлиный нос, большой кадык под задранном подбородком...

Густая кровь медленно пульсировала в венах, набухшие узлы то наливались тяжелым, коричневым цветом, то голубели под истонченной от времени кожей.

– Сердце злого каменеет в ненависти, сердце доброго расплзается по швам совести. Примерно так говорил мой дед, старый еврей, который всю жизнь шил костюмы кому угодно, но лег в гроб в соседских шароварах. Единственные брюки унесли вместе с веревкой, на которой они сушились. Ты знаешь о войне по книгам и фильмам, а что делать мне?

Фотографии потрескивали, свивались трубками. Учитель передвигал их по столу сухой, как птичья лапка, рукой.

– Брат, ему было бы шестьдесят восемь, играл за шахматную сборную Киева. Его последняя партия была с немецким переводчиком, немец «зевнул» коня – Рувима отправили в лагерь. Над его пеплом горит огонь и ходят люди. Я же теперь не могу видеть струящийся дым из трубы, даже если он исходит от фабрики детских игрушек.

Тонкогубый юноша со лбом Сократа и плечами легочника копал яму для саженца. С лопаты вечной стружкой сыпалась земля.

– Ночами я остаюсь наедине с ними, – он кивнул на фотографии. – Жену и дочь убило фугасом, я не знаю, где их могила. Сестра лежит в Бабьем Яре, по ночам я слышу ее крик. Этот век старше меня на два месяца, дай Бог успеть увидеть, как люди будут хоронить атомную бомбу! Ты улыбаешься про то, что я сошел с ума? Меня не станет, и ты вспомнишь старого учителя. В моем возрасте думают о душе, но в Бога я не верю. Если Он есть, ему нет смысла заботиться о людях, у него впереди вечность, нам в ней отказано. В следующий раз расскажу тебе о собаке с разноцветными глазами. Она ела яблоки, а мой дед сшил ей жилетку и штаны.

Учитель тронул сухими пальцами фигурку Дон Кихота на подоконнике, и альго качнулся, тихо звякнула его потемневшая шпага.

С фотографии улыбался портной, дед Учителя, ушедший из жизни в соседских шароварах. Рядом испуганно шурилась бабка, ей удалось пережить мужа на пять погромов. Тисненая виньетка с потертой надписью внизу картонки: «Макс Циммерман – фото художественное и гражданское».

– Ты собираешься писать, но никто не знает, как это делается. Сердце само находит стиль и форму. Погоди, я проглочу лекарство.

Капли прыгали в рюмку – Учителя мучила астма.

Для этого человека на всей огромной земле не хватало воздуха. Приходилось занимать его в аптеке. Вот и сейчас в углу дивана черной лягушкой растопырилась кислородная подушка.

Ноябрь устал сгребать листья, встал под окнами, тихо барабанил в переплеты худыми пальцами дождя.

Я приехал через год. Два месяца назад мне сообщили, что Учитель умер.

Гулкая лестница стократно отзывалась на каждый мой шаг, серые тени скользили вдогонку.

На обшарпанной двери осталась табличка – медная планка на двух винтах: «Я.А. Перельман – 5 звонков». Свежая царапина пересекала наискось планку, кто-то пытался ее снять, но старые винты были утоплены в дубовую дверь на века. Под планкой зеленью меди матово выступала вертушка дореволюционного звонка.

Можно теперь поворачивать вертушку до тех пор, пока голос дребезжащего коммунального вестника не долетит до самых дальних звезд и вернется оттуда на землю гулким, печальным эхом...

Долго и пусто смотрел я на старую дверь.

Потом шел сквозь залитый солнцем и снежной белизной день до тех пор, пока не унялась, не растаяла под горлом зыбкая дрожь, сводящая каменно скулы у сорокалетних мужчин, не умеющих плакать.

Земля, чья тяжелая плоть призвана рожать, впитывала в себя тела детей своих – недолюбивших и недопевших, великих и незаметных, гениальных и юродивых, отсчитывающих на ней последние метры и ковыляющих первые шаги.

Люди мало говорили.

Кривые тропы военного лихолетья выводили их на прямую поступка. Он стал средством существования и поставил болтовню вне закона. Никакими парадными фразами нельзя было прикрыть суть человеческую, спрятать ее от пытливого глаза.

Страна тянула лямку величайшей из войн на земле. Война входила в затяжную, самую жестокую фазу, когда на смену жадной ярости нападающих и боли отчаяния защищающихся, приходит обоюдная, черная, как клубящийся омут, не знающая покоя и просвета – ненависть.

Лежали втроем, метрах в ста от железнодорожного полотна, когда из-за поворота вылетела мотодрезина.

Немцы надсадно и весело орали песню. Здоровый фриш на краю дрезины, свесив ноги, голосил громче всех и размахивал в такт руками, автомат на его груди выглядел игрушечным. Вот из этого автомата и резанул он по заснеженным кустам, потом по кромке недалекого леса.

Посыпались сбитые ветки, брызнул снег.

Капитан по-детски икнул, неистово застучал ногами. Лежавший рядом Пенкин, что есть силы, прижал капитанские ноги, одновременно наползая плечами ему на спину. Капитан через несколько секунд затих. Дрезина с орущими немцами прогрохотала и скрылась, они остались лежать, глядя с двух сторон на неподвижное тело.

– Елы-палы! – Выдохнул потрясенно Пенкин, утирая лицо рукавом маскхалата, смаргивая растаявший на ресницах снег. Туманков на локтях передвинулся к убитому, приподнял его голову, присвистнул:

– В лоб! Что ж мы комдиву скажем?

Долго молчали, обдумывая случившееся. Туманков жевал веточку, искоса поглядывая на Пенкина, тот, потирая варежкой щеку, смотрел прямо перед собой в снег. Наконец, повернулся к Туманкову.

– Тридцать кэмэ еще, не допрем, в нем пудов шесть будет. А с телом линию фронта не перейти, положат, как пить дать! У них там каждый метр на мушке.

– Вот что, – решительно пробасил Туманков, – в лесок его надо. Тащить бесполезно, факт, угробимся. Замаскируем. Короче, не найдут, а потом...

Что будет «потом» Туманков не знал. В ближайшее время наступления не предвиделось, да и зыбкое оно было на войне, это «потом». Вот уходить надо было, как можно быстрее, слишком нашумели на переезде, а до него всего пять километров.

– Место больно хорошее! – оглядывая кусты, вздохнул Пенкин. – Лежали бы себе до вечера, а там раз – и в дамки!

– Как он часового снял на переезде а? – Туманков покрутил головой. – Я такого не видал! Как кошка по снегу крутнулся, я нарочно уши выставил, думал, услышу. Какое там, тень, и та громче пройдет. Слышь, а чего на складе долбануло, никак бомбы авиационные?

Пенкин кивнул, цокнув языком. Оба замерли, смотрели – вдоль полотна шли трое, двое маленьких, один высоченный. Верзила что-то ел на ходу, отрывая, как волк, одним движением от зажатого в руке куска.

– Глянь! – шепнул Пенкин. – Никак этот стрельнул?

– Он, – отозвался тоже шепотом Туманков. – По рыжим волосам откуда хочешь срисовать можно.

– Коль, – Пенкин облизал пересохшие губы, – мы капитана в леске схороним, а потом к этим завернем. Будка у них там, а это смена. Скоро дрезина назад шмыгнет, эти останутся. Их не более семи будет, пока эту гадину не положу, мне покою не будет!

– Нашумим.

– Мы тихо! Они спят, как мертвые, у них тут войск, как клопов, никого не ждут. И стрельнем пару раз, так со станции не услышать, главное – прозвонить не дать, пока очухаются, мы раз – и в дамки!

– Давай, только потом ногами перебирать и перебирать – не дай Бог! По следам пойдут, у них тоже скороходы на лыжах имеются. Дорогу надо пересечь, пока суд да дело, а то наперехват грузовиками сиганут, мотоциклеты пустят! Лесом мы им нос натянем, как пить дать.

– Рванем, Колян, рванем, только треск пойдет!

– Одного треснули, хватит. Целый склад своротил, а с дурной пули сгинул.

Прогрохотала дрезина с немцами, скрылась за поворотом. Через час-полтора прошли и эти трое. Верзила шел сзади, ссутулившись, засунув руки в карманы шинели, что-то зло и громко говорил впереди идущим.

Пенкин не сводил с немца глаз, даже постанывал от избытка ненависти и жажды мести. Туманков задумчиво жевал веточку.

Сумерки сгушались быстро. Мороз давал о себе знать, явно крепчая.

Могилу продолбили ножами неглубоко, окоченелые руки не чувствовали ребристых рукояток. Туманков обливался потом, матерился сквозь зубы, то и дело бросая нож и с остервенением растирая ладони.

Пенкин долбил молча, часто сплевывал длинной струйкой через шербину зубов и ежился, ошущение было омерзительное – лицо и руки схватывало холодом, а спину и живот под маскхалатом, телогрейкой и свитером заливали струйки противного, липкого пота.

Закрывать глаза капитану они не смогли. Тело окоченело, стали укладывать его в неудобную яму, с края упала горсть снега, было странно смотреть, как она залепила открытый шарик глаза – не тает, не смаргивается.

За капитана невольно поморгал Туманков, а Пенкин нагнулся и сдул снег. Снежинки от дыхания мгновенно растаяли, глаз увлажнился, из уголка скользнула светлая при лунном свете, хрустальная капля.

Пенкин внимательно осмотрел могилу, отошел в сторону, долго озирался. Высмотрев, нырнул в перелесок. Вернулся с большой уродливой корягой, осторожно уложил на бугор, стараясь не сбить налипший на нее снег. Туманков достал из-за пазухи флягу, поболтал, прислушиваясь, протянул Пенкину.

– Помянем, не знаю, как звать. За Ивана Армейского, пусть ему земля пухом будет.

– А может, еще как?

– Дурак, – покачал головой Туманков. – Сам подумай, нос картошкой, волос ржаной, значит, кто? Русак. Откуда прислали? Из армейской разведки, там у них все секретные, раз так, значит, и фамилия его для нас – Армейский. Иван Армейский!

– Давай, – согласился Пенкин. – За Ивана Армейского. Вот судьба, сколько он поездов на воздух поднял, а от глупой пули сгинул. Мужик серьезный был.

Пенкин глотнул спирту, бросил в рот снег, довольно сощурился, примерился еще, но Туманков флягу отобрал, сунул за пазуху.

– Ты будешь пить? – Проводил глазами флягу Пенкин.

– Язва. На гражданке не выдавала себя, изредка прихватит, так-то справлялся. Все, вставай, рысью по краю дороги, к будке, там видно будет. Я часового сниму, а ты гранатой!

– Нет! – резко мотнул головой Пенкин. – Сам сделаю, я их в нож возьму.

– Лютовать стал, смотри, пуля, она злых ухарей не любит.

Лежали на вспушенных корнях толстой ели, метрах в пятидесяти от будки. Часовой, коротышка в мохнатом тулупе, расхаживал туда-сюда, скрипел валенками, наконец, притих, прислонившись к столбу крыльца.

Пенкин поглядывал на луну, на черное, наплывающее облако, ждал. Крупные, морозные звезды светили ярко и бессмысленно. Он дернул плечом и замер, ощутив на спине руку, повернул голову – Туманков показал гранату, Пенкин зло оскалился, отрицательно помотал головой, рука его скользнула к поясу, блеснуло лезвие финки.

Туманков приложил руку ко рту, несколько раз сложил пальцы, как клюв, мол, а вскрикнет этот, то что? Пенкин оттопырил большой палец, будь спокоен. Туманков перехватил автомат удобнее, положил две гранаты под правую руку, кивнул.

Пенкин, не спуская глаз с часового, подтянул ноги к груди, стал развязывать тесемки на штанах. Бесшумно разулся, оставшись в шерстяных носках, пошевелил пальцами ног – терпимо. Оглянувшись на Туманкова, кивнул и встал, прильнув к стволу ели, потом пригнулся, изготавливаясь к броску.

Тулуп большой, немец маленький, и Пенкин решил не рисковать. Кто его знает, что у него там под овчиной, пихают в карманы всякую дребедень, попадешь ножом в портсигар или гармошку губную, шум будет!

Между елью, где стоял Пенкин, и часовым – небольшой, присыпанный снегом куст. От него до немца шагов пять. Часовой стоял спиной. Туманков прицелился в бесформенную фигуру, четко выделяющуюся на светлом проеме стены будки. Облизал пересохшие губы.

Огромной тенью, жутким ночным нетопырем скользнул Пенкин к кусту. Не

скрипнул снег, не дрогнула ни одна ветка. Туманков усмехнулся и довольно поджал губы, только что был человек – и нет его! Часовой не шевельнулся.

Заслонкой легла на лицо дремлющего немца широкая ладонь Пенкина. Блеснуло лезвие... Всплеснул часовой руками, выгнулся телом и осел, разведчик, стараясь не звякнуть, перехватил немецкий автомат одной рукой, другой немца на снег опустил.

Тишина. Туманков уже рядом стоит.

Едва слышно дверь будки скрипнула. Воздух в ней на сопенье, храпе и перегаре настоян, овчиной кислой тянет, еще одеколоном сладковатого, нерусского розлива.

Пенкин внутрь скользнул, Туманков хотел следом, но он его легко в грудь толкнул – стой, где стоишь, я сам!

Луна через промерзшие окна протискивается, красит лица спящих фиолетовыми пятнами, бликующей сыпью ледяных световых подтеков.

Пенкин остро огляделся – трое на нарах, один на лавке, с часовым – пятеро! Спящих бить нельзя, эту заповедь в разведке Пенкин хорошо усвоил. Спящий человек кричит в муке смертной, может вскочить, а если разбудить, тогда...

Потрепал крайнюю немца на нарах за плечо. Перегаром-то, мать честная! Когда поднял немец стриженую под ноль голову, Пенкин руку ему на лицо кинул. Только всхлипнул еле слышно.

На третьего немца навалиться всем телом пришлось, то ли попал неудачно, то ли живуч оказался, но вздумал биться, головой вертеть. Ладно, затих и этот. Тогда Пенкин, не таясь, по будке прошелся, четыре автомата через плечо перекинул, на лавку, где рыжий верзила храпел, с усмешкой покосился, к двери подошел, выглянул.

Туманков на ступени крыльца стоит, давно все понял по жуткой тишине в будке.

Пенкин автоматы на снег кинул.

– Все, что ли?

– Не, – Пенкин откашлялся, – рыжий гаденыш, тот, который капитана стрельнул, спит, пойдем будить.

Туманков пихнул верзилу в бок, немец замычал и на спину перевалился, ногтями подбородок скребет. Пенкин на его сонное чмокание нехорошо засмеялся. Туманков еще раз пихнул, сильнее, взмахнул рыжий немец руками, открыл глаза. Некоторое время тарашил их бессмысленно на Туманкова, потом перевел взгляд на Пенкина, хрюкнул тонко и сел.

– Боров, – Пенкин сглотнул тошноту, – нажрал вывеску-то.

– Наловчился по кустам стрекотать, кузнечик. Едет на дрезине и стрекочет.

Туманков разглядывал немца.

А рыжий верзила ничего не понимал, ему казалось, что сейчас он закроет глаза, потом откроет, и ничего не будет! Эти двое, что похожи на страшные ночные привидения, растворятся в мутной мгле, исчезнут. И останется он досыпать на жесткой лавке в забытой богом собачьей будке, у ненавистного железнодорожного полотна.

Рыжий засопел, напрягая сонные мозги, неуклюже повернулся к темному углу, пытаясь понять, почему на нарах так тихо, где еще трое из его взвода? И понял вдруг. Оторопело перевел взгляд на этих двоих, что молча стояли перед ним в белых масках-халатах, с напряженными лицами, потом свалился на пол.

Его рвало, прямо выворачивало наизнанку, жадно хватал воздух руками, корчился и давился, захлебываясь животным ужасом.

– Идти надо, Жорка, – задумчиво сказал Туманков.

Пенкин скрипнул зубами и выбежал из будки. Сзади рокотнул ППШ.

– Как ты? – спросил Туманков, когда они приостановились передохнуть у крутого спуска, прежде чем скользнуть на лед реки.

– Вроде жар, кости ломит, черт.

– Таблеток бы... Или спирту с банькой! Ладно, терпи, идти надо.

Лежали в просторной свежей воронке от тяжелого снаряда, смотрели. С бугра было хорошо видно, как из немецких окопов выгибались дугой морзянки трассеров, исчезали на той стороне поля. Оттуда отвечала злая скороговорка «максима».

Рассвет польхал, и если бы не густые облака, совсем беда, не прошли бы они ни рожицу, где урчали немецкие танки, ни балку... Теперь приходилось ждать следующей ночи.

Туманков жевал сухарь, Пенкин маялся. У него слезились глаза, губы обметало. Сделав из снега катышек, Пенкин в рот его наладил, но Туманков руку перехватил, катышек выбил. На злой взгляд друга Туманков носом шмыгнул, а Пенкин опять за снег.

– Нельзя, Пенкин, холодное кушать, – буркнул Туманков, – температура у тебя. Лицо огненное и глаз плохой.

– Я тебе баба что ли, в глаза смотреть? Хватит хрумкать, кролик!

– Болеешь, – кивнул Туманков, разгрызая очередной сухарь. – Покемарь, нам здесь долго загорать придется. Я тоже раз консервов итальянских хапнул, так скрутило – спасу нет! В санчасть к фельдшеру, а он, зверь, масло сует! Стакан набузовал и пей, говорит. Я бежать, тут начальник дивизии вырывает, что да как? Я и хватил стакан с маслом паскудным, из меня, как из полкового миномета, три дня шмаляло, ребята со свету сжили. Спасибо, старшина дубовой коры заварил, в кружку пороха кинул, и выпить заставил. После того дней пять наоборот получалось.

– Колян, надо к балочке, где спираль, видишь? Потом к кустам, оттуда к палке с тряпкой.

– Мин там понатыкано, как блох, – задумчиво Туманков отвечает.

Пенкин с хрипом откашлялся под рокот немецкого крупнокалиберного пулемета. Едва отдышался, к стене воронки прислонился, горло трет через маскхалат.

– Я никогда и не болел, понял? Под Смоленском плечо продырявили. Полковой врач, мужик стоящий был, говорил, «заштопаю, не паникуй, как на собаке заживет!» Рана чистая, заштопал, только рубец сизый, а так ничего. Врача снарядом разнесло, а я его часто вспоминаю.

– Помолчи, когда говоришь, у тебя в груди хлюпает. Может, воспаление легких. Я мальцом был, под лед угодил, батя говорил – месяц пластом лежал. Козьим молоком отходили, мы тогда под Красноярском жили.

– Как в Москву попал?

– На выставку приехал, с колхозными пьянчугами, там Тосю встретил. Как раз тридцать шестом. Двойняшкам моим по шесть лет, Сонюшка кроха еще.

Пенкин засмеялся, покрутил головой.

– Наклегал, разведчик, а баба твоя, – с Москвы?

Туманков усмехнулся, хотел что-то сказать, но раздумал. Молчал долго, наконец, повернулся:

– «Баба» – это про других женщин, Пенкин. У Тоси мать умерла давно, когда мы встретились, одна осталась. У фонтана познакомились, где Большой театр. Откуда ты знаешь про театры-то, слаше морковки в жизни и не видел ничего. Отец мой приехал в Москву, и я его с Тосей познакомил. Он говорит, вот такие, как она, на всю жизнь, кончай кобелировать, куда скажет, с головой прыгай. Мы в Москве и остались.

– Ты ее старше, Колян?

– На семь годов.

– Красивая?

– Нет таких. Глазиши – век смотреть, не спать, не пить, не есть – смотреть и все! Детей родила – на прогулку сбегала, все с улыбкой и прибаутками. Мой старик угрюм, а с ней оттаивает. Ладно, кончай спрашивать, ты подремли, глаза красные, как у кролика. Схоронили нас, как думаешь?

– Могут, – равнодушно откликнулся Пенкин. – Мы третьи, группа Лихарева угробилась на проходе, Егора Капустина с майором штабным минометами накрыли, чего ж ты хочешь? Нас с довольствия, поди, списали, мы вот – они, а старшина хрен с маслом!

– Хватит трепаться. Спи.

Ночью, у выхода из балки, напоролись на разведку противника.

Скоротечен и лют ночной бой без выстрелов, когда в ход идут ножи и зубы, а люди, привыкшие скользить в темноте молча, стремительно и расчетливо вершат свое суровое дело.

Пенкин интуитивно выбросил вперед руки и крутнулся вокруг себя.

Удар ножом пришелся в перекрестье рук, резкий поворот усилил инерцию нападающего. Немец кувырнулся лицом в снег, мгновенно привстал, но приклад автомата Пенкина тараном врезался ему в затылок. Немец пискнул и затих, уткнувшись головой в снег.

Пенкин, сопя от натуги, навалился, завернул немцу руки за спину, выхватил из клапана маскхалата сыромятный ремешок, быстро связал. Прислушиваясь к невнятной возне неподалеку, перевернул немца на спину, глубоко засунул ему в рот шерстяную перчатку, тут же вскочил.

Второй немец сидел на Туманкове верхом.

Еще раз ударил Пенкин прикладом, когда немец стал заваливаться вбок, выхватил финку, сунул ее в широкую, как плита, спину.

Туманков лежал, мерно сжимая и разжимая кулаки, в горле страшно хрипело. Пенкин упал рядом, приблизил лицо к лицу друга, лихорадочно высматривая, что с ним.

– Ты чего, задел он тебя?

– В бок... – трудно прошептал Туманков. – Потом в пах, Жорка, у меня кишки в штанах. Чую, провалились они в штаны, хана мне.

Невыносимая боль опоясала низ живота, Туманков захлебнулся ею, намертво сжал зубы, чтобы не закричать по-дурному.

– Заштопаем, – скрипнул горстью снега в кулаке Пенкин и заплакал.

Немцы подняли сильную стрельбу, то ли что почувляли, то ли от скуки. С нашей стороны стали отвечать. Пенкин быстро огляделся – ни те, ни другие их видеть не могли. С одной стороны прикрывал хребет пригорка, с другой – кусты, за кустами чернел провал балки.

Пенкин припал к Туманкову, обшаривая руками неподвижное тело. Маскхалат разведчика у пояса был пропитан липким и горячим, тише становился хруст снега под его локтями, он смотрел прямо перед собой в ночное небо, смотрел истово, с какой-то суровой значимостью.

– Жорка, меня не бросай, я быстро кончусь, погоди. В Москве к моим иди, финку, часы, портсигар сынам.

– Коля, ты воздух набери и не пускай с глотки, доволоку – заштопаем! Крепко держи, и молчи, со словом дых уходит, а он тебе нужен! Соberись, а?

Жарко шептал Пенкин, его трясло, как в лихорадке, то прикивал к умирающему другу, то хватался за автомат и оглядывался. Туманков широко открыл глаза, повернул голову, веки дрожали:

– Ты женись на ней, слышишь? Другой такой нет, не смотри, что трое, не смотри. Дети быстро растут, если не женишься, я оттуда являться буду.

Протянул руку Пенкин, чтобы зажать рот другу, в смертной муке повысившему голос, и отдернул...

Про связанного немца совсем Пенкин забыл, вспомнил, когда подходил к КП. Поманил шедшего рядом молоденького лейтенанта, коротко рассказал о «языке». Лейтенант захохотал от возмущения.

– Ну ты даешь, из армии связь оборвали, с этого участка «язык» нужен! Сазонов, Ельцов, ждите здесь, никуда отсюда, голову оторву!

Бойцы бережно сняли со спины Пенкина мертвое тело, положили на дно траншеи, сели курить. Он стоял, сгорбившись, шевелил онемевшими плечами, испытывая вялое равнодушие, даже есть не хотелось. Разглядел огонек сигарки в рукаве

ближнего бойца, молча протянул руку. Боец вскинул голову, хотел что-то сказать, но второй сильно пихнул его в бок. Боец протянул прикуренную сигарку, шмыгнул носом, отвернулся.

Пенкин курил, обжигая губы, смотрел через поле в темноту...

Утром его вызвали. В землянке оказался незнакомый майор, высоченный и тощий, с унылыми, обвислыми усами. Он оглядел Пенкина, полистал папку, лежавшую перед ним, постучал по ней костяшками пальцев.

Пенкин доложил, что прибыл, стоял, смаргивая одурь после короткого и тяжелого сна. Майор кивнул, прикурил другую папиросу от окурка, поискал глазами, куда его бросить, и, смяв в длинных, смуглых пальцах, оставил на столе.

– Садитесь.

Пенкин сел на чурбак, положил на колени руки, стал смотреть на них. Молчали. Наконец, майор заговорил густым, с сипотной голосом:

– Как получилось, что Туманкова мертвого принесли, а командира оставили?

Пенкин молчал. Его что-то раздражало, сначала он никак не мог понять что, потом поднял голову.

– Не надо стучать.

Брови майора взлетели вверх.

– Пальцами по столу стучать не надо!

Майор машинально стукнул опять, убрал руки со стола и густо покраснел.

– Нервный. Место, где оставили убитого капитана, указать сможете?

– Чего его указывать, оно тут. – Пенкин ткнул пальцем в лоб и ухмыльнулся. – Извините, конечно, товариш майор, а что вы со мной, как с гадом? Мы с Туманковым капитана сами хоронили, там похоронщиков нет. Ему в лоб попало, и поминки по нему справили.

– Поминки? – удивленно смотрел капитан.

– Караул накрыли, когда обратно шли, завернули, ну и...

Майор развернул карту на столе, знаком показал Пенкину приблизиться. Пенкин привстал, оперся локтями на стол, стал смотреть.

– Значит, так, – майор ткнул пальцем в карту, – тут переезд, здесь вы сработали склад, так?

– Так, – устало кивнул Пенкин.

– Дальше пошли сюда, мимо мельницы, по берегу, вот этой петлей. Здесь роша справа, тут рукав от реки. Но зачем лесом пошли, вот что мне непонятно, почему не по берегу? От роши недалеко.

– Танки у них в роше.

– Как танки? – майор оторопело поднял голову. – Кто видел?

– Я и Туманков видели, и капитан, теперь я остался.

– Ну! Да не тяни ты, Пенкин, кота за эти самые! Соображаешь, что значит – танки?

– Капитан говорил, рошей засыплемся, надо ночь переждать и леском на полотно.

С полотна к берегу и по льду, с правого бока у своих будем. Его рыжий стрельнул.

– Какой рыжий?

– Караульный немец наугад с дрезины шаракнул, аккурат, капитану в голову. Мы в кустах лежали. В том леске и схоронили, не донести нам его было, далеко.

– Точно танки? Если брехня – нас с тобой по пояс в землю вобьют и краской покрасят, вместо памятников!

– Отвечаю, товариш майор, не мальчик.

– Черт, ну и ну! Еще что видел, Пенкин, пехота, артиллерия?

– Этого нет, а за танки крутите дырку в кителе.

– Как бы уши нам не открутили, – уставился в стол майор.

Пенкин спросил разрешения закурить из майорского портсигара, майор кивнул.

– Товариш майор, если не секрет, как нашего капитана фамилия? Когда хоронили, выпили за Ивана Армейского, так мы с Туманковым придумали.

Пенкин отчего-то страшно взволновался, жадно, во все глаза, смотрел на медленно прохаживающего по землянке майора – три шага вперед, три назад, три вперед, три назад. Майор усмехнулся.

– Армяков его фамилия, и с именем не ошиблись – Иван.

Пенкин побледнел, встал, судорожно рванул ворот маскхалата.

– Я знал.

– Идите, но будьте рядом, проводят и покормят, потом в штаб.

– Есть в штаб!

Майор схватился за трубку телефона, Пенкин вышел.

Ночью не спал, распутывал нить совпадений на войне и не мог распутать... Когда уснул, то во сне стонал и плакал. Проснувшись, ошупал мокрое лицо, сел курить. За много лет эти слезы были первые, возле умирающего Туманкова тоже плакал, но не заметил этого. Пенкин растерялся.

Курил, поглядывая на часы Туманкова, лежавшие на столе, потом взял их и поднес к глазам ближе. Стрелки светились. При свете фонаря Пенкин разглядел, что на задней крышке чем-то острым, видимо, иглой, было выцарапано: Москва пл. Журавлёва дом № 2/8, кв. 13, Туманков Ник. Гр.

Пенкин подкрутил колесико завода пружины и уснул.

Во сне он разувался и шел по предательски хрустящему снегу к караульной будке и никак не мог дойти. Силуэт часового быстро уменьшался, пока не пропал совсем.

Когда загорались звезды, сон начинался сначала...

Старик проснулся, чутко прислушался к своему огромному, мосластому телу – под сердцем появилась «заноза». Это не было похоже на приступ стенокардии, она начиналась с горла, куда подкатывало его уставшее за семьдесят пять лет, большое сердце. Хотел повернуться на бок – и оторопел, так это было неожиданно.

Заноза превратилась в бревно, его забили в грудь. Мир заслонило черное, расширяющееся пятно, дыхания не стало. Старик покрылся потом, растопырил пальцы рук, со стоном прогнулся и замер.

Ноги похолодели, пробежал ноющий, противный озноб. Он понял, что умирает.

В комнате сопели внуки. Сноха на заводе, эту неделю работала в ночь. Старик с горечью представил, как придет с работы Тося, найдет его мертвым, сколько забот свалится на ее худые плечи! И эти, малые-то, переполошатся, а главное, прорва расхождений, одни могильшики сколько хлеба слупят! Беда.

Теряя сознание, он рванулся, сгреб руками простынь, перевалился к краю и рухнул плашмя с кровати.

Очнулся от боли. Провел рукой по лицу, почувствовал горячее, мокрое и счастливо заулыбался разбитому носу. Недоверчиво вслушался в стук сердца, как будто пронесло. На шее туго билась опавшая жила, ноги сухи и теплы, без противной обмирающей испарины. Старик зло ошерил беззубый рот, неизвестно кому погрозил кулаком и стал вставать.

Сердце опять ухнуло куда-то вниз, но тут же забилось, залопотало горячо и гулко, наливая тело приятной тяжестью. Он некоторое время стоял на четвереньках, потом осторожно поднялся на ноги. Шагнул к дивану, где спали внуки, смотрел на них и жевал губами.

– Черти! Оболтусы! Дед чуть в ящик не сыграл, а они пузыри пускают! – гундосил Старик в разбитый нос. – Вот спят без задних ног, как умерли. Набегаются до курячьего обморока, потом не добудишься, тыфу ты, прости мою душу грешную, язвы вас!

Он шепотом отвел душу, побрел влезать в валенки. Это было трудно, по старости он имел привычку надевать на ноги трое-четверо носков, а валенки были туговаты. Долго топал в коридоре ногами, вспотел, когда влез, пошел шмурыгать по квартире.

Покрутил кран на кухне, похмыкал на ржавую воду, постоял, сливая, потом набрал кружку и жадно пил, постанывая от удовольствия, ворочал худой, жилистой

шеей. Напившись, сел чистить картошку. Картошка своя, с участка в Шелково, осталось едва-едва четыре мешка.

Кожуру снимал аккуратно, сгребал в кучу и заворачивал в бумагу. После просушки кожура перетиралась на терке, из нее выпекались оладьи и блины. Внуки от таких «оладьев» воротили носы, Тося жаловалась на изжогу, они целиком доставались Старику.

Он ел их с видимым удовольствием, победно посматривая на домашних. За долгую жизнь приходилось ему есть и похуже, особенно в японском плену.

Лютую изжогу Старик забивал содой, он купил ее перед войной у хитрюги с кондитерской фабрики – сразу сто пачек. Зачем так много, он не мог объяснить.

Картошку Старик мелко порезал, сложил в кастрюлю, высыпал туда половину старательно размятого гречневого брикета, посолил и залил водой. Долго держал в руках пачку маргарина, шевелил бровями, но раздумал, положил обратно в шкаф.

Когда ташил кастрюлю на огонь, чуть не опрокинул, еле-еле успел подхватить, при этом неловко повернулся. Добрых десять минут топтался на месте с выпученными глазами, придерживая рукой шею, шипел матерными словами.

Разжигая примус, засорил глаз и освирепел окончательно. Поволокся в комнату к зеркалу, в сумерках проглядел стул, загремел через него, ушиб плечо. Один из внуков, не разберешь кто, проснулся, поднял от подушки кудлатую голову:

– Че ты, дед? Как этот...

– Я те дам «этот», умри, дьявол, соплив деду указывать! Я для вас официантом стал, подай, принеси, а они в рогатки пулять будут, по чердакам скакать! Тресну по бестолковке, на что, ирод, фуфайку изодрал?

– Это Пашка.

– Вас, дьяволов, не разберешь, надо, как худых козлов, краской по лбам метить или бубенцы вешать. Соньку затуркали, а она вдвое меньше... Куда лезешь, охلامон, задавишь сестру!

– Че, дед, кто ее давит-то? Обдуюсь, пусти!

Вывернувшись из дедовых рук, Кешка прошлепал в туалет. Старик с досадой пошевелил вслед бровями, стал поправлять сползшее с маленькой Соньки одеяло. Пашка спал с открытым ртом. Старик осторожно выташил и положил удобно руку внука, усмехнувшись на половину отколотого его зуба.

– Встань, ирод, встань! Я те чуб за фуфайку истаскаю!

Пришлепал Кешка, юркнул под одеяло. Старик стоял молча, смотрел на вздрагивающие веки внука – притворяется, шельма, что уснул сразу.

– Ноги не ошпарил, бежал-то? – спросил Старик. – Ничего, спи, а встанете, будет вам выволочка за стекло Макеихи и за то, что сахар сташили, мать с работы придет, чем поить? И рогатки изломаю.

– Найди, – глухо отозвался Кешка, – потом ломай.

– Найду, найду! – в тон покивал Старик. – А найду, так отполирую, во весь дом орать станете, а матери нажалуетесь, я вас совсем на нет сведу! Она, бедная, мыкается, а эти стервятники ее в трату вводят, огорчают, одежду рвут.

– Ты не дерись!

– Умри!

– Тогда так шелканул, думаешь, не больно? У тебя шелчок железный.

– Другой раз не так шелкану.

– Дед, чего это Мюллеров заарестовали, а? Какие они «враги народные», дядя Отто в офицерах, тетя Марта болеет.

– Чего это ты? – растерянно переспросил Старик, не ожидавший вопроса.

– Не, правда, дед! Их ночью заарестовывали, а безногий Сашка сказал на Сталина «гнида усатая, кровью поперхнется!», я слышал!

Старик задохнулся от ужаса, плюхнулся на стоявший рядом стул, дотянулся до его плеча, крепко ухватился.

– Христом Богом, погоди... – Старик гладил другой рукой горло, переводя дух. –

Молчи, милый, про все молчи, нельзя! Мамку нашу... Без мамки останемся, я умру, а вы малые!

Он горько заплакал, быстро вытирая слезы одной рукой, другой цепко держал внука за плечо, пытался что-то сказать, но только всхлипывал. Перепуганный Кешка некоторое время смотрел, потом заплакал сам, соскочил и уткнулся деду в плечо.

Так, обнявшись, и сидели, пока не успокоились.

Старик уложил его на диван, укрыл одеялом, погладил по голове и пошел на кухню. Поставил кастрюлю на огонь, сел на низенькую скамеечку, просунув руки меж колен, сцепив большие, костлявые кулаки.

Солнечный луч долго путался в занавеске, нашел шель и прынул в кухню. Упал на стариковский лоб, разом высветив лицо...

Тяжел Старик – поросшая седым волосом грудь, когда-то развернутые, теперь обвислые плечи, плита спины, сизое, в крупных морщинах, рубленое лицо. И взгляд тяжел, но когда улыбался, мелькало в глазах что-то беззащитное, виноватое.

Думы у него разные. Например, где взять кожаную латку на валенок – дело к зиме? Как выудить у Пашки рогатку, если он ее прячет неизвестно куда? Каким будет паек? Внуки прожорливые стали, друг перед дружкой на еде выпендриваются, «мужчины», язви их! А Сонька светится, до того отошала, ей бы морковки, жиров... Растительное масло, оно тоже витамин, но говядина – это покрепче будет, или сала, например, кусок добрый на хлеб.

Покрутил головой, встал попить воды.

Стукнула входная дверь, пришла сноха Тося, зашаркала тапочками в передней.

– Тось?

– Я, пап, ты чего так рано?

Она прошла на кухню, села у стола, откинувшись головой к стене. Старик обеспокоено взгляделся в ее бледное, без кровинки, осунувшееся лицо, стал торопливо наливать в кружку кипяток, резать пайковый хлеб. Отрезав два ломтя, подвинул к Тосе, погремел крышкой кастрюли, проверяя кулеш, достал из шкафа сахарницу, выбрал кусок сахара «посправнее» и положил на хлеб.

– Без ног? Ешь, архаровцы с десяти вечера дрыхнут, вчера по крышам сараев лазали, того гляди, шеи посворачивают. В войну играют, проклятые, а я чуть дуба не дал нынче, с постели кувыркнулся, глянь!

Старик сунулся вперед, показывая снохе сизый, напухший нос.

– Сопатку разбил, должно, помру скоро.

– Зачем?

Тося зябко передернула плечами, внимательно взгляделась в Старика. В последнее время чувство страха и неминуемой беды не покидало ее. От мужа не было писем, Старик вот, только-только ногу излечил, три месяца мучился с шиной, и на тебе, умирать собрался!

Она взяла кружку, стала пить. Хлеб отламывала кусочками, медленно и трудно жевала, к сахару не притронулась. Старик некоторое время хмуро следил, как она ест, потом быстро протянул руку, сгреб сахар в ладонь и бросил в ее кружку. На улыбку снохи, что-то невнятно пробурчал и встал.

– В ноги вступает, вот чего, скипидару бы или одеколону.

Старик сокрушенно покачал головой и занялся делами. Дела нехитрые, сегодня суббота, значит, постирушки. Выволоч на середину кухни табурет, поставил на него таз. Долго, недоверчиво оглядывал со всех сторон обмылок, что-то пришептывал. Налил воды, добавил кипятка из чайника, поболтал в тазу рукой, размешивая, недольно косился на улыбку снохи.

Тося улыбалась, спорить бесполезно, упрямый Старик сам стирал свои носки, трусы, подштанники. Если случилось это делать Тосе, то он начинал с тихого ворчания, потом расходился, и все кончалось лютой руганью и хлопаньем дверью. В конце концов, он садился на диван, шевелил бровями, не разговаривал, а листал старый календарь и жевал губами. Связываться с ним не стоило.

– Пап! – позвала Тося.

Старик независимо повел подбородком, не отвечая, принялся складывать горкой грязное белье, ходил по кухне туча тучей...

– Пап, ты же умирать собрался!

– Мужик твой придет, ему и постираешь, мне нечего. Ноги таскаю, таблеток не пью, а водки нет. Я твоего Николая, знаешь, как один раз выходил, нет?

Тося слышала эту историю раз пятьсот, но отрицательно покачала головой, откинулась к стене, приготовилась слушать. Внутри от усталости дрожала какая-то струна. Она физически ощущала ее – вот-вот лопнет, оборвется, и... Но спать не шла, потому что знала – не уснуть ей в это время. Того гляди ребяшня встанет, возню затеет, приставать начнет. А то станут все на цыпочках ходить, сон ее оберегать, а это еще хуже.

– Как, пап?

Довольный Старик тут же плюхнулся на стул – он до боли любил разговаривать о сыне. Получая с фронта долгожданные треугольники, Старик никогда не читал их первым. Крал на стол или на видное место в комнате, напускал на себя чрезвычайно озабоченный вид, копошился по мелочам.

Когда Тося прочитывала ему вслух письмо, он важно кивал, шевелил бровями и ничего не понимал. Уже потом, когда все ложились спать, Старик садился на кухне за стол, нацеплял очки и медленно, слово за словом, разбирался в «николашиной писанине». Плавился горькой, старческой слезой,пил «аверьяновку», поминутно царапал костенеющими пальцами левую сторону груди.

Утром, когда Тося уходила на работу, Старик делал подъем и «аврал» внукам, сажал их неодетых на стулья и торжественно, с надрывом в голосе и выражением читал отцовское письмо. Маленькая Сонька тарашила спросонья глаза, зевала.

Близнецы Пашка и Кешка сначала слушали серьезно, потом начинали хихикать над дедовыми прыгающими бровями, и тем как он читает по слогам. Старик выходил из себя, пытался сохранить торжественность момента, но чтение заканчивалось скандалом и изгнанием внуков на улицу.

Дочитывал он письмо отца одной Соньке, мирно спящей у него на коленях. С ней и беседовал на тему фронтовых новостей. Обсуждал варианты «отступлений-наступлений», главное, не встречал с ее стороны возражений, если надумывал перечитать письмо еще раз и обязательно вслух.

– Значит, вот чего, Тось! – Старик облокотился на стол. – Это, когда Николаю шестнадцать стукнуло, в деревне был кержак, его Упырь звали, деньги в проценты давал. У Упыря дочка в дурочках ходила, с виду ничего, а как накатит, спасу нет, того гляди, сожжет или драться кинется! А Колька с друзьями к Упырю в сад лазать наладился, яблоки трясти. Она, дочка-то упырева, грозилась, а с них что возьмешь, молодые, зубы скалят и все. И, Тось, приносят мне твоего мужа в ночь. Мать – покойница, хлопнулась сразу. Колька синюхой взялся, едва дышит – эта упыриха в него с десяти шагов жаканом волчьим стрельнула, поняла? Волка – это что, такая штука медведя с ног свалит! Застыл я, не всколыхнулся даже... Дырка у него тут, где кость начинается. – Старик ткнул себя пальцем под левую ключицу. – Из дырки кровь еле-еле! Врачей, где искать, да и не было у нас в ту пору врачей, криком кричи – нуль! Шупаю пальцем, твердо, потом выяснилось, что промахнулась упырева дурочка, в доску забора попала, а сквозь нее – в Кольку. Потерял жакан убойную силу, но дыра есть. Переворачиваю его спиной вверх, что силы кулаком трись! И выпал свинец. Дальше слушай, беру стакан водки, и прямо в дыру, Колька стонать, а я и ему стакан! Мать на меня с кулаками, сгубишь единственного! Третий стакан в себя влил, через неделю парень на ногах.

Старик победно смотрел.

– Продезинфицировал? – устало улыбнулась Тося.

– Ирод Пашка рогаткой пуляется, – вспомнил Старик, – я его изловил, он опять спрятал. И не найдешь, хоть собак приводи! Вчера сын Макеихи – генеральши, Се-

режка, на сквере апельсин чавкал. Наша малая стоит, слюни распустила, чуть не плачет. Я ее турнул, чтоб не попрошайничала.

– Она маленькая, пап, чего уж ты?

– Я Николаю ругательное письмо послал, пусть почитает, третий месяц молчит.

– Может, не доходят?

– Я те дам, не доходят. У всех доходят, у него нет? Баламут с малолетства! Соньке витамины нужны, тьфу ты, Господи, как его? Гама... геман... гамантогент, что ли?

– Гематоген?

– Во-во, Сонюшка в рост идти должна, а она у нас все пигалица. Пашка с Кешкой поменьше были, так хоть жрали, а эта по капле!

– Прилягу на чуть-чуть, пап?

– А кулеш?

– Потом, ты ребят накорми, как встанут, в час толкни, я трусы прострочу. У машинки шпулька западает.

– «Шпулька!» – скосоротился Старик. – Один нос остался, того гляди, ветром свалит, а все шпульками заботится! Спать надо, иди, полежи, я их, дьяволов, турну нынче, турну!

Тося ушла спать. Старик сел на скамеечку у окна. Долго смотрел на полку, где лежал кисет с табаком, не выдержал, протянул руку, отсыпал добрую горсть, свернул сигарку и даже поперхнулся слюной, когда прикурил, так соскучился. Не просто курил, а, выпустив изо рта струйку дыма, рукой подгребал, подгоняя ее к носу, чтобы до конца и полностью испить табачную горькую сладость.

Потом он стирал.

А Кешка, лежа на диване, рассматривал стоявшую на комодe фотографию верховного главнокомандующего. Вспоминал, как страшно кричала красивая тетя Марта, соседка по лестничной площадке, жались к стене дворник и бывший боцман Карасев, что жил на пятом этаже. Их какими-то «понятыми» позвали строгие люди в красивой форме...

Сашке Проклову обе ноги в сорок первом на Можайском шоссе бомбой с самолета оторвало. Едва жив остался. У него и мать, и отца, и брата старшего в лагеря за шпионаж услали, там и сгинули. Сашку хотели выслать, тут война, не до него стало. На второй день войны без ног остался.

Кешка к Сашке в комнату часто ходит. То помочь, то еще чего, а больше из любопытства. Кешка деду сказал про обзывание Сашкино, но дед – могила. Если, не дай бог, кто узнает, что безногий частушки себе под нос про Сталина наяривает, все! За них ему те, в форме красивой, руки вырвут.

Вот только пьет Сашка – это Кешке очень не нравится. Особенно, когда он его за самогоном гоняет с барахлом, что от матери и отца осталось. То пиджак, то кофту, а на прошлой неделе кольцо носил.

Кажется мальчишке, что смотрит Сталин с картины прямо ему в переносицу. Тяжело и пристально смотрит, словно тайну какую-то знает, и тайна эта, того гляди, всем во вред окажется.

Скосил Кешка глаза – расплылся вождь в тусклое пятно, вернул глаз на место, и вождь опять смотрит. Вдохнул, на брата ногу закинул, а Пашка спит, ему никогда и ничего не надо!

Разные они, хоть и близнецы. У Пашки одна страсть – рогатка, из нее без промаха бьет.

Призыву он не подлежал из-за врожденного слабоумия. Неразвитый мозг свободно умещался в большом бугристом черепе. Мысли были короткими и невнятными, сердце добрым и приветливым. Митенька всегда беспричинно улыбался, любил держать людей за руки, прижиматься плечом к груди и класть голову на плечи.

При этом лопотал тонким голосом что-нибудь трогательное, вроде «так лублю-у, ух как! Ты хаёший, у, какой!»

В тридцать лет Митенька едва достиг развития четырехлетнего ребенка.

Погрузив его разум в зыбкую дремоту, природа, как бы в насмешку, оставила на поверхности гениальную память.

Окружающих поражало, как мог этот дремучий мозг помнить практически все, что касалось работы почтальона. Стоило назвать любую фамилию с многотысячного участка, и Митенька безошибочно называл номер дома, квартиры, так же перечислял всю корреспонденцию, выписываемую этим жильцом или его домочадцами.

Все это с трогательной улыбкой идиота, не выговаривая букву «р», тонким голосом бесполого существа.

Его любили. Угошали конфетами, поили чаем, на «дорожку» пихали в карманы неизменной телогрейки мелочь. Почтальон к этому привык, он был неотъемлемой приметой этого района, о которой рассказывали посторонним.

Когда это кончилось, Митенька не понял. А кончилось нелепо, страшно и стремительно. Удивляться не умел, поэтому смотрел вокруг с трогательной улыбкой, так же объяснялся всем в любви и брал за руки. Его стали избегать.

Воронка войны втягивала в себя все новые и новые людские судьбы. Митенька улыбался, протягивая адресатам похоронки, ждал подарков и лопотал нежно и горячо, широко раскрывая глазки.

Сапожник Нефедов, когда Митенька принес ему похоронку на третьего сына, схватил молоток, со стоном кинул в почтальона. Инструмент врезался в полку, с нее посыпались гаечные ключи и железки, одна стукнула почтальона по многострадальной голове.

Ошалев со страху, почтальон бросился бежать, но вместо двери стал ломиться в стеной шкаф, запутался в полушубках, плащах и пальто, завыл дурным голосом. Оттуда его вытащила дворничиха Максимовна, почтальон размазывал по щекам грязь и слезы, в ужасе озирался.

Дома он рассказал старухе-матери и снова плакал. Мать слушала молча, потом слезла с сундука и бросилась на сына. Схватив за волосы, всхлипывая, драла так, что Митенька еле вырвался, убежал во двор прятаться за сарай. Отсиживался там два дня, стуча зубами от страха, голода и непонимания происходящего.

Но дошло до убогого, он понял, в мире что-то произошло, он страшно и непонятно изменился.

Четвертую похоронку, что пришла через три месяца тому же Нефедову, уже на дочь, лейтенанта медслужбы, Митенька адресату не доставил. Часа два простоял за почтой, у стены, где пожарная лестница, моршил лоб, отковыривал известку и ел, усиленно моргая. Думал.

Проклятую бумажку сунул в ржавую консервную банку, заложил свободное пространство камешками и закопал под акацией в сквере, старательно присыпав пожухлыми листьями.

Дома долго рылся в старом ящике, где хранил свои «сокловиша», сел за стол, вооружившись красным карандашом.

Сапожник Нефедов всем показывал странное письмо без адреса и подписи, с одним-единственным листом, на котором была наклеена картинка с самолетом и облаками. На листе аккуратно выведено слово «луублю».

Поудивлявшись, Нефедов спрятал картинку вместе с документами своими и погибших детей, часто доставал посмотреть, как маленький «ястребок» разрезает винтом игрушечные облака.

День обещал быть ненастным, но к обеду подул напористый ветер, и валкое дождевое облако ушло за Язу подыхать тоскливым, сентябрьским плачем. Солнце быстро нагрело мостовые и камни домов.

Ушлые военные воробьи подняли гвалт, перелетая в воробьином беспокойстве с места на место. Тренькали трамваи.

Митенька остановился у дома 2/8 по площади Журавлёва, улыбнулся шедшей навстречу дворничихе Максимовне. Она волокла тяжеленное ведро с песком, на ходу вытирая рукавом драной фуфайки распаренное лицо.

Увидев почтальона, Максимовна остановилась, поставила ведро под другую руку, вопросительно подняла белесые брови.

Лицо у Максимовны широкое, с коротким носом, глаза маленькие с выгоревшими ресницами, рот с вечно поджатыми сердитыми губами. Фигуры у Максимовны нет. Плечи сразу переходят в талию, где-то посередине колышется необъятная грудь, а бедра и ноги начинаются незаметно, как бы овал переходит в овал.

Бывший боцман Карасев из двадцать седьмой квартиры, встречая Максимовну, надолго останавливается, неопределенно шевелит в воздухе толстыми пальцами, изрекая непонятное: «Не корабль баржа, а плывет!» При этом хмыкает плотно и гладит ребром ладони рыжие усы.

С бывшим боцманом у Максимовны отношения сложные. Года три назад он как-то пришел к ней навеселе свататься. Принес торт и бутылку красного. Изумленная Максимовна усадила гостя, села сама.

Боцман полчаса бурчал невразумительное про «совместное плавание», и что шестьдесят три – это не года, а так, мать одна! Выпил бутылку и не к месту принялся рассказывать, как гулял в иностранных портах и какие там есть «замечательные смуглявочки».

Максимовна вздыхала на «совместное плавание» и года, вытирала покрасневшее лицо платком, советовала «говеть и ходить в храм». Когда речь пошла о «смуглявочках», Максимовна недоверчиво покачала головой, потом побагровела.

Боцмана из квартиры поперли в толчки.

Торт противно шмякнулся у ног «моремана», распавшись на бисквит, крем и ленточку с коробкой отдельно. Раздосадованный боцман пошел «на абордаж», но поднаторевшая в уличных схватках с пьяницами Максимовна, быстро и ловко помогла ему спуститься с лестницы, пригрозив сдать в милицию, если не прекратит хулиганство.

– Во! – Митенька с восторгом ткнул пальцем в ведро с песком, стоявшее у ног Максимовны. – Зазыгалки тусоваться будут! Немец полетит, а бонбы песком, да?

– Дурачок ты маленький, – ласково улыбнулась Максимовна.

– Я большой! – Митенька поправил сползшую с плеча почтальонскую сумку. – Мне тлищать годиков! Мне пасполт давно дали, кода исо маленький был.

– Ты в наш подъезд? – обеспокоилась Максимовна.

– В тлинадцатую квалтилу, тете Тосе Туманковой, письмо плинес.

Митенька похлопал рукой по сумке, Максимовна настороженно взгляделась в его лицо, решительно протянула красную от вечной воды руку.

– Дай письмо, дай, кому говорю, ошерился-то! Ну-ка, горе мое!

Почтальон улыбнулся, взял из сумки конверт, протянул Максимовне.

– Господи, трое у Тоськи и старик, мамочки мои родные, что ж это? – дворничиха схватилась за горло.

– Нельзя читать чужие письма, – строго сказал Митенька. – Влаг не длемлет!

– Враг – это ты, зараза! – выдохнула Максимовна, глядя в его пронзительную синеву глаз. – Долго будешь таскать письма эти, башка твоя дырявая? Долго ты сиротить людей будешь? Иди, чего осклабился, сволочь, неси!

Митенька отшатнулся, заморгал быстро-быстро, сел прямо на тротуар и заплакал. Максимовна подхватила ведро с песком, сделала несколько шагов, но тут же бросила ведро, кинулась к Митеньке, обхватила руками его голову, упав на колени, взвыла.

Открыл Митеньке Старик, строго оглядел почтальона, вопросительно поднял брови. Почтальон протянул конверт и сразу пошел по лестнице вниз. Старик недоуменно посмотрел вслед, послушал, как хлопнула входная дверь подъезда, повернулся, зашел в квартиру, аккуратно и тихо пришелкнув за собой дверной замок.

На кухне Старик сел за стол, чутко слушая, не идет ли Тося. Что делали его руки, он не понимал. Машинально вскрыл конверт. Прочитав страшную бумагу, вспомнил про очки, сосредоточенно обшарил глазами кухню, искал.

Передвинул их с затылка на глаза, еще раз прочитал бумагу, осмотрел печать, подписи, зачем-то поднял на свет, взгляделся сквозь бумагу. Положив на стол, крепко провел по сгибу прокуренным ногтем, сложил лист еще раз и опять провел.

Движения его были скупы и замедленны. Когда сгибать стало невозможно, тогда Старик нагнулся, засунул свертыш в шерстяной носок. Выпрямившись, посидел, ожидая отлив крови от головы, и принялся за прерванное дело, он гладил белье.

Выгладив последнюю ребячью майку, Старик сложил белье в аккуратную стопку, перенес на подоконник. Налил в таз воды, попробовал пальцем – кипятком. Сел за стол, ожидая, когда остынет вода.

На глаза попалась солонка, Старик стал есть соль. Брал шепоть и клал под язык, не чувствуя вкуса. Когда скулы свело от невыносимой горечи, поднялся попить.

В кухню влетели Пашка с Кешкой, стали воевать из-за права попить первому из крапа. Старик знал, что надо навести порядок, но забыл, как это делается. Поэтому просто поддал и тому, и другому по затылку, указал на дверь. Внуки притихли, опасливо смотрели деду в лицо, вышли, часто оглядываясь.

Старик прикрыл за ними дверь на кухню. Он все время думал, а думы эти ускользали и ускользали, он никак не мог ухватить их суть. Стопку выглаженного белья он сунул в таз, и стал стирать заново.

Сердце его билось ровно и твердо. Теперь он точно знал, что не умрет ни в эту ночь, ни в ближайшие много-много ночей. До совершеннолетия внуков было далеко, о Соньке и говорить нечего. Война не могла быть вечной, а в квартире № 13 мужчин, кроме него, не было. Некому варить кулеш, ругаться в очередях и сажать картошку.

Похоронку Старик Тосе не показал. Вечером пошел загонять внуков домой, к нему с плачем кинулась Максимовна. Что сказал ей Старик, никто не узнал, но дворничиха в полчаса обегала всех, с кем успела обговорить горе семьи Туманковых.

Ничего не знала о гибели мужа худенькая, большеглазая красавица Тося. Иногда ее настораживали странные взгляды соседей, но забот было столько, что не до взглядов. Время смутное, зыбкое, тяжелое.

Однажды вечером, распирая земной шар костылями, крепко вращая в него единственной ногой, встал посреди площади Журавлёва разведчик 132-й гвардейской дивизии, гвардии лейтенант Георгий Пенкин.

Шинель свободно стекала с его госпитального тела, ворот гимнастерки распахнут, под ним бегут штормовые полосы выгоревшей, не положенной по форме, тельняшки.

Оглядел громаду дома 2/8, перекинул папироску из-под одного конца прокуренного уса под другой, плюнул в чугунную «николаевскую» урну и поманил пальцем пробежавшего мимо папана.

– Замри! Где тринадцатая квартира?

Папан заморожено рассмотрел два ордена Красной Звезды, отвернул полу шинели справа – открыл рот на множество сверкающих медалей, только тогда поднял глаза, разом ухватив горбатый, тонкий нос, усы и колючие глаза из-под выгоревших бровей. На костыли и единственную ногу внимания не обратил.

– Там Туманковы живут.

– Ну и... как живут? – спросил Пенкин, нашаривая портсигар.

– Нормально, – пожал плечами папан. – У них отца убило, у Пашки с Кешкой, весь дом знает, а они нет.

– Почему? – быстро спросил Пенкин, глядя в веснушчатое лицо.

– Не знаю, мамка мне не велела говорить, я и молчу. А вы немцев убивали? Хоть одного застрелили?

– Нет, – Пенкин задумчиво прикусил папиросу, – я каски красил. Для маскировки, зимой в белый цвет, летом в зеленый. А немец сам с мороза мрет, ему наступление scomандуют, он побежит и – амба, мрет!

– Как? – сбитый с толку, папан рот раскрыл.

– Как мухи!

Кивнул Пенкин, пацану палец в рот сунул. Тот сглотнул от неожиданности, недоверчиво посмотрел, и засмеялся.

Пенкин достал портсигар с вензелем нерусским, заковыристым, сунул в него неприкуренную папиросу и пошел. Раскачивался на своих пожизненных качелях – костылях, далеко выкидывая ногу в надраенном сапоге, какие в ту пору носили генералы да интенданты из пронирыливых, а из простых вояк – мало кто. Правда, еще разведчики.

У подъезда дома бывший боцман Карасев Максимовну выглядывал. Пенкина увидел, откозырял, очень даже прямо для своих шести десятков, во фронт выпрямившись. Пенкин не заметил, в подъезд вошел. Карасев его глазами проводил, послушал, как дверь хлопнула, потом обиделся.

Вадим Петрович Крючков в сказки не верил, Бога не боялся, сильно сомневаясь, что такой существует. Верил твердому советскому рублю, тайне вклада в сберкассе, а больше ничему. Даже хромому Файзулле, с кем имел дело на мясокомбинате, до конца не доверял.

Десять ящиков свиной тушенки, переложенных промасленной бумагой, пять мешков сахара, ворох копченых колбас, кадка говяжьего жира, коробки со сгущенкой и макаронами, несчетно шоколада – это личный резервный фонд Крючкова.

Остальное было в обороте.

Только за наличие этих богатств, по военному времени несметных, полагалась ему не «дальняя дорога – казенный дом», а девять граммов равнодушного свинца в стороне от жилья и кладбищ.

В его квартиру имела доступ только шестипудовая Татьяна, посудомойка столовой при заводууправлении. Она осталась вдовой еще в эпоху военного коммунизма, бывшая попадья, впадающая в меланхолию и нервный озноб при слове «ЧК».

Мелкие деньги Вадим Петрович менял на сотенные, а когда их скапливалось достаточное, по его мнению, количество, то на некоторое время исчезал. В квартире оставалась одна Татьяна, вздрагивала на шорохи, часами сидела без света, грызла копченую колбасу прямо с кожурой и тихо выла от страха.

Возвращался дня через три грязный и довольный. На принесенные им остро посверкивающие камешки бриллиантов, Татьяна старалась не смотреть. Золото ее тоже не волновало. Она страстно, всем большим, коровьим сердцем любила Вадима Петровича, и каждый раз при его возвращении благостно отпотевала – обошлось.

– Марковне скажешь, на той неделе товара не будет, – гладил могучее Татьянино колено Вадим Петрович. – Зажралась в своей столовой... Прошлый раз маргарин брать не хотела, масло давай, не думает башкой дырявой, что время нынче какое? Маргарин туда-сюда, а с маслом-то, копни и... У меня клиентуры без нее хватает. Долг заведи!

Татьяна кивнула, с умилением глядя на руку Вадима Петровича.

– А еще скажи, увижу, что в театр намылилась, жаба столовская, пусть на себя пеняет! Это мыслимо? – с досадой плюнул. – Шубу напялит, колец чуть не в нос насажает! Ей не пятнашку сунут, сполна будет. Лубянке на ее прелести начхать! Стрельнут за милую душу, согласно военному времени.

– Вадька, не пей, дурной становишься. Полулитру выпил, куда такая прорва?

Татьяна встала, прошлепала к окну, аккуратно задернула край отвернувшейся занавески. Вадим Петрович следил за ней с кровати, весело шурил глаза. Он любил подразнить пугливую попадью, очень веселился, когда вдова покрывалась от страху обильным потом.

– Цыц, дура, пей, не пей, тебе-то что? Жрешь сладко, спишь вволю и ладно. Поди, на паек не много ожиреешь, а? Ты бы хоть попостилась, а то щеки за километр видать. Вот она я, бери меня, МУР, толстомясую! Ты почти семинарию закончила при долгогривом своем! Чего засопела, где золото, поди, осталось «рыжиков»? Спрятала, по роже твоей вижу, спрятала... Меня не проведешь, розыскной собакой

могу работать, металл под землей на три метра нюхаю! Правильно твоего попа шлепнули, не иди против власти законной, змей патлатый, чем она ему не угодила? Дом, землю отняла? У церковей не шибко отбирали, и чем Сталин не угодил? Он до церкви не касался, он врагов внутренних выискивал. А твой поп вместо того, чтобы спокойно селянам мозги туманить, пирогами кормиться, решил в переверот влезть. О, Господи, тоже мне, Георгий – змееносец!

– Победоносец. Чего привязался, спи, раз собрался.

Вадим Петрович некоторое время молча разглядывал Татьяну, потом нашарил под подушкой портсигар, закурил, окутался дымком.

– Голос у тебя, как из бочки, ну-ка, прими руку, развалилась, кобыла! Мигнуть, так у меня знаешь, какие девочки полы мыть будут? Что я с тобой валандаюсь, тебе лет сколько, хоть помнишь?

Попадя с опасной покосилась на Вадима Петровича, вздохнула.

– Отстань, ирод.

– Не, серьезно...

– На сколько выгляжу, столько и лет, все мои, чужого не надо.

– Врешь. «На сколько выгляжу...» Ты с девяностого года, поп тебя перестаркой брал.

Татьяна колыхнулась необъятным телом, приподнялась, облокотилась на руку, стала смотреть на развеселившегося сожителя. Глаза у Татьяны синие-синие, волос тяжелый, темно-каштановый. Губы пухлые, оттопыренные, подбородок двойной на грудь наваливается...

Смеется Вадим Петрович тихонечко, Татьяна ему нравится, баба в соку.

– Татуська, куда монетки от попа закопала, а? Честно только.

– Полная конфискация.

– «Конфискация!» – зло вздернул верхнюю губу. – Поверил я тебе, как же! Сестрица твоя в Фонд Оборона сколько сдала? Я помню, триста пятьдесят тысяч, вот сколько! С архидьяконом своим торжественно сдали, и еще кресты, кольца, и камней в два раза больше...

– На войну дал, война-то народная.

– Заткнись!

Вадим Петрович быстро сел на кровати, поерзал, устраиваясь, поднял затекшую руку, пошевелил пальцами.

– «Народная...» Он мне дал чего, народ твой? Отец хребет ломал, в двадцать девятом ему сломали! Народ... «Год великого перелома!» Вот и переломили. Только-только на ноги встали, батя плуг завел, лошадь, три коровы были, телок и телушка, свиней... Все хребтом, а нас – мать, батя, я и братан! Братан малой, мать болеет. Кто пахал, кто морду в навозной жиже мыл? Я и батя, а нас в Соловки? У соседа семеро по лавкам, он, гад, на лишнюю копейку норовит гулять, на работу не утянешь, баба его, кроме, как родить, ничего не может. Им новая жизнь, а нам – Соловки, поняла? За то, что он на печи в бездельниках, его в комбед! Ему Иосиф Виссарионович права дал, а мы в кулаках под расстрелы шли.

– Не все мздоимцы, не все! По делам нашим ответ держать будем.

– По делам, говоришь, тогда тебе на том свете большая сковородка припасена.

– Не мели языком, ночь на дворе.

Вадим Петрович оттопырил пальцы руки, загнул мизинец.

– Продукты в столовую Марковне кто таскает? От законной власти драгоценности попа-контрреволюционера утаила. Я не фраер, Кодекс выучил. Как соучастница хищений в особо крупных размерах в военное время, тянешь на «вышку».

Вадим Петрович хлопнул себя по животу, залился смехом.

– Связь греховная со мною, в аду сковородка обеспечена.

Закривлялся бесом, с кровати прыгнул и давай скакать по комнате!

Тарелку с подоконника смахнул на пол, ножку стола задел, с него чуть стакан не грохнулся, да Вадим Петрович успел его подхватить. Отсмеявшись, напрыгавшись, на стул плюхнулся. Татьяна не выдержала:

– Чего нагишом крутишься? Срамные твои выходки, и не молодой уже, слава Богу. Отец Таисий всегда свет тушил, потом раздевался, а тебе, что ни светлей, то радостней!

– Вот за это и шлепнули Таисия, – резюмировал Вадим Петрович. – Темноту любил поп, а темноту только крысы любят.

Сел к столу, долго и с интересом разглядывая этикетку на бутылке с водкой. Налил в стакан, глядя перед собой в пространство, выпил, не поморщился. За него Татьяна скривила лицо, с отвращением смотрела, как ходит кадык, подрагивают пальцы и наливаются краснотой уши.

Выпил Вадим Петрович, на Татьянину гримасу ухмыльнулся, встал.

– Закуси, ирод, закуси, все не как у людей, господи!

– Я не люди, – перебил ее Вадим Петрович. – Я – нелюдь.

С разбега упал на кровать, так что ойкнула испуганно попадя, застонали пружины обширной кровати. Вадим Петрович сунул руки под голову, задумчиво прикусил нижнюю губу.

Лицо у Вадима Петровича в глубоких морщинах, загорелое. Усы пшеничного цвета, уголками книзу. Нос с проваленной седловиной, ноздри крупные, четко очерченные. Хрящеватые уши... Растительность на голове жидкая, зачес делает сбоку, где волосы длиннее, прямо на плешину затылка.

– Я читал много, особой мудрости нет в книгах, но кое-что накопать можно. Так я понял, две меры у человека есть – или вор, или праведник. Праведники живут хуже воров, впроголодь, бьют их чаще, зато и памятники им, книги про них. Хотя, может, он и не был в жизни праведником. Ошипывал ближнего, как гуся худого, а как обожрался до икоты, за праведные дела взялся. Вот я вам, люди, житие свое опишу, как оно мне мечталось, а еще лучше расскажу, как вам надо жить! Веруйте, люди, молитесь, меня вспоминайте. Твои святые, что в книге читала прошлый раз, они что, работали? Дудки! Они лбом об землю бились, чьи-то грехи отмаливали. Исцеляли ладошками, а жрать им кто носил? Сухари и мед, и молоко, и... чего еще там? Вор украл и слопал, а праведник? Не крадет, ему сами приносят, да еще кланяются! Чем, скажи, те, которые власть-то, не праведники? Ну, хорошо, если он в своем деле мастак, а если нет? Если он только про будущее говорит? Гайки ни одной не сотворил, сотки не вспахал, кружку молока не нацедил, как он может управлять мною? Я вот вор, у хромого Файзуллы перекупаю продукты, через тебя в столовую отправляю и разницу в карман. А ему воровать не надо, благоверный народ даром принесет, поклоняется и памятник поставит. Значит, есть и третья мера?

Вадим Петрович встревожено привстал.

– Тот, кто пашет, сеет – он кто? Праведник? Сам посеет, сам соберет, сам отвезет, все сам, а у него и отнимут! Скажут, сиди, не рыпайся, кормил всех и корми, не захочешь, мы тебя к стенке. А за что? Была б моя воля, я и праведников и воров – всех в расход!

– Кого оставишь-то? – прогудела Татьяна. – И тех, и этих, а кто будет?

– Был у нас в деревне один, до сих пор снится, Степка Вершинин, голь перекатная. Речи говорил про мировую революцию, про цепи порванные. До двадцать седьмого года в уполномоченных, половину деревни упек! Под «контру» подводил, а из реквизированного добра себе хозяйство справил.

Вадим Петрович нехорошо улыбнулся, дернул подбородком, Татьяна исподлобья смотрела, потом осторожно спросила:

– Ну, и чего?

– Потом его рыбы съели, – Вадим Петрович потер пальцем переносицу.

– Какие рыбы? – вздрогнула Татьяна.

– В пруду знаменитые караси водились, вот какие! Теперь спичечная фабрика, караси сдохли.

Долго молчали.

– К Туманковой мужик с фронта приехал от мужа. Самого убили, мужик все рассказал. Старик похоронку спрятал, Тоське не показывал, а мужик вот он!

Вадим Петрович задумчиво водил пальцем по усам.

– Убили Колюшку? Ну, царство ему небесное! Тоська девочка фартовая, не гляди, что троих родила.

– Мужик на костылях, с одной ногой, а красивенький. В наградах весь. Вадька, ты со мной записываться будешь? Грех это, большой грех, говорю, ты по-людски бы, а?

– Туманкова теперь нет, – оставил ее вопрос без внимания Вадим Петрович.

Был у него случай, до сих пор, при воспоминании о Николае Туманкове, прыгало правое веко. Давно было...

Он стоял у дома, смотрел, как в соседний подъезд таскают немудреные пожитки новые жильцы, отец и сын Туманковы. Они были очень похожи, и Вадим Петрович с любопытством разглядывал их.

Вот тут и подвернулся ему под ноги ничейный котенок. Вадим Петрович брезгливо сморщился и отодвинул его в сторону. Котенок заурчал, жалобно промяукал и потерял грязной головой о штанину новых кремовых брюк.

Вадим Петрович отпрянул, с огорчением разглядел появившееся на светлом материале пятно, вполголоса выругался. Аккуратно прицелившись, ударил котенка носом ботинка.

Котенок источно мяукнул, врезался в стену дома. Он был оглушен и закружился на месте. Вадим Петрович, склонив голову набок, некоторое время наблюдал за потерявшим ориентацию животным, хмыкнул и ударил еще раз. Целил по грязной голове с оттопыренными ушами, но промахнулся, попал по боку.

Котенок не шевелился, когда Вадим Петрович занес ногу для нового удара. Не успел. Его с силой развернули – прямо в переносицу смотрели, подернутые дымкой, глаза Туманкова-сына. Вадим Петрович удивленно поднял брови, беспечно улыбнулся и сказал, ткнув пальцем в лежащего котенка:

– Живучая тварь.

– Ты зачем? – задыхался Туманков.

– Чего? – удивился Вадим Петрович. – А пошел ты!..

Следующее мгновение навсегда выпало из памяти Крючкова.

Удара он не почувствовал, просто мир непостижимым образом перевернулся – крыша дома оказалась под ногами, асфальт подпрыгнул к лицу.

Дворничиха Максимовна вылила на него ведро воды, причитая, растерла грудь и виски нашатырем. Вадим Петрович вяло зевал и сучил ногами.

В далеком детстве он видел, как деревенского пастуха лягнула лошадь, убить не убила, но пастух с того времени стал «не в себе», нес околесицу, беспричинно вздрагивал и ронял все из рук. Вадим Петрович теперь точно и очень зримо знал, что такое лошадь, лягающая человека.

Тогда он попал в больницу, там и обнаружился феномен Крючкова, освободивший его навсегда от воинской повинности, тяжелых работ и многого другого.

Придерживая ладонью чудовишно распухшую челюсть, Вадим Петрович вошел в приемный покой. Молодой врач, деловито моргая, осмотрел место удара, сочувственно посетовал на нравы улицы и попросил задрать рубашку. Вадим Петрович нехотя подчинился. Врач прильнул к его груди стетоскопом, послушал и отшатнулся.

Лицо его выражало недоумение и испуг одновременно. Тряхнув головой, он улыбнулся Крючкову, приложил стетоскоп еще раз, осторожно подставив ухо. Он шарил инструментом по груди и ниже, по животу, дул в отверстие и потел от испуга.

Вадим Петрович стоял, думая о том, что «подлец Туманков просто так не отдается...»

Заметил суету врача, озадаченно смотрел некоторое время, потом спросил:

– Не в порядке чего?

– Нет! – потрясенный врач откинулся назад. – Нет сердца!

– А-а! – Вадим Петрович придержал болевшую челюсть. – Тут оно.

– Где?

Врач изумленно смотрел, как Вадим Петрович тыкает себя пальцем в правую сторону груди.

– Как оно там оказалось?

– С детства.

Вадим Петрович застонал, проклятую челюсть прямо выламывали клешами, жгли огнем. Он с ненавистью покосился на прилипшего опять к его груди врача.

Феномена затаскали по врачам. Сначала Вадим Петрович пытался увилывать, потом присмотрелся к шумихе вокруг его «недуга» и сделал соответствующие выводы. Научился трагически замирать на ходу, хватать ртом воздух и судорожно тереть грудь.

История его болезни скоропостижно распухла. Он научился падать в обморок, при этом дрожал веками и прикусывал кончик языка. Перед началом войны все справки были в идеальном порядке.

Соседи, встречая его на улице, видя, как он тихо бредет, придерживая правую половину груди, словно боясь нечто расплескать, вздыхали и говорили: «Петрович не жилец, этот недолго».

Война началась, когда ему было тридцать шесть лет. Из них семь он провел... Впрочем, об этом не знал никто, а Крючков, он же Махин Иван Данилович, он же Тишкин Николай Петрович накрепко забыл. Тогда из лагеря в тайгу бежало трое, вышел один...

– Давай спать, красавец! Жениться на мне не хочешь, и черт с тобой. Пойду в органы и скажу, судите, в шайке у воров продуктами занималась! Завстоловой Розе Марковне, сволочи недобитой, таскала, она их по цене неслыханной на сторону продавала... А у Вадьки золото есть и деньги большие, и...

Татьяна не договорила. Глаза бывшей попадьи вылезли из орбит, язык бешено и мелко мотался по нижней губе, а грудь прогнулась. Крепко держал ее за горло Вадим Петрович, наступив коленом на грудь. Лицо его было спокойным и мудрым, так как по странности природной, в минуты настоящей опасности, начисто лишался чувства страха.

Захрипела Татьяна, забила ногами жутко, выгибаясь большим телом, еле оторвала от горла железные руки, чтобы успеть выдавить:

– Пошутила! Ой, убил, окаянный!.. Убил!

Сидела на кровати, черное пятно с глаз смаргивала, оно сходило трудно, глаза слезами затекали. И Вадим Петрович сидел, руки свои гладил и нехорошо улыбался.

– Татуська, ты меня знаешь? Выходит, что нет. Куда, ты думаешь, односельчанин мой, Степка Вершинин делся? – Он засмеялся, погрозив пальцем. – Богомольница египетская, ему обидно было, столько лет «вставай, проклятем заклеименный» пел, а тут из него душу вынимают! Я из него ремней нарезал и к рыбам, поняла? У меня другого хода нет, пожить охота. Война кончится, люди – нишета голимая, а у нас с тобой база есть, поняла? Один великий немец как говорил? Базис, вот как! Ты «Капитал» не читала, и не надо, тебе ни к чему. Эх ты, дуриша, разве так можно?

Засмеялся, легко с кровати спрыгнул, к окну прошел. Татьяна недоверчиво, с опаской смотрит, а Вадим Петрович из-под доски подоконника что-то черное достает. И как давным-давно, при аресте попа непутевого, захолонуло у Татьяны, вздрогнуло оплывшее сердце и приостановилось.

На ладони Вадима Петровича лежал большой плоский пистолет.

– Вадька! – искательно нырнула в его глаза Татьяна. – Брось! Хочешь, в мусорку кину, а? Христом богом прошу!

Она стукнула кулаком в грудь.

– Зашемило у меня тут, мамоньки!

Вадим Петрович сел рядом на кровать, помолчал немного и жарко, с придыханием зашептал:

– Все б вам коровками божьими по земле ползать, и заповеди ваши дохлые... «Не убий!» А если он меня убьет? И подыхать с голоду неохота, а? «Не пожелай жены ближнего...» Если слаше она, жена этого ближнего? Мне всю жизнь другого

Бога суют, и архангелы его с удостоверениями оперативников по земле шарят! Так что, ждать, пока они меня в рай на казенной машине отправят? Гляди! – Он вышелкнул обойму из пистолета. – Вот сколько у меня помощников, поняла? Я от архангелов с музыкой громкой уходить стану, мне от них не срок, мне от них смерть неминуемая... Дед и отец, они каждый в свое время на селе и боги, и цари были, а я кто? Мразь! За кордон уйти, чего там делать буду? «Шпрехать» по-собачьи не хочу, поняла? Этих тварюг видал, что оттуда приползают, вредители, шпионы всякие... Со мной один сидел, водокачку отравил, мы его в парашу сунули, дерьмом захлебнулся.

Вадим Петрович вздрагивал телом, лицо искажала судорога, сбегавшая от глаз к подбородку. Татьяна со страхом смотрела на него, ломала костяшки пальцев, трескала суставами.

– Сумасшедший! – наконец, потрясенно выдохнула она. – Ты сам не знаешь, чего хочешь-то!

И притихла в ужасе, глядя, как розовеет в полумраке выглаженное его тело, двигаются вместе с желваками скул хрящеватые уши. Обхватив руками колени, он раскачивался, мутно ворочал глазами и шептал, шептал непонятное, но, наверное, страшное, одному ему ведомое.

В открытую форточку ночная Москва звуками течет – машины шуршат, где-то по мостовой железо тянут, скрежет противный. Ветерок подул, смятой газетой на столе зашуршал, заворочался.

Кажется Татьяне, что на столе паук лохматый таится, нити липкие расправляет. Кашлянуть хотела, да побоялась, на другой бок повернулась. Все равно спиной страшное чувствует. Напасть, прямо! Носом в шею Вадима Петровича ткнулась, авось не схватит страшное-то!

– Господи, владыка милостивый, слышишь ли?

– Слышу, спи, четвертый час.

И вдруг Татьяна неотвратимо и ясно поняла – сердце у Вадима Петровича справа.

Учитель вошел в класс и остановился.

Все как обычно, вот его дети сидят за партами, пол и доска чистые, но...

Он внимательно всмотрелся, задумчиво потер переносицу, пошел к столу, на ходу раскрывая классный журнал. Сел, поправил галстук, чуть встряхнул кистями рук, чтобы манжеты рубашки вышли на положенную длину.

По необычному молчанию тридцати пяти учеников он понял, что произошло нечто серьезное, может быть, плохое.

– Здравствуйте, дети!

Класс встал тише, чем обычно, даже крышки парт хлопнули не так.

– Садитесь.

Он едва заметно улыбнулся, тряхнул копной густых, с проседью волос и, положив перед собой на стол руки, сказал:

– Выкладывайте! Вместе говорить не надо, встанет самый заинтересованный в случившемся.

Как по команде все опустили головы. Только Нина Полосухина, самая маленькая в классе, наверное, поэтому самая упрямая, сидела неподвижно, глядя на Учителя с истовым упорством, поджав губы, горела лицом. Вздохнула, поправила воротничок и встала. Заговорила медленно, чеканя каждое слово:

– Яков Александрович, я не имею права учиться в советской школе.

Учитель слушал, склонив голову, машинально кивая.

– Я понял, ты не имеешь права учиться в советской школе. Не спрашиваю почему, это потом. У меня вопрос, в другой школе имеешь право учиться? Если не акцентировать на слове «советской»?

– Вообще? – Полосухина растерянно оглянулась. – В школе? В какой?

– Ты сказала «в советской школе», я спрашиваю, поскольку других школ, кроме

советских, у нас в стране нет, поэтому мой вопрос чисто теоретический. Смогла бы учиться в капиталистической школе, на это у тебя прав хватит?

Нина покусывала губы, красные пятна с лица почти сошли, вздернутые плечи опустились, что Учитель с удовольствием и отметил.

– Значит, права учиться с нами, у тебя нет. Теперь вкратце, что произошло, почему у вас противные физиономии, словно смотрели в замочную скважину, а вас застали? Нина, быстро!

– Моя мать вышла замуж за немца! – ответила, бледнея, Нина.

– Ну? – нетерпеливо прикрикнул Учитель. – Вышла замуж, так что?

– За немца, Лемке его фамилия, а в паспорте я посмотрела национальность!

– Твоя мама ездила в Германию?

– Он здесь, в Москве, инженером работает военным, а в Германии ни разу не был. На Волге жил, и сюда вот приехал.

Нина презрительно оттопырила губу, глаза ее сузились.

– Ботинки мне принес и пенал, еще фотоаппарат! Ботинки и пенал я в унитаз бросила, а фотоаппарат мать не дала!

Учитель долго молчал, с интересом разглядывая девочку.

– Если бы чуть больше лет, я бы решил, что вы законченная и неисправимая дрянь.

Говорил тихо и медленно, от этого каждое его слово падало, как камень в неподвижную воду.

– Работает военным инженером, следовательно, на оборону, так?

– Он немец! – выкрикнула Нина, подавшись вперед, прижав руки к груди.

– Имеет советский паспорт, значит, Родина доверила этому человеку многое, в том числе, и свои секреты. Вон из класса.

– Что?

– Я говорю, вон из класса! Умыться, высморкаться и вернуться, вечером извинишься перед матерью и отчимом. В противном случае прошу в нашу советскую школу не ходить, ясно?

Она пошла по проходу, Учитель отвернулся к окну.

Лицо его было скорбным и суровым. Ему так хотелось обнять эту крохотную девчужку, прижать ее непутевую голову к себе, заслонить от всего света, от этой войны, от недоедания... Как не хватает им нежности, доброты и внимания, детям войны. Потому и колючи их взаимоотношения друг с другом, потому так трудно пробиться в их души.

– Вам по пятнадцать лет, взрослые и понимающие люди. В жизни, как в математике, там логика математических обращений, в жизни – логика поступка. Ненависть к врагу священна, но... Фашизм – это система, которая должна быть уничтожена за свою звериную суть, но мы не воюем против немцев. Это трудолюбивый и великий народ, народ поэтов и музыкантов.

Учитель оглянулся на открывшуюся дверь.

– Садись. Ботинки и пенал из унитаза вынь, они тебе пригодятся. Я расскажу вам историю, происшедшую с одним юношей. Его дед был портным, но умел умножать в уме четырехзначные числа и извлекать любые корни из любых чисел... Юноше было нужно посмотреть белый свет, в котором творилось нечто невообразимое. А была всего-навсего Гражданская война. И юноша пошел пешком по ее извилистым дорогам, звали его Яшка. В мешок он сунул буханку, две луковицы и страницу из Талмуда. Есть такая книга, где описывается то, чего быть не могло, но хотелось бы, чтобы было.

(Продолжение следует)

проза

Герман ГЕССЕ

Тропа мудрости

Индусский роман¹

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

КАМАЛА

С каждым шагом на своем пути Сиддхарта узнавал что-нибудь новое – ибо мир принял теперь в его глазах совсем иной вид, и все в нем очаровывало его сердце. Он видел, как солнце вставало над покрытыми лесом горами и опускалось за пальмами отдаленного морского берега. Ночью он видел на небе стройное движение звезд и серповидный месяц, плывший, как ладья, по синеве неба. Видел деревья, звезды, животных, облака, радуги, скалы, травы, цветы, ручьи и реки, видел, как сверкала на кустах утренняя роса, как синели и белели отдаленные высокие горы. Птицы распевали, пчелы жужжали, ветер колыхал серебристые рисовые поля. Все это, со всем своим многообразием и пестротой, существовало всегда. И раньше светили солнце и луна, шумели реки и жужжали пчелы. Но раньше все это было для Сиддхарты лишь мимолетным и обманчивым видением, мелькавшей перед его глазами завесой, на которую надо смотреть с недоверием, которая на то и существует, чтобы быть сорванной и уничтоженной мышлением, так как она не была сущностью, так как сущность пребывала по ту сторону доступного, зримого, видимого. Теперь же его раскрывшиеся глаза останавливались на всем, что лежало по эту сторону; они видели и познавали видимое, искали родины в этом мире, не искали сущности вещей, не стремились в потусторонний мир. И как прекрасен мир, когда глядишь на него таким образом – так просто, так по-детски, без всяких исканий! Прекрасны месяц и звезды, прекрасны ручьи и берега, леса и утесы, козы и золотые жуки, цветы и бабочки. Как славно, как чудесно ходить по свету, с детской ясностью и бодростью во взгляде, с душой, раскрытой для всего близкого, чуждой недоверия! Не так палило теперь солнце голову, иначе прохлаждала лесная тень, иной вкус имели вода в ручье и цистерне, бананы и дыни. Короткими казались дни и ночи; каждый час быстро мелькал, словно парус на море, а под парусом плыло судно, наполненное сокровищами, наполненное радостью. Сиддхарта видел целое племя обезьян, куда-то перебивавшееся под высоким сводом леса, по самым верхним ветвям, слышал их дикое похотливое пение. Сиддхарта видел, как баран преследует овцу и овладевает ею. Он видел, как в поросшем тростником озере охотится терзаемая вечерним голодом щука, как в страхе убегает от нее молодая рыба, выскакивая из воды, сверкая на воздухе чешуей. Силой и упорной страстью вяло от быстро расходившихся кругов, поднятых на воде

¹ Журнальный вариант. Г.Гессе. Тропа мудрости. Издательство «Петроград». Ленинград – Москва. 1924.

стремительным преследованием охотника. Все это всегда было, да он-то ничего не замечал – он был слишком далек от всего этого. Но теперь его интересовало все, что его окружало, он сам был частицей окружающего мира. Через его глаза проносились и свет, и тень, месяц и звезды проходили через его сердце.

Дорогою Сиддхарта припоминал все то, что пережил в саду Джетавана; ученье, которое он слышал там, божественного Будду, прощание с Говиндой, разговор с Возвышенным. Вспомнилось ему каждое слово, сказанное им Будде, и с изумлением он заметил, что высказывал тогда мысли, которых, в сущности, еще не сознавал хорошенько. Ведь он сказал Готаме, что его, Будды, сокровище и тайна не в учении, а в том невыразимом и непередаваемом словами, что им когда-то пережито было в минуту просветления. Но ведь он затем именно и идет теперь в мир, чтобы пережить подобное же самому; да он уже и сейчас начал переживать это. Самого себя он должен теперь переживать. Правда, давно уже он знал, что его Я – есть Атман, что оно той же вечной субстанции, как и Брама. Но никогда на самом деле он не находил этого Я, потому что хотел уловить его в сеть мысли. Если, бесспорно, не тело было этим Я, и не игра чувств, то им не были также ни мысль, ни ум, ни заимствованная от других мудрость, ни таким же путем приобретенное искусство выводить заключения, ткать из продуманного новые мысли. Нет, и мир мыслей принадлежит еще потустороннему, и нет никакой пользы убивать случайное «Я» чувств, чтобы взамен усиленно питать случайное же «Я» мыслей и приобретаемого от других знания. И то, и другое – как мысли, так и чувства – прекрасные вещи, за которыми одинаково скрывается истинный смысл всего. И к тем, и к другим надо прислушиваться, играть ими, ничего в них не следует ни презирать, ни переоценивать, а во всем подслушивать звучащие в глубине тайные голоса. И он решил впредь стремиться лишь к тому, что внушал его внутренний голос, задерживаться там, где советовал его голос. Почему Готаме когда-то, в тот великий час, сел именно под деревом Бо², где его осенило откровение? Потому что он услышал голос – в его собственном сердце раздался этот голос – повелевавший ему искать отдыха под этим деревом. И он не отдал предпочтения умершвлению плоти, жертвоприношениям, омовениям или молитвам, не предпочел еду и питье, сон и грезы – он послушался голоса. Так именно повиноваться – не приказу жизни, а внутреннему голосу, быть всегда готовым идти на его призыв – вот что хорошо и необходимо; ничто иное не является необходимым.

Ночью, когда он спал в соломенной хижине, принадлежавшей перевозчику через реку, Сиддхарте приснился сон: перед ним стоял Говинда, в желтом одеянии аскета. Лицо Говинды было печально. Печально он спросил: «Зачем ты покинул меня?» Тогда он обнял Говинду, обхватил его руками, но когда он прижал его к груди и поцеловал, то почувствовал, что перед ним не Говинда, а женщина. Из платья этой женщины выставлялась наружу полная грудь, а он, Сиддхарта, лежал у этой груди и пил. Сладко и крепко было молоко из этой груди. От него исходили ароматы мужчины и женщины, солнца и леса, животных и цветов, аромат всевозможных плодов, всяческих наслаждений. Оно опьяняло, дурманило. Когда Сиддхарта проснулся, через дверь хижины видно было поблескивание бледной реки, а из лесу громко и звучно доносился призыв совы. Как только занялся день, Сиддхарта попросил хозяина-перевозчика переправить его на другой берег. Тот перевез его через реку на своем бамбуковом плоту.

Красным светом мерцала широкая река на утреннем солнце.

– Прекрасная река! – заметил Сиддхарта своему спутнику.

– Да, – сказал перевозчик, – это прекрасная река, я люблю ее больше всего. Часто я прислушиваюсь к ней, часто заглядываю ей в очи, и всякий раз чему-нибудь учусь у нее. Многому можно научиться у реки.

– Благодарю тебя, милостивец, – сказал Сиддхарта, выйдя на берег. – Мне нечем заплатить тебе за гостеприимство и переправу. Я бездомный скиталец. Я сын брамана и самана.

² Дерево Бо – священное дерево буддистов, из семейства фиговых. Его ботаническое название – *Ficus religiosa*. Ветвь этого священного дерева была пересажена на о-в Цейлон за 288 лет до н.э. и, благодаря неустанным заботам монахов, дерево растет до сих пор. Это, насколько известно, древнейшее историческое дерево. (Примечание переводчика)

– Я и сам догадался, кто ты, – сказал перевозчик, – и не ждал от тебя ни платы, ни иного вознаграждения. Ты оплатишь мне в другой раз.

– Ты думаешь? – весело спросил Сиддхарта.

– Уверен. Вот еще одно, что я узнал от реки: все возвращается. И ты, самана, вернешься сюда. А теперь прощай. Да будет твоя дружба мне наградой. Вспоминай меня всегда, когда будешь приносить жертвы богам.

С улыбкой они попросились друг с другом. С радостным чувством Сиддхарта думал о дружбе и приветливости перевозчика. «Он совсем как Говинда, – думал он, улыбаясь. Все, кого я ни встречаю на своем пути, похожи на Говинду. Все благодарны, хотя сами имеют право на благодарность. Все почтительны, все готовы стать друзьями, охотно повинуются и мало думают. Похожие на детей люди!»

Около полудня он пришел в какую-то деревню. На улице, у глиняных мазанок, возилась детвора. Они играли зернышками тыков и раковинами, кричали и дрались, но при виде чужого саманы в испуге разбежались. В конце деревни дорогу пересекал ручей, а на берегу ручья стояла на коленях молодая женщина и стирала. Когда Сиддхарта приветствовал ее, она подняла голову и с улыбкой взглянула на него, причем он заметил, как блеснули белки ее глаз. Он крикнул ей обычное приветствие странствующих монахов и спросил, как далеко еще до большого города. Тогда она поднялась с места и подошла к нему. Ее влажные губы красиво атели на молодом лице. Она стала обмениваться с ним шутками, спросила, поел ли он и правда ли, что саманы проводят ночи в лесу одни и не могут иметь при себе женщин. При этом она опустила свою левую ногу на его правую и сделала такое движение, какое делает женщина, приглашающая мужчину к любовному наслаждению. Сиддхарта почувствовал, как закипает в нем кровь, и так как в эту минуту ему вспомнился сон, то он смело наклонился к женщине и коснулся губами темного соска на ее груди. А когда он поднял глаза, то на ее улыбающемся лице прочел желание, а в сузившихся глазах страстную мольбу.

И Сиддхартой овладел прилив вожделения. Но так как он ни разу еще не коснулся женщины, то с минуту помедлил, хотя руки его уже протягивались, чтобы охватить ее. И в эту-то минуту он с содроганием услышал внутренний голос, и голос этот сказал: «Нет». И тотчас же улыбающееся лицо молодой женщины утратило для него все свое очарование, и он увидел лишь влажный взор охваченной вожделением самки. Ласково потрепал он ее по щеке, повернулся и проворно скрылся из глаз разочарованной женщины в бамбуковой роше.

В тот же день, еще до наступления вечера, он добрался до большого города, чему был очень рад, так как теперь его тянуло в общество людей, уже много времени прожил он в лесах, и крытая соломой хижина перевозчика была первым за все это долгое время кровом, под которым он проводил ночь. Перед самым городом, у обнесенной красивой оградой роши, путнику попало навстречу маленькое шествие из нагруженных корзинами слуг и прислужниц. Среди них в разукрашенных носилках, несомых четырьмя слугами, сидела на красных подушках под пестрым паланкином женщина – их госпожа. Сиддхарта остановился у входа в рошу и глядел на шествие – видел слуг, служанок, корзины, видел паланкин и сидевшую под ним женщину. Под высокой прической черных волос он увидел очень светлое, очень нежное, очень умное лицо, ярко-красный, как только что вскрытая смоква, рот, выхоленные и нарисованные дугой брови, темные глаза, умные и зоркие, светлую длинную шею, выступавшую из золотисто-зеленой верхней одежды, спокойно лежавшие светлые руки, длинные и узкие, с широкими золотыми обручами на сгибах.

Сиддхарта видел, как она прекрасна, и сердце его радовалось. Он низко поклонился, когда носилки приблизились к нему, и, снова выпрямившись, взглянул на светлое прелестное лицо, на миг заглянул в умные, осененные высокой дугой бровей глаза, вдохнул в себя аромат неизвестных ему благовоний. С улыбкой ответила на его поклон прекрасная женщина, – еще миг, и она скрылась в роше, а вслед за нею скрылись и слуги.

Чудесное предзнаменование для моего вступления в этот город! – подумал Сиддхарта. Его потянуло войти тотчас же в рошу, но он сдержался. Только теперь дошло

до его сознания, как глядели на него слуги и прислужницы при входе, сколько пренебрежения, недоверия и презрения было в их взглядах.

Ведь я пока еще самана, – думал он, – я все еще имею вид аскета и нишего. Не таким я должен оставаться, не в таком виде я могу вступить в рошу!

И он засмеялся.

Первого встреченного на дороге человека он расспросил о роше и о том, кто эта женщина, и узнал, что это загородный сад знаменитой куртизанки³ Камалы и что, кроме него, ей принадлежит еще дом в городе.

После этого Сиддхарта вступил в город. Теперь у него была цель.

Преследуя эту цель, он старался втянуться в городскую жизнь, смешивался с толпой на улицах, останавливался на площадях, отдыхал на каменных ступенях у реки. К вечеру он подружился с одним подмастерьем цирюльника, которого впервые увидел за работой в тени лавки, а потом снова встретил молящимся в храме Вишну и которому он рассказал историю про Вишну и Лакшми. Ночь он провел у лодок на берегу реки, а рано утром, прежде чем в лавку цирюльника явились первые клиенты, он дал подмастерью обрить ему бороду, постричь волосы, причесать и натереть их благовонной мазью. Потом пошел и выкупался в реке.

Когда вечером прекрасная Камала в носилках направлялась в свою рошу, Сиддхарта стоял уже у входа и на свой поклон снова получил кивок куртизанки. Вслед за этим он сделал знак одному из слуг, который шел последним в ее свите, и попросил его доложить своей госпоже, что с ней желает говорить молодой браман. Через некоторое время слуга вернулся, предложил ожидавшемуся Сиддхарте последовать за ним, и молча повел его в павильон, где лежала на диване Камала, после чего оставил их одних.

– Не ты ли вчера стоял у входа и кланялся мне? – спросила Камала.

– Да, я уже вчера видел и приветствовал тебя.

– Но ты, кажется, вчера носил длинную бороду и длинные волосы, и волосы были покрыты пылью?

– Совершенно верно, ты очень наблюдательна: ты видела Сиддхарту, сына брамана, который оставил свою родину, чтобы стать саманой и в течение трех лет был таковым. Но теперь я оставил эту дорогу и пришел в этот город. И первым лицом, встреченным мной перед тем, как я вступил в город, была ты. И вот что я хотел сказать тебе, придя сюда, о Камала. Ты первая женщина, с которой Сиддхарта говорит не с опущенным взором. Никогда больше я не стану опускать глаза, когда встречу на пути прекрасную женщину.

Камала улыбнулась и стала играть веером из павлиньих перьев.

– И только для того, чтобы сказать мне это, пришел ко мне Сиддхарта? – спросила она.

– Чтобы сказать тебе это и чтобы поблагодарить тебя за то, что ты так прекрасна. И если тебе благоугодно будет, то я попросил бы тебя, Камала, быть моей подругой и наставницей, ибо я еще совершенный невежда в том искусстве, которое ты знаешь в совершенстве.

При этих словах Камала громко расхохоталась.

– Вот уж не случилось со мной, чтобы пришел самана из лесу и захотел учиться у меня! Ни разу еще не бывало, чтобы ко мне явился самана с длинными волосами и со старой рваной повязкой вокруг чресел! Многие юноши приходят ко мне, бывают между ними и сыновья браманов, но они являются в прекрасной одежде, в изяшной обуви, с благоухающими волосами и с полными кошельками. Вот какого рода юноши посещают меня, о самана.

Сиддхарта же ответил:

– Вот я и получил от тебя первый урок. Да и вчера я уже кое-чему научился благодаря тебе. Я обрил бороду, причесался и умастил волосы. Мне, о прекрасная, недостает теперь только немного – хорошей одежды и обуви да денег в кошель-

³ Куртизанки – «городские красавицы» в городах Индии в Ведийскую эпоху отличались, подобно греческим гетерам, не только красотой, но и умом и образованием. Профессия их не считалась позорной. (Примечание переводчика)

ке. Знай же: более трудные задачи ставил себе Сиддхарта, а не такие безделицы, и справлялся с ними. Как же мне не достичь того, что я вчера поставил себе целью: стать твоим другом и узнать от тебя радости любви. Ты увидишь, какой я способный ученик, Камала – я научился более трудным вещам, чем то, чему должна научить меня ты. Итак, скажи, – Сиддхарта такой, как он есть – с умашенными волосами, но без платьев, без обуви и денег, тебя не удовлетворяет?

Со смехом воскликнула Камала:

– Нет, почтеннейший, этого мне мало, у него должны быть платья, прекрасные платья, прекрасная обувь, много денег в кошельке и подарки для Камалы. Теперь ты знаешь, самана из лесу. Ты запомнил это?

– Да, я запомнил это! – воскликнул Сиддхарта. – Как я могу не запомнить того, что сказано такими устами? Твои уста, как свежевскрытая смоква, Камала. И мои уста алы и свежи; они подойдут к твоим, увидишь. Но скажи мне, прекрасная Камала, неужели ты совсем не боишься саманы, пришедшего из лесу, чтобы учиться любви?

– Почему же я должна бояться саманы, глупого саманы из лесу, который пришел от шакалов и еще совсем не знает, что такое женщина?

– О, он силен, этот самана, и ничего не боится. Он мог бы взять тебя силой, прекрасная девушка. Он мог бы похитить тебя, мог бы заставить тебя страдать!

– Нет, самана, этого я не боюсь. Разве стал бы какой-нибудь самана или браман опасаться, что кто-нибудь может прийти, схватить его и похитить у него его ученость, его благочестие, его глубокомыслие? Нет, ибо все это составляет его неотъемлемую собственность, из которой он уделяет лишь столько, сколько хочет и кому хочет. Точно так же с Камалой и радостями любви. Прекрасны и алы уста Камалы, но попробуй поцеловать их против воли Камалы – ни капли сладости не почувешь ты в поцелуе, который при иных условиях может быть таким сладким. Ты любознателен и способен, Сиддхарта – узнай же и то: любовь можно вымолить, купить, получить как дар, найти на улице, но взять силой нельзя. Ты избрал бы ложный путь. Нет, было бы жаль, если бы такой красивый юноша, как ты, взялся за дело совсем не так, как следует.

Сиддхарта с улыбкой отвесил ей поклон.

– Ты права, Камала, было бы жаль. Очень даже жаль! Нет, ни одной капли сладости с твоих уст я не хочу лишиться, так же, как и ты должна изведать всю сладость моего поцелуя. Итак, решено: Сиддхарта вернется, когда у него будет все, чего ему пока не хватает – платье, обувь, деньги. Но скажи, прелестная Камала, не можешь ли ты дать мне еще один маленький совет?

– Совет? Отчего же? Отчего не дать совета бедному, невежественному самане, пришедшему из леса от шакалов?

– Посоветуй же, милая Камала: куда мне идти, чтобы как можно скорее найти те три вещи?

– Друг, это многие хотели бы знать. Ты должен делать то, чему научился, и требовать в уплату денег, платья и обуви. Иным путем бедному не добыть денег. Что же ты умеешь?

– Я умею размышлять. Умею ждать. Умею поститься.

– И больше ничего?

– Больше ничего. Впрочем, я еще умею сочинять стихи. Согласна ты дать мне за стихи поцелуй?

– Согласна, если твои стихи понравятся мне. Ну-ка скажи их!

И Сиддхарта, после краткого раздумья, произнес следующие стихи:

В тенистую рощу свою вошла прекрасная Камала.

У входа же в рощу стоял самана – юноша смуглый.

Низко, лотоса прекрасный завидев цветок,

Склонился последний, улыбкой его наградила Камала.

Чем жертвы богам приносить, самана юный подумал,

Приятней стократ поклоняться прекрасной Камале!

Громко захлопала Камала в ладоши, так что золотые браслеты зазвенели.

– Твои стихи прекрасны, смуглый самана. И, право же, я ничего не теряю, если заплачу тебе за них поцелуем.

Она взглядом привлекла к себе; он же, склонив свое лицо к ее лицу, прижался губами к ее устам, походившим на свежевскрытую смокву. Долго длился поцелуй Камалы, и с глубоким изумлением почувствовал Сиддхарта, как умно она учит его, как ловко управляет им, то отталкивая, то привлекая, и что за этим первым поцелуем имеется еще длинный ряд других, один непохожий на другой, искусно рассчитанных и испробованных поцелуев, которые ему еще предстоит изведать. Он глубоко перевел дух, изумляясь, как дитя, той массе знания, достойного изучения, которая раскрывалась перед ним.

– Твои стихи великолепны! – воскликнула Камала. – Будь я богата, я бы наградила тебя за них золотыми монетами. Но трудно тебе будет зарабатывать стихами столько денег, сколько тебе надо будет. А тебе понадобится много денег, если ты хочешь стать другом Камалы.

– Как ты умеешь целовать, Камала! – пробормотал Сиддхарта.

– Да, это-то я умею. Оттого у меня и нет недостатка в платьях, обуви, браслетах и всяких прекрасных вещах. Но что будет с тобой? Неужели ты только и умеешь, что размышлять, поститься и сочинять стихи?

– Я умею также петь песни при жертвоприношениях, – сказал Сиддхарта, – но я не хочу больше петь их. Я знаю и волшебные заклинания, но не хочу больше произносить их. Я читал священные книги.

– Стой! – прервала его Камала. – Ты умеешь читать? А писать?

– Конечно, умею. Многие это умеют.

– Большинство этого не умеет. И я не умею. Это очень хорошо, что ты умеешь читать и писать. Очень хорошо. И волшебные заклинания еще могут пригодиться тебе.

В эту минуту прибежала прислужница и что-то шепнула на ухо своей госпоже.

– Ко мне сейчас придут! – воскликнула Камала. – Уходи поскорей, Сиддхарта, никто не должен тебя видеть здесь – заметь себе это. Завтра мы свидимся снова.

Прислужнице же она приказала дать благочестивому браману белый плащ. Не отдавая себе отчета, как это случилось, Сиддхарта дал увести себя девушке, которая привела его окольными путями в садовую беседку, вручила ему верхнее платье и вывела в кустарник, с настоящим напоминанием сейчас же выбраться из роши.

Он охотно исполнил приказание. Привычный к лесу, он бесшумно выбрался из роши и перелез через ограду. С довольным видом вернулся он в город, неся под мышкой свернутое платье. В заезжем доме, где останавливались приезжие, он встал у дверей, молча прося накормить его, и молча принял кусок рисового пирога. «Быть может, завтра уже, – думал он, – я ни у кого не буду просить подаяния».

Внезапно в нем вспыхнула гордость. Он уже не был саманой, и потому не подобало ему более просить милостыню. Он отдал пирог собаке и остался без пищи.

«Как проста жизнь, которую ведут в мире! – подумал Сиддхарта. – Она не представляет никаких затруднений. Все было трудно, тяжело и, в конце концов, безнадежно, пока я еще был саманой. Теперь же все легко, так же легко, как урок поцелуев, полученный мной от Камалы. Мне нужно добыть платье и денег, больше ничего. Это маленькая близкая цель, она не может лишать меня сна».

Он уже и раньше расспросил о городском доме Камалы и на другой день пошел к ней туда.

– Дела идут отлично, – воскликнула она ему навстречу. – Тебя ждут у Камасвами – это богатейший купец в нашем городе. Если ты понравишься ему, он возьмет тебя к себе на службу. Будь умен, смуглый самана. Я устроила так, что о тебе рассказали ему другие. Будь любезен с ним, он обладает большим влиянием. Но и не скромничай слишком. Я не хочу, чтобы ты стал его слугой, ты должен быть с ним на равной ноге, иначе я не буду довольна тобой. Камасвами начинает стариться и хотел бы отдохнуть. Если ты придеешься ему по нраву, он сделает тебя доверенным лицом.

Сиддхарта весело поблагодарил ее. Узнав, что он уже второй день ничего не ел, Камала приказала принести хлеба и плодов и угостила его.

– Тебе везет, – сказала она на прощанье, – перед тобой раскрываются одна дверь за другой. Чем это объяснить? Ты обладаешь какими-нибудь чарами?

На что Сиддхарта ответил:

– Вчера я говорил тебе, что умею мыслить, ждать и поститься, а ты находила, что такие знания не могут приносить никакой пользы. А между тем они очень даже могут пригодиться, Камала, ты увидишь это. Ты увидишь, что глупые лесные саманы изучают и умеют делать много прекрасных вещей, чего вы не умеете. Третьего дня я был еще растрепанным нищим, вчера я уже целовал Камалу, а скоро я стану купцом и буду обладать деньгами и всеми теми вещами, которым ты придаешь цену.

– Так-то оно так, – согласилась она. – Но что было бы с тобой без меня? Чем был бы ты, если бы Камала тебе не помогла?

– Милая Камала! – сказал Сиддхарта, выпрямляясь во весь рост, – когда я пришел к тебе, в твою рошу, я сделал первый шаг. Я принял тогда твердое намерение научиться любви у прекраснейшей из женщин. А с той самой минуты, как я возымел это намерение, я знал, что сумею его выполнить. Я знал, что ты мне поможешь – знал уже с твоего первого взгляда у входа в рошу.

– А если бы я не захотела?

– Но ты захотела. Смотри, Камала: если ты бросаешь камень в воду, то он быстро, кратчайшим путем, идет ко дну. Так же точно поступает Сиддхарта, когда он ставит себе какую-нибудь цель. Сиддхарта ничего не делает, он только ждет, мыслит, постится, но он проходит через существующее в мире, как камень через воду, ничего не делая для этого, не шевельнув пальцем. Он отдает себя влекущей его силе, он дает себе упасть. Его цель сама по себе уже влечет его, ибо он не допускает в свою душу ничего, что противодействовало бы этой цели. Вот чему Сиддхарта научился у саман! Глупцы называют это чарами и воображают, что эти чары приобретаются с помощью демонов. Но демоны тут ни при чем, да никаких демонов и нет. Всякий может колдовать, всякий может достигать своих целей, если он умеет мыслить, ждать и поститься.

Камала внимательно слушала его. Ей нравился его голос, нравился его взгляд.

– Может быть, оно так и есть, как ты говоришь, мой друг, – тихо проговорила она. – А может быть, все дело в том, что Сиддхарта красивый мужчина, что его взгляд нравится женщинам и поэтому счастье идет ему навстречу.

Сиддхарта попросился с ней поцелуем.

– Пусть будет так, моя наставница! Хотел бы я, чтобы взор мой всегда нравился тебе, чтобы ты всегда приносила мне счастье!

У ЛЮДЕЙ-ДЕТЕЙ

Сиддхарта отправился к купцу Камасвами, в указанный ему богатый дом. Через ряд комнат, украшенных драгоценными коврами, слуги проводили его в покой, где он должен был дожидаться хозяина.

Вошел Камасвами. Это был подвижный, гибкий человек, с сильно поседевшими волосами, с очень умным, осторожным взглядом, с чувственным ртом. Хозяин и гость обменялись дружелюбными поклонами.

– Мне говорили, – начал купец, – что ты браман, ученый, но желаешь поступить на службу к купцу. Ты, верно, впал в нужду, браман, если ищешь службы?

– Нет, – сказал Сиддхарта, – я не впал в нужду и никогда нужды не знал. Знай, что я пришел от саман, с которыми прожил долгое время.

– Если ты приходишь от саман, как же тебе не быть в нужде? Ведь саманы – люди совершенно неимущие.

– У меня действительно нет никакого имущества, если ты это имеешь в виду, – сказал Сиддхарта. – Конечно, я человек неимущий, но я неимущий по своей воле, и, следовательно, в нужде не нахожусь.

- Чем же ты рассчитываешь жить, если у тебя ничего нет?
- Об этом я никогда еще не думал, господин. Я более трех лет оставался неимущим и никогда не думал о том, чем буду жить.
- Так ты жил на средства других.
- Пожалуй. Ведь и купец живет на чужое добро.
- Отлично сказано. Однако он берет у других их добро не даром – он дает им взамен свои товары.
- Так оно, по-видимому, и есть. Каждый берет, и каждый дает – такова жизнь.
- Позволь, однако: раз у тебя ничего нет, что же ты можешь дать?
- Каждый дает то, что у него есть. Воин дает свою силу; купец – свой товар; учитель дает свои знания; крестьянин – рис; рыбак – рыбу.
- Очень хорошо! А ты что можешь дать? Чему ты научился, что ты умеешь?
- Я умею мыслить, умею ждать, умею поститься.
- Это все?
- Кажется, все.
- А какая от этого польза? Умение поститься, например – к чему оно?
- Оно может приносить большую пользу, господин. Если человеку нечего есть, то самое разумное, что он может делать – это поститься. Если бы, например, Сиддхарта не научился поститься, то он должен был бы сегодня же взять какую-нибудь службу – у тебя ли, у другого ли: он был бы вынужден к этому голодом. Теперь же Сиддхарта может спокойно выжидать; ему чуждо нетерпение, для него нет крайней необходимости. Он долго может выдерживать голод, да еще смеяться при этом. Вот какая польза, господин, от умения поститься.
- Ты прав, самана. Подожди минутку.
- Камасвами вышел и вернулся со свитком, который протянул гостю со словами:
- Можешь ты это прочитать?
- Сиддхарта заглянул в свиток, на котором написан был торговый договор, и начал читать вслух написанное.
- Превосходно! – сказал Камасвами. – Не напишешь ли мне чего-нибудь на этом листке?
- Он дал ему листок и заостренную палочку для письма, Сиддхарта что-то написал на листке и вернул его хозяину.
- Камасвами прочел: «Писать – хорошо, мыслить – лучше. Ум хорош, терпение лучше».
- Отлично написано, – похвалил купец. – Нам о многом надо будет переговорить. А пока прошу тебя быть моим гостем и поселиться в моем доме.
- Сиддхарта поблагодарил и принял приглашение. С тех пор он жил в доме купца. Ему принесли хорошее платье и обувь, ежедневно слуга приготавливал ему ванну. Дважды в день его приглашали к обильной трапезе, но ел он только раз в день, причем не употреблял мяса и не пил вина. Камасвами рассказывал ему о своих делах, показывал свои склады и разные товары, посвящал в свои расчеты. Много нового узнавал Сиддхарта, – он много слушал и говорил мало. И, помня совет Камалы, никогда не держал себя с купцом, как подчиненный, и вынуждал его обращаться с ним, как с равным, даже более чем с равным. Камасвами занимался своими делами с усердием, часто даже со страстным увлечением. Сиддхарта же смотрел на дела, как на игру, старался как можно лучше изучить ее правила, но к самой игре оставался совершенно равнодушен.
- В скором времени Сиддхарта стал и сам помогать хозяину в его торговле. Но ежедневно, в назначенный ею час, он посещал прекрасную Камалу, хорошо одетый и обутый, а скоро стал носить ей и подарки. Многому научили его ее алые умные уста. Многие поведала ему ее нежная, гибкая рука. Еще новичок в любви, склонный слепо и ненасытно ринуться в наслаждение, как в бездонную бездну, он основательно благодаря ей усвоил правило, что нельзя получать наслаждение, не давая его самому, что каждый жест, каждая ласка, каждое прикосновение и взгляд, даже малейшее местечко на теле, имеют свою тайну, пробуждение которой составляет сведущему осо-

бое счастье. Она научила его, что влюбленные после празднества любви не должны расходиться без проявлений своего обоюдного восторга, что каждый должен иметь в такой же степени вид побежденного, как и победителя, так чтобы ни у кого не могло возникнуть чувство пресыщения и пустоты или неприятное ощущение, что он злоупотреблял податливостью другого или сам был слишком податлив. Дивные часы проводил он у прекрасной и умной Камалы. Он стал ее учеником, ее возлюбленным, ее другом. В ней, в Камале, и была вся ценность и смысл его теперешней жизни, а не в торговых делах Камасвами.

Последний поручил Сиддхарте писание важных писем и составление договоров и постепенно привык к тому, чтобы обсуждать вместе с ним все важные дела. Он скоро заметил, что хотя Сиддхарта мало мыслит в рисе и шерсти, в мореплавании и торговле, но зато у него счастливая рука и он превосходит его, купца, спокойствием и уравновешенностью, а также искусством слушать и распознавать людей. «Этот браман, – сказал он однажды одному из своих друзей, – не настоящий купец и никогда им не будет, он не в состоянии увлечься делами. Но он принадлежит к числу тех людей, которые владеют тайной успеха – оттого ли, что родился под счастливой звездой, оттого ли, что он обладает какими-то чарами. А может быть, этой тайне он научился у саман. Для него дела – точно игра. Они не овладевают им целиком, не подчиняют его себе. Он никогда не боится неудачи, не огорчается потерей».

Друг посоветовал купцу: «Дай ему в делах, которые он ведет для тебя, долю. Пусть получает третью часть барыша, но пусть в такой же степени участвует и в убытках, если таковые будут. Тогда он иначе будет относиться к делам».

Камасвами последовал этому совету. Но Сиддхарта оставался беззаботным по-прежнему. Если получался барыш, он равнодушно принимал его; если же терпел убыток, то смеялся и говорил: «Вот как! Это дело, значит, не выгорело».

Казалось, в самом деле, что он относится к делам совершенно безразлично. Однажды он поехал в одну деревню, чтобы закупить урожай риса. Но когда он приехал, то оказалось, что рис уже продан другому торговцу. Тем не менее Сиддхарта остался на несколько дней в этой деревне, угощал крестьян, наделял детей медными монетами, побывал на одной свадьбе и вернулся домой, весьма довольный поездкой. Камасвами стал упрекать его, что он не вернулся тотчас же и напрасно потратил время и деньги. Но Сиддхарта заметил на это: «Перестань ругать меня, милый друг. Руганью никогда ничего не достигалось. Если я причинил тебе убыток, то беру его на себя. Но я-то очень доволен поездкой. Я познакомился с самыми различными людьми, подружился с одним браманом; дети ездили верхом на моих коленях, крестьяне показывали мне свои поля, никто не принимал меня за торговца».

– Все это прекрасно! – воскликнул в сердцах Камасвами. – Но ведь на самом-то деле ты торговец и есть. Или ты поехал только для своего удовольствия?

– Конечно, – засмеялся Сиддхарта, – конечно, я поехал для своего удовольствия. А то для чего же? Я познакомился с новыми людьми и местами, наслаждался оказываемым мне расположением и доверием, приобрел друга. Посуди сам, милый. Будь на моем месте Камасвами, то узнав, что покупка не может состояться, он тотчас же с досадой поспешил бы домой, и тогда деньги и время действительно были бы потеряны даром. Я же провел несколько приятных дней, кое-чему поучился и ни себе, ни другому не повредил раздражением и поспешностью. А если когда-нибудь я снова поеду туда – для закупки ли новой жатвы или для другой какой-нибудь цели, – то приветливые люди встретят меня приветливо и весело, и я буду радоваться тому, что в тот раз не выказал досады и не поспешил уехать. И потому успокойся, друг, и не порть себе крови упреками. Если наступит день, когда ты убедишься, что Сиддхарта тебе приносит вред, то скажи лишь слово, и Сиддхарта уйдет. А пока – будем довольны друг другом!

Столь же напрасны были попытки купца убедить Сиддхарту, что последний ест его, Камасвами, хлеб. Сиддхарта возражал, что он ест свой собственный хлеб – вернее, что оба они едят хлеб других людей, хлеб, принадлежащий всем. Никогда Сиддхарта не выказывал сочувствия заботам Камасвами. А у последнего забот была тьма.

Если какому-нибудь затеянному им делу грозила неудача, если возникали опасения, что отправленный товар пропал в дороге или что какой-нибудь должник окажется несостоятельным – Камасвами никогда не удавалось убедить своего сотрудника, что он поможет горю, если громко будет выражать свое огорчение или гнев, ходить с нахмуренным лбом, плохо спать по ночам. Когда однажды Камасвами поставил ему на вид, что он научился делу у него, Сиддхарта ответил:

– Ты шутишь, и очень неудачно! От тебя я узнал, сколько стоит корзина с рыбой и сколько процентов можно потребовать за данные займы деньги. Вот и вся твоя наука! Мыслить я научился не у тебя, дорогой Камасвами, ты бы лучше постарался научиться этому у меня.

Несомненно, душа Сиддхарта не лежала к торговле. Он занимался делами лишь потому, что они доставляли ему деньги для Камалы. Они давали даже гораздо больше, чем ему требовалось. Вообще же его интерес возбуждали лишь те люди, чьи дела, занятия, заботы, увеселения и заблуждения были раньше чужды ему и далеки, как месяц на небе. Как ни умел он разговаривать и сходитьсь с людьми, узнавать от них новое, все же он ясно сознавал, что есть нечто, отделяющее его от других, и это нечто – его саманство. Он видел, какую ребяческую или чисто животную жизнь ведут люди, которых он в одно и то же время любил и презирал. Он видел, как они хлопочут, страдают и седеют из-за вещей, которые, на его взгляд, совсем не стоили этого – из-за денег, маленьких удовольствий, мелких почестей. Он видел, как они упрекают и поносят друг друга, как они стонут от боли, которую самана переносит с улыбкой, как страдают от лишений, которых самана и не чувствует.

Ко всем он относился одинаково приветливо. Одинаково равнодушно принимал он торговца, предлагавшего ему в продажу полотно, должника, просившего о новом займе, нищего, который добрый час рассказывал ему историю своей бедности, хотя и наполовину не был так беден, как любой самана. С богатым чужестранным купцом он держал себя так же, как со слугой, который брил его, и уличным торговцем, которому он позволял надувать себя на какую-нибудь мелочь при покупке бананов. Когда Камасвами приходил к нему с сетованиями на свои печали или упреками по поводу его способа ведения дел, то он весело и с интересом выслушивал его, удивляясь и стараясь понять его, отчасти соглашался с ним, ровно настолько, сколько считал необходимым, и отворачивался от него, чтобы перейти к очередному нуждавшемуся в нем посетителю. А к нему приходили многие – одни по торговым делам, другие, чтобы надуть его или что-нибудь выведать от него, третьи старались вызвать его жалость, четвертые обращались к нему за советом. И он давал советы, проявлял свою жалость, дарил, давал немного надувать себя; и вся эта игра, и страстность, с которой все люди предаются этой игре, занимали его мысли в такой же степени, как раньше их занимали боги и учение браманов.

По временам в своей груди он слышал голос – слабый, умирающий, звучащий жалобой и упреком, но так тихо-тихо, что он едва мог расслышать его. Тогда на короткое время у него являлось сознание, что он ведет странную жизнь, что все то, что он делает, пустая игра, и хотя он чувствует себя недурно, весел, а подчас даже испытывает радость, но настоящая жизнь, в сущности, проходит мимо и его не задает. Как жонглер играет мячами, так он играл своими делами, окружающими людьми; он глядел на них, развлекался ими; но сердцем, тем, что составляло источник его существования, он не был при всем этом. Этот источник протекал где-то далеко и невидимо для него, уходил все дальше, ничего общего не имел больше с его жизнью. Несколько раз эти мысли наводили на него ужас, и у него являлось сожаление, что и он не может участвовать во всех этих ребяческих мелочах жизни сердцем, относиться к ним со страстным увлечением, у него являлось желание жить, работать, наслаждаться этой жизнью на самом деле, а не оставаться в ней простым зрителем.

Но каковы бы ни были его настроения, он всегда возвращался к прекрасной Камале, изучал искусство любви, предавался культу наслаждения, при котором более, чем при чем бы то ни было, давать и получать становится неотделимым друг от друга;

болтал с ней, учился у нее, давал ей и получал от нее советы. Она понимала его лучше, чем когда-то понимал его Говинда – у них было больше общего.

Однажды он заметил ей:

– Ты похожа на меня, ты не такова, как большинство людей. Ты – Камала, и только! – у тебя, как и у меня, внутри имеется тихое убежище, куда ты можешь уйти в любой час и чувствовать себя дома. Немногие лишь имеют это прибежище, а могли бы иметь все.

– Не все люди обладают умом, – сказала Камала.

– Нет, – возразил Сиддхарта, – не в уме тут дело. Камасвами так же умен, как я, и все же не имеет в самом себе этого прибежища. А иные, по уму совсем дети, имеют его. Большинство людей, Камала, похожи на падающие листья; они носятся в воздухе, кружатся, но в конце концов падают на землю. Другие же – немного их – словно звезды; они движутся по определенному пути, никакой ветер не заставит их свернуть с него; в себе самих они несут свой закон и свой путь. Из всех многочисленных ученых и саман, каких я знал, только один был из числа таких людей, один был Совершенный. Я никогда не забуду его. Это был Готама, Возвышенный, провозвестник известного тебе учения. Тысячи учеников слушают ежедневно его учение, следуют ежечасно его предписаниям, но все они словно листья падающие; они не несут в самих себе это учение и закон.

Камала взглянула на него с улыбкой.

– Опять ты говоришь о нем, – заметила она, – опять у тебя мысли саманы.

Сиддхарта замолк, и они предалась любовной игре – одной из тех тридцати или сорока игр, которые знала Камала. Тело ее было гибко, как тело ягуара, как лук охотника. Тому, кто учился любви у нее, раскрывались многие наслаждения, многие тайны. Долго играла она с Сиддхартой, то привлекая, то отталкивая его, то беря его силою, обволакивая его целиком и наслаждаясь его мастерством, пока он не почувствовал себя побежденным и не почил в изнеможении рядом с нею.

Гетера склонилась над ним, долго глядела на его лицо, в его утомленные глаза.

– Ты лучший из влюбленных, каких я когда-либо видела, – заметила она задумчиво. – Ты сильнее других, гибче, податливее. Ты хорошо изучил мое искусство, Сиддхарта. Со временем, когда я буду постарше, я хочу иметь от тебя ребенка. И все же, милый, ты остался саманой. Все же ты не любишь меня, ты никого не любишь. Разве не так?

– Может быть, – устало ответил Сиддхарта. – Я – как ты. И ты ведь не любишь – иначе, как могла бы ты предаваться любви как искусству? Люди, подобные нам, вероятно, и не способны любить. А люди-дети способны: это их тайна.

САНСАРА

Долгое время Сиддхарта вел мирскую, полную наслаждений жизнь, не отдаваясь ей, однако, всецело. Его плоть, подавленная в годы пламенного аскетизма, проснулась; он изведал богатство, изведал сладострастие, изведал власть. Но все же, в течение долгого времени, он оставался в душе саманой, – как верно заметила умная Камала. И теперь еще искусства мыслить, ждать и поститься играли руководящую роль в его жизни, и теперь еще люди, жившие в мире, люди-дети, оставались ему чуждыми, как он был чужд им.

Годы мчались; окутанный привольной жизнью, Сиддхарта едва замечал, как они уходили. Он разбогател, у него давно уже был собственный дом, слуги, парк за городом у реки. Люди любили его; они приходили к нему, когда им нужны были деньги или совет; но никто не был близок к нему, кроме Камалы.

То высокое светлое чувство пробуждения и напряженного ожидания, которое он испытал когда-то, в расцвете молодости, в дни, последовавшие за проповедью Готамы и разлукой с Говиндой, его тогдашнее гордое одиночество и независимость от всяких учений и учителей, его чуткость к божественному голосу в собственном сердце – все

это оказалось проходящим и мало-помалу отходило в область воспоминаний. Далеко и чуть слышно шумел теперь священный родник, когда-то столь близкий, когда-то шумевший в нем самом. Правда, многое из того, чему он научился от саман, от Готамы, что он усвоил от своего отца-брамана, еще долгое время сохранялось в нем: он сохранил свою умеренность, свою любовь к мышлению, часы самопогружения, тайное знание о себе, о вечном Я, которое не есть ни тело, ни сознание. Многие из всего этого осталось в нем, но одно за другим опускалось в глубину и покрывалось пылью. Подобно тому, как гончарный круг, раз приведенный в движение, долго сохраняет сообщенную ему скорость и только медленно, понемногу, замедляет свое вращение, пока не остановится совсем, так и в душе Сиддхарты долго продолжало вертеться колесо аскетизма, колесо мышления, колесо распознавания. Оно и теперь еще вертелось, но медленно, с колебаниями и – того и гляди – должно было остановиться совсем. Подобно тому, как проникает сырость в умирающий древесный пень, медленно заполняя его и вызывая гниение, так мирское и лень понемногу проникали в душу Сиддхарты, понемногу наполняя ее, вызывая чувства тяжести и усталости, усыпляли ее. Зато желания в нем пробудились, и в этом отношении он многому научился, многое испытал. Сиддхарта научился торговать, пользоваться властью над людьми, искать наслаждения у женщин. Он научился носить прекрасное платье, приказывать слугам, купаться в благовонной воде. Научился кушать тонкие и хорошо приготовленные блюда, – в том числе рыбу, мясо животных и птиц, пряности и сладости, и пить вино, порождающее лень и забвение. Научился играть в кости и в шахматы, смотреть на пляски танцовщиц, пользоваться носилками, спать в мягкой постели. Но при всем том он все еще чувствовал себя отличным от других людей, стоящим выше их; все еще глядел на них с легкой насмешкой, с некоторым презрением, тем самым презрением, какое аскет-самана всегда питает по отношению к мирянам. Когда Камасвами бывал нездоров и раздражителен, когда он чувствовал себя кем-то обиженным, когда ему досаждали деловые заботы, Сиддхарта всегда относился к этому с насмешкой. Но медленно и незаметно, по мере того, как сменялись и уходили периоды дождей и жатвы, его насмешка становилась бледнее, а чувство превосходства слабее. Понемногу, среди своего возрастающего богатства, Сиддхарта сам усвоил некоторые черты, присущие людям-детям. И все же он завидовал им, завидовал тем сильнее, чем более сам начинал походить на них. Он завидовал им в одном – в той важности, какую они приписывали всем своим переживаниям, в страстности их радости и тревоги, в робком, но сладком счастье их вечной влюбленности. В себя ли самих, в женщин или в своих детей, в почести или в деньги, в планы или надежды, – но влюблены эти люди бывали всегда. Но как раз того он не перенял у них – именно этому, их детской жизни, радостности и детскому безрассудству он не научился, а перенял как раз те неприятные черты, которые презирал в них. Все чаще случалось, что на другое утро после проведенного в обществе вечера он долго оставался в постели, чувствуя какую-то подавленность и усталость. Случалось, что он раздражался и выказывал нетерпение, когда Камасвами надоедал ему своими вечными опасениями. Случалось, что он смеялся слишком громко, когда ему не везло в игре в кости. Его лицо было все еще более умным и одухотворенным, чем у других людей, но улыбка на нем появлялась реже, и мало-помалу на нем запечатлевалось выражение, какое так часто встречаешь на лицах богатых людей – выражение недовольства, болезненности, брюзгливости, вялости, бессердечия. Понемногу душевная болезнь богачей овладела и Сиддхартой.

Как тонкая фата, как легкий туман, спускалась усталость на Сиддхарту – понемногу, но с каждым днем становясь немного гуще, с каждым месяцем немного мрачнее, с каждым годом немного тяжелее. Подобно тому, как новое платье с течением времени теряет свой красивый цвет, покрывается пятнами, расплзается на швах, а здесь и там ткань протирается и готова порваться, так и новая жизнь, которая началась для Сиддхарты после разлуки с Говиндой, с годами потеряла цвет и блеск, так и на ней накопились пятна и складки, и, пока еще скрытые в глубине, но здесь и там уже безобразно проглядывая наружу, подстерегали его разочарование и отвращение. Сиддхарта этого не замечал. Он заметил только, что тот ясный и уверенный

внутренний голос, который когда-то проснулся в нем и всегда руководил им в бле-
стящий период его жизни, теперь что-то замолк.

Мир заполнил его – наслаждение, чувственность, лень, а под конец и тот по-
рок, который он всегда считал самым нелепым и к которому относился с наиболь-
шим презрением и насмешкой – алчность. В конце концов, и собственность, обла-
дание, богатство также заполнили его – все это перестало быть для него игрой,
мелочами, стало цепями и бременем. Станным и коварным путем Сиддхарта попал
в эту последнюю и гнуснейшую зависимость – благодаря игре в кости. С тех пор,
как Сиддхарта перестал в душе быть саманой, игра на деньги и драгоценности, кото-
рой он раньше предавался с улыбкой и небрежно, как одному из принятых у людей-
детей развлечений, мало-помалу стала для него настоящей страстью, захватывавшей
его все сильнее. Он стал отчаянным игроком, с которым лишь немногие решались
вступать в состязание – так велики и безрассудны были его ставки. Он играл, как
человек, желающий заглушить муку своего сердца – проигрыши и швыряние пре-
зренными деньгами доставляли ему какую-то злобную радость. Сам себя ненавидя,
сам над собой насмехаясь, он рисковал огромными ставками, безжалостно обыгрыв-
вал других и сам проигрывал огромные суммы, проигрывал деньги, драгоценности,
проиграл загородный дом, снова выиграл его, снова проиграл. Это тревожное, сжи-
мающее грудь чувство, которое он испытывал в момент бросания костей, при круп-
ной игре, было ему дорого – он любил его, старался снова и снова вызвать его в себе,
усилить, разжечь еще сильнее, ибо только в этих ощущениях он находил еще своего
рода счастье, какое-то опьянение, какое-то повышенное самочувствие среди своей
сытой, бесцветной, тусклой жизни. А после каждого крупного проигрыша приходи-
лось добывать новые богатства, усерднее заниматься торговлей, строже взыскивать
с должников, чтобы иметь возможность продолжать игру, снова швырять деньгами,
снова выказывать свое презрение к богатству. Сиддхарта утратил спокойствие духа
при проигрышах, потерял терпение по отношению к неисправным должникам, утра-
тил свое добродушие по отношению к нищим, перестал находить удовольствие в раз-
даче денег, в виде подарков или взаймы, обратившись к нему просителям. Тот
самый Сиддхарта, который проигрывал за один раз десятки тысяч и смеялся при
этом, становился в торговых делах прижимистым и мелочным, и даже по ночам ему
часто снились деньги. А когда ему удавалось очнуться от этих отвратительных чар,
когда он замечал в зеркале на стене своей спальни свое постаревшее и подурневшее
лицо, когда на него нападали стыд и отвращение, он убегал от себя, снова бросаясь
в азартную игру, снова прибегая к дурману сладострастья и вина, чтобы затем вновь
уходить в стремление к накоплению и приобретению. И в этом бессмысленном кру-
говороте он носился до изнеможения, до потери сил и здоровья.

Но наступил день, когда он очнулся, и случилось это под влиянием одного сно-
видения. Вечером того дня он был у Камалы, в ее прекрасном парке. Они сидели под
деревьями и беседовали. Камала была настроена задумчиво, и в словах ее слышались
грусть и усталость. Она просила Сиддхарту рассказать ей о Готаме и не могла досыта
наслушаться о нем – о том, как чист был его взгляд, как тихи и прекрасны были его
уста, какой добротой дышала его улыбка, каким спокойствием веяло от его поступи.
Долго, побуждаемый ею, он рассказывал ей о Возвышенном, а Камала слушала его,
вздыхая, и наконец проговорила: «Когда-нибудь, и скоро, может быть, и я последую
за этим Буддой. Я подарю ему свой парк и сделаю своим прибежищем его учение». Но
вслед за тем она стала заигрывать с Сиддхартой, разожгла его чувственность и
в любовной игре с мучительной страстностью приковала его к себе, – со слезами и
жгучими ласками, словно в последний раз хотела выжать из этого плотского прехо-
дящего наслаждения последнюю каплю сладости. Никогда еще Сиддхарта не созна-
вал с такой ясностью, до какой степени сладострастье родственно смерти. Потом он
лежал рядом с Камалой, видел совсем близко от себя ее лицо и ясно, как никогда, он
прочел под ее глазами и в уголках губ жестокие письмена, начертанные тонкими ли-
ниями и легкими морщинками – письмена, напоминавшие об осени и старости. Да и
сам Сиддхарта, которому пошел лишь четвертый десяток, уже не раз замечал седину

в своих черных волосах. Усталость читалась на прекрасном лице Камалы – усталость от пройденного длинного пути без радостной цели, начинающееся увядание и скрытая, не высказываемая, быть может, еще даже не осознаваемая тревога: страх перед старостью, перед осенью, страх перед неизбежной смертью. Сиддхарта со вздохом попросился с ней – и его душа была полна тоски и невысказанной тревоги.

Потом у себя в доме Сиддхарта провел вечер в веселой компании, в обществе танцовщиц, причем держал себя по отношению к своим приятелям с видом превосходства, которое на самом деле уже не оправдывалось, выпил много вина и лишь далеко за полночь удалился на покой, усталый и вместе с тем возбужденный, близкий к слезам и отчаянию. Долго и тщетно искал он сна; сердце его ныло от невыносимой тоски, и весь он был преисполнен отвращения и тошноты. Его тошнило от тепловатого противного вкуса вина, от слашавой бессмысленной музыки, от полных неги улыбок танцовщиц, от приторного аромата их волос и груди. Но еще большее отвращение он чувствовал к самому себе, к своим благоухающим волосам, к винному запаху своего рта, к вялости и дряблости своей кожи. Подобно тому, как человек, слишком много съевший и выпивший, может освободиться от излишка лишь рвотой и, несмотря на мучительность этого средства, жаждет получить от него облегчение, так и Сиддхарта, измученный бессонницей, в невыносимом приливе отвращения, жаждал освободиться от этих привычек и наслаждений, от всей этой бессмысленной жизни, от самого себя. Только на рассвете, когда на улице, где стоял его городской дом, уже начала пробуждаться деловая жизнь, он на несколько минут впал в забытье, в какое-то подобие сна. И в эти-то минуты ему приснился сон.

У Камалы в золотой клетке содержалась маленькая редкостная певчая птичка. И вот Сиддхарте приснилось, что птичка, всегда распевавшая на заре, внезапно замолкла. Удивленный этим, он подошел к клетке и увидел, что птичка мертва и лежит окоченелая на полу. Он вынул ее из клетки, с минуту подержал в руке и выбросил на улицу. Но в ту же минуту страшно испугался – сердце его сжалось от боли, точно вместе с этой мертвой птичкой он отбросил от себя все ценное и хорошее.

Очнувшись от этого сна, он почувствовал себя объятый глубокой печалью. Бестолково и нелепо, – думалось ему, – я провел свою жизнь: ничего живого, ничего хоть сколько-нибудь ценного, ничего такого, что стоило бы сохранить, не осталось у него на руках. Одиноким и нищим остался он, словно выброшенный на берег после кораблекрушения. В самом мрачном настроении Сиддхарта отправился в принадлежавший ему парк, запер за собой ворота и сел под манговым деревом. Со смертельной тоской в сердце, с ужасом в груди, он сидел и чувствовал, как что-то в нем умирало, увядало, близилось к концу. Понемногу он пришел в себя и мысленно прошел еще раз весь свой жизненный путь, начиная с первых дней, о которых у него сохранилась память. Чувствовал ли он себя когда-нибудь счастливым, испытывал ли когда-нибудь истинную радость? О да, много раз он испытывал нечто подобное. Мальчиком он бывал счастлив, когда ему удавалось заслужить похвалы браманов за чтение наизусть священных стихов, когда он отличался в словесных состязаниях с учеными, или в качестве помощника жреца при жертвоприношениях. Тогда он чувствовал в своем сердце: «Вот путь, к которому ты призван – тебя ждут боги». Потом, юношей, когда в своих размышлениях он все выше и выше ставил свою цель, что выдвигало его над толпой подвизавшихся, подобно ему, товарищей, когда он в муках силился познать Брахму, когда каждое вновь приобретенное знание возбуждало в нем лишь новую жажду – тогда, при всей своей жажде, при всех муках, он чувствовал то же самое: «Вперед! вперед! Ты призван!» Этот же голос он слышал, когда покидал свою родину и избирал жизнь саманы, когда уходил от саман к Совершенному, когда и от последнего уходил в Неизвестное. Но как давно уже он не слышал этого голоса, как давно не поднимался выше! Как ровно и пустынно стлался его путь и как много долгих лет он шел по этому пути, без высокой цели, без жажды, без восхождений, довольствуясь маленькими радостями и все же никогда не удовлетворенный! Все эти годы он, сам того не сознавая, мечтал и стремился стать таким же человеком, как все остальные, как все эти люди-дети, и при этом его жизнь была гораздо беднее и

бессодержательнее, чем их жизнь, ибо их цели, их заботы его не занимали. Ведь весь этот мир людей, вроде Камасвами, был для него лишь игрой, пляской, комедией, в которой он участвовал лишь в качестве зрителя. Одна только Камала была ему дорога. Но дорожит ли он ею и сейчас? Нужна ли она ему, а он ей и теперь? Не представляют ли их отношения бесконечную игру? И стоит ли жить для этого? Нет, не стоит! Эта игра своего рода «сансара»; это игра для детей, в такую игру можно, пожалуй, с удовольствием сыграть раз, другой, десять раз, но играть вечно, без конца?

И Сиддхарта тут же почувствовал, что игра кончена, что он не в состоянии продолжать ее. Дрожь пробежала по его телу, – он почувствовал, что внутри у него что-то умерло.

Весь тот день он просидел под манговым деревом, вспоминая отца, Говинду, Готаму. Неужели он покинул их всех для того, чтобы стать каким-нибудь Камасвами? Наступила ночь, а он все еще сидел под манговым деревом. Когда, подняв глаза, он увидел звезды, то подумал: «Вот я сижу под своим манговым деревом, в своем парке». Он слегка усмехнулся. Действительно ли это было нужно и правильно, не было ли это нелепой игрой, что он обладал манговым деревом, обладал собственным парком?

И с этим было покончено; и это умерло в нем. Он поднялся с места, простился с манговым деревом, простился с парком. Так как он провел день без пищи, то почувствовал сильнейший голод и вспомнил о своем доме в городе, о своей комнате и постели, о столе, уставленном яствами. Он улыбнулся усталой улыбкой, встряхнулся и простился со всеми этими вещами.

В ту же ночь Сиддхарта оставил сад, оставил город, чтобы никогда больше не возвращаться. Долгое время Камасвами разыскивал его, полагая, что он попал в руки разбойников. Но Камала не предпринимала никаких поисков. Узнав, что Сиддхарта исчез, она даже не удивилась. Ведь она всегда предчувствовала это. Ведь он, как был, так и остался саманой, бездомным странником. В особенности она почувствовала это при последнем свидании. И теперь, несмотря на горе утраты, она радовалась тому, что в этот последний раз так горячо прижимала его к сердцу, так полно чувствовала, что всецело принадлежит ему, что вся проникнута им.

Получив первое известие об исчезновении Сиддхарты, она подошла к окну, где в золотой клетке содержалась редкая певчая птичка. Она открыла клетку, вынула певунью и отпустила ее на волю. Долго смотрела она вслед улетающей птичке. С того дня она не принимала больше посетителей, и дом ее оставался закрытым. А через некоторое время она почувствовала, что от последнего свидания с Сиддхартой ей предстоит стать матерью.

У РЕКИ

Сиддхарта уже был далеко от города. Он шел лесом и сознавал одно, что он не может больше вернуться назад, что жизнь, которую он вел в течение стольких лет, кончилась – он изведаль ее и пресытился до тошноты. Умерла певчая птичка, которую он видел во сне. Умерла птичка в его собственном сердце. Он слишком запутался в сансаре, со всех сторон он впитывал в себя отвращение и смерть, как губка впитывает воду – до полного насыщения. И теперь в нем уже не оставалось ничего, кроме этого отвращения ко всему – не было ничего такого на свете, что могло бы прельстить, порадовать, утешить его.

Одно только страстное желание еще жило в нем – не думать больше о себе, успокоиться, умереть. Хотя бы гром грянул с неба и поразил его! Хотя бы тигр выскочил и сожрал его! Если бы достать какое-нибудь вино или яд, который привел бы его в бесчувственное состояние, принес бы забвение и сон, но сон без пробуждения! Ведь нет такой грязи, которой бы он себя не загрязнил, нет такого греха и безумия, какого бы он не совершил, нет такой душевной муки, какую бы он не предуготовил себе. Можно ли после этого оставаться жить? Можно ли по-прежнему дышать, чув-

ствовать голод, по-прежнему есть, спать, жить с женщиной? Неужели это верчение в круге еще не закончилось для него?

Сиддхарта пришел к большой реке, протекавшей через лес, той самой, через которую некогда, когда он был еще молодым человеком и шел из города Готамы, его переправил один перевозчик. Дойдя до реки, он нерешительно остановился на берегу. Усталость и голод одолевали его. Да и к чему идти дальше, куда, для какой цели? Нет, для него не существует больше никаких целей, есть только одно глубокое мучительно-страстное желание – стряхнуть с себя весь этот кошмар, выплюнуть это выдохшееся вино, положить конец этой жалкой и позорной жизни.

У самого берега росло кокосовое дерево, склонявшееся к реке. Сиддхарта оперся о дерево плечом, обхватил рукой ствол и стал глядеть в зеленые воды, безостановочно катившиеся под ним. Он глядел и глядел, и его все сильнее охватывало желание оторваться от своей опоры и дать себя поглотить воде. Страшная пустота глядела на него из воды, и ей отвечала такая же пустота в его душе. Да, он дошел до последнего предела. Ничего больше не оставалось ему, как вычеркнуть себя, разбить неудавшуюся форму своей жизни, кинуть ее под ноги издевающимся богам. Вот то сильное рвотное средство, которого он искал! Умереть, разбить форму, которую он ненавидел. Пусть он достается на съедение рыбам, этот пес – Сиддхарта, этот безумный, пусть пожирают рыбы это мерзкое, прогнившее тело, эту одряхлевшую от излишеств душу! Пусть пожирают его рыбы и крокодилы! Пусть терзают его демоны!

С искаженным лицом глядел он в воду, увидел свое отражение и плюнул в него. Потом в глубоком изнеможении отнял руку от ствола дерева и слегка повернулся, чтобы прямо, во весь рост, грохнуться в воду и погибнуть. Закрыв глаза, он готов был броситься навстречу смерти.

В этот миг из каких-то отдаленных тайников его души, из давнишних переживаний его постылой жизни, вырвался звук. Это было одно лишь словечко, один слог, который он пробормотал про себя совершенно бессознательно – древнее начальное и заключительное слово всех браманских молитв, священное «Ом», означающее приблизительно «Совершенное» или «Совершенство». И в тот самый миг, когда звук «Ом» коснулся слуха Сиддхарты, его заснувший ум внезапно проснулся и мгновенно осознал всю нелепость его поведения.

Сиддхарта ужаснулся. Так вот до чего он дошел! До такой степени он сбился с пути, до такой степени позабыл все, когда-то уже познанное, что мог искать смерти, что в нем могло вырасти желание – такое ребяческое желание – найти успокоение путем уничтожения тела. То, к чему не привели все муки, все отрезвление, все отчаяние последнего времени – произошло в ту самую минуту, когда слово «Ом» проникло в его сознание. Он пришел в себя, перед ним блеснул выход из его жалкого положения, из того лабиринта, в котором он очутился.

– Ом! – прошептал он – Ом!

И вспомнил Брамму, вспомнил о неуничтожаемости жизни, вспомнил все то божественное, что он успел позабыть.

Но все это длилось один лишь миг, сверкнуло и исчезло, как молния. Сиддхарта опустился на землю у подошвы кокосового дерева. Сраженный усталостью, со словом «Ом» на устах, он положил голову на корни дерева и погрузился в сон.

Глубок был его сон, без всяких сновидений. Давно уже не знал он такого сна. Когда через несколько часов он проснулся, то ему показалось, что он проспал целые годы. Он слышал тихие всплески воды, но не мог дать себе отчет, где он и кто привел его сюда. Раскрыл глаза, с удивлением увидел над собой деревья и небо и вспомнил, где он и как сюда попал. Но вспомнил не сразу. В течение некоторого времени произошедшее было для него как бы окутано дымкой, оно казалось ему таким далеким, таким бесконечно далеким, бесконечно безразличным. Он сознавал только то, что с прежней жизнью (в первые минуты проснувшегося сознания эта прежняя жизнь казалась ему одним из старых, давно уже пережитых воплощений, одним из прежних существований его теперешнего «Я»), что с этой прежней жизнью он покончил, что, полный отворачивания и гора, он даже хотел положить конец самой жизни, но у

какой-то реки под кокосовым деревом пришел в себя со священным словом Ом на устах, заснул и теперь проснулся новым человеком. Тихо проговорил он слово Ом, с которым заснул, и ему показалось, что весь его продолжительный сон был ни чем иным, как только длительным сосредоточенным выговариванием – вслух и мысленно – слова Ом, погружением и полнейшим растворением в этом Ом, в безымянном Совершенном.

Какой, однако, это был чудесный сон! Никогда после сна он не чувствовал себя до такой степени свежим, обновленным, помолодевшим. Может быть, он и в самом деле умер и родился вновь, в новой телесной оболочке? Да нет, он узнавал свою руку, свои ноги, узнавал место, где лежал, узнавал это Я в своей груди, этого Сиддхарта, своенравного, странного. Но этот Сиддхарта все же как-то переменялся, обновился; этот Сиддхарта чувствовал себя замечательно выспавшимся, замечательно бодрым, радостным и полным интереса ко всему.

Сиддхарта приподнялся и тут только увидел чужого человека, монаха в желтом одеянии, с обритой головой, сидевшего против него в позе созерцания. Он внимательно поглядел на этого человека, у которого обриты были не только волосы на голове, но и борода, и скоро узнал в монахе Говинду, друга своей юности, Говинду, ставшего учеником возвышенного Будды. И он, Говинда, также постарел, но лицо его сохранило свое прежнее выражение – выражение усердия, верности, искания, нерешительности. Когда же Говинда, почувствовав его взгляд, открыл глаза, то Сиддхарта увидел, что тот его не узнает. Говинда высказал свою радость, что Сиддхарта очнулся. Очевидно, он давно уже сидел тут и ждал его пробуждения, хотя и не узнавал его.

– Я спал, – сказал Сиддхарта. – Как же ты попал сюда?

– Да, ты спал, – ответил Говинда. – Нехорошо спать в таких местах, где водятся змеи и куда приходят лесные звери. А я, господин, ученик Возвышенного Готамы Будды, Сакия-Муни, и проходил с толпой других монахов по этой дороге, когда увидел тебя лежащим и погруженным в сон в таком месте, где спать опасно. Я пытался разбудить тебя, господин, но заметив, что сон твой очень глубок, отстал от своих и остался при тебе. А потом, по-видимому, я и сам заснул, несмотря на то, что намерен был охранять твой сон. Плохо же я исполнил свою обязанность – усталость одолела меня. Но теперь, раз ты проснулся, позволь мне уйти, чтобы я мог догнать своих братьев.

– Благодарю тебя, самана, за то, что ты охранял мой сон, – сказал Сиддхарта. – Благожелательные люди – ученики Возвышенного! Теперь, конечно, ты можешь уходить.

– Иду, господин. Желаю тебе всегда доброго здоровья.

– Спасибо тебе, самана.

Говинда сделал знак приветствия и проговорил:

– Прощай!

– Прощай, Говинда! – сказал в ответ Сиддхарта. Монах остановился.

– Позволь, господин, узнать – откуда тебе известно мое имя?

Сиддхарта улыбнулся:

– Я знаю тебя, о Говинда, знаю с того времени, когда ты еще жил в хижине своего отца, когда мы посещали вместе школу браманов, знаю со времени наших жертвоприношений и ухода к саманам до того часа, когда в роше Джетавана ты примкнул к ученикам Возвышенного.

– Ты Сиддхарта! – громко воскликнул Говинда. – Теперь-то я узнаю тебя! Не понимаю, как я не узнал тебя тотчас же. Приветствую тебя, Сиддхарта. Великая моя радость, что я снова вижу тебя.

– И я рад встрече с тобой. Ты охранял меня во время сна и еще раз благодарю тебя за это, хотя и не нуждался в охране. Куда направляешься ты, друг?

– Никуда. Мы, монахи, всегда странствуем, пока не наступит дождливое время года. Мы постоянно переходим с места на место, живем по уставу, возвешаем учение, собираем подаяния, идем дальше. Всегда мы так живем. Но ты, Сиддхарта, куда идешь?

Сиддхарта ответил:

– Я, как и ты, мой друг, никуда не направляюсь. Я иду куда глаза глядят – я странствую.

– Ты говоришь, что странствуешь, – сказал Говинда. – И я верю тебе. Но прости, о Сиддхарта, ты не похож на странника. Ты носишь платье богача, на тебе обувь знатного, и твои волосы, пахнувшие ароматом благовонной воды, не могут быть волосами странника; такие волосы не бывают у саманы.

– Верно, дорогой. Ты наблюдателен, все замечает твой зоркий глаз. Но ведь я и не говорил тебе, что я самана. Я сказал лишь, что странствую. Так оно и есть: я странствую.

– Ты странствуешь, – сказал Говинда. – Однако немного встретишь ты странников, которые странствуют, одетые и обутые как ты, с такими волосами. Много лет я хожу по белу свету, а такого странника ни разу не встречал.

– Верю, Говинда, что ни разу не встречал. Но на этот раз, сегодня, – ты встретил именно такого странника, в таких именно башмаках, в таком платье. Вспомни, милый: все преходяще в мире образований – преходящи, в высшей степени преходящи наши одеяния, прически наших волос, преходящи самые волосы и тело наше. Я ношу платье богача – это ты верно заметил. Ношу потому, что сам был богачом; я причесан, как миряне, люди, преданные наслаждениям, ибо и сам был одним из них.

– А теперь, Сиддхарта, кто ты теперь?

– Не знаю, столько же знаю, как и ты. Я иду, куда глаза глядят. Я был богачом, а теперь перестал быть таковым. А чем стану завтра – не знаю.

– Ты потерял свое богатство?

– Я потерял его, или вернее – богатство потеряло меня. У меня больше нет состояния. Быстро вращается колесо перерождений, Говинда. Где теперь браман Сиддхарта? Где самана Сиддхарта? Где богач Сиддхарта? Быстро меняется все преходящее – ты знаешь это, Говинда.

Долго Говинда глядел на друга молодости, и во взгляде его читалось сомнение. Потом поклонился, как кланяются знатным, и пошел своей дорогой.

С улыбкой на лице глядел ему вслед Сиддхарта. Он все еще любил его, этого верного, нерешительного, старого друга. Да и мог ли он в эту минуту, в этот чудный час после своего удивительного сна, весь проникнутый «Ом», не любить кого и что бы то ни было? В том-то именно и состояла волшебная перемена, совершившаяся в нем во время сна и благодаря слову Ом, что он все любил теперь, что он преисполнен был радостной любви ко всему, что видел. И в том-то именно – казалось ему теперь – и состояла его прежняя болезнь, что он никого и ничего не мог любить.

С улыбкой на лице Сиддхарта глядел вслед уходящему монаху. Сон очень подкрепил его, но зато голод терзал сильнейшим образом – ведь он уже два дня ничего не ел, а давно уже прошло то время, когда он был нечувствителен к голоду. С болью, но вместе и с улыбкой, он вспомнил об этом времени. Тогда – припомнилось ему – он похвалялся перед Камалой тремя вещами, тремя благородными всепобеждающими искусствами: поститься, ждать, мыслить. В этом было его богатство, могущество и сила, в них была его твердая опора. В прилежные, посвященные упорной работе годы своей молодости он изучал эти три искусства и ничего более. А теперь он утратил их. Ни одним из них он не владел более – ни искусством поститься, ни искусством ждать, ни искусством мыслить. И ради каких презренных вещей он пожертвовал ими! – ради того, что является самым преходящим – ради чувственных наслаждений, ради привольной жизни, ради богатства. Странно, в самом деле, сложилась его жизнь. А теперь как будто бы похоже на то, что он стал таким же, как все люди – как люди-дети.

Сиддхарта продолжал размышлять о своем положении. Не легко давалось ему теперь мышление; ему, в сущности, не хотелось думать, но он принуждал себя к этому.

– Теперь, – размышлял он, – когда все наиболее преходящие вещи ускользнули от меня, я снова стою в мире, как стоял когда-то, ребенком – ничего я не могу назвать своим, ничего я не умею, ничего не знаю, ничему еще не научился. Как все это

странно! Теперь, когда молодость прошла, когда мои волосы наполовину поседели, когда силы убывают – теперь я, как ребенок, начинаю все сызнава. – Он снова невольно улыбнулся. Да, странной была его судьба! Его жизнь была уже на ущербе, а он снова остался с пустыми руками, гол как сокол, в полном неведении. Но никакого огорчения от этого сознания он не чувствовал – его даже смех разбирал – хотелось хохотать над собой, над этим странным нелепым миром!

– Твоя жизнь уже идет под гору, – сказал он самому себе, и рассмеялся. Но тут взгляд его упал на реку, и он обратил внимание, что ведь и река всегда течет вниз, под гору, а все же шумит и поет так весело. Это понравилось ему. Он ласково улыбнулся реке. Разве это не та самая река, в которой он хотел утопиться – когда-то... лет сто тому назад? Или это ему только приснилось?

– Странно, в самом деле, сложилась моя жизнь, – думал он, – странными она шла зигзагами. Мальчиком я имел дело только с богами и жертвоприношениями. Юношей я предавался только аскетизму, мышлению и самопогружению, искал Брамму, почитал вечное в Атмане. Молодым человеком последовал за монахами, жил в лесу, претерпевал зной и холод, учился голодать, умерщвлял свою плоть. Потом учение великого Будды озарило меня дивным светом. Я почувствовал, как мысль о единстве мира обращается в моих жилах, как моя собственная кровь. Но и от Будды, и от великого знания меня потянуло прочь. Я ушел и изучал у Камалы искусство любви, у Камасвами – торговлю, накапливал богатства, мотал деньги, научился баловать свою утробу, угождать своим страстям. Много лет потерял я на то, чтобы растратить ум, разучиться мыслить, забыть единство, и не похоже ли на то, что медленно, кружными путями, я вернулся теперь к детству, из мыслящего мужа стал взрослым ребенком? И все же этот путь был очень хорош, все же птичка в моей груди, оказывается, не умерла. Но что это был за путь! Через сколько глупостей, пороков, заблуждений пришлось мне пройти, сколько мерзкого, сколько разочарований и горя пришлось пережить, – и все лишь для того, чтобы снова стать, как дитя, и начинать все сызнава! Но так оно и должно быть, мое сердце одобряет это, мои глаза улыбаются этому. Я должен был впасть в отчаяние, должен был докатиться до безумнейшей из всех мыслей – до мысли о самоубийстве, чтобы быть в состоянии принять благодать, чтобы снова услышать слово слов – Ом, чтобы снова спать и пробуждаться по-настоящему. Я должен был стать глупцом, чтобы вновь обрести в себе Атмана. Должен был грешить, чтобы быть в состоянии начать жить сызнава. Куда же еще приведет меня путь мой? Он нелеп, этот путь, идет зигзагами, быть может, даже вертится в круге – но пусть. Я пойду дальше по этому пути.

Удивительно радостное чувство волновало его грудь.

– Откуда, – спрашивал он свое сердце, – откуда в тебе это веселье? Уж не от долгого ли хорошего сна, который так подкрепил меня? Или от слова Ом, произнесенного мною? А может быть, оттого, что я бежал, что мое бегство удалось, что я наконец свободен и стою под небом, как дитя? О, как славно то, что я бежал, что я освободился! Как чист и прекрасен тут воздух, как легко дышится им! Там, откуда я бежал, все пахло притираниями, пряностями, вином, изобилием, ленью. Как я ненавидел этот мир богачей, распутников, игроков! Как я ненавидел самого себя за то, что так долго оставался в этом ужасном мире! Сколько зла я сам себе причинил, как я себя ограблял, отравлял, терзал, как состарил себя, каким стал злым! Нет, никогда не стану воображать, как бывало раньше, что Сиддхарта человек мудрый. Но одно я хорошо сделал, за одно я должен похвалить себя – за то, что я перестал ненавидеть и причинять зло самому себе, что я покончил с той безумной и пустой жизнью. Хвала тебе, Сиддхарта, – после стольких лет, проведенных самым безрассудным образом, ты снова, наконец, напал на хорошую мысль, совершил нечто дельное: ты услышал пение птички в своей груди и последовал ее голосу!

Так он хвалил себя, радовался своему поступку, и с любопытством прислушивался к своему желудку, ворчавшему от голода. Порядочная доля страдания и муки – чувствовал он – изжита им до конца за последнее время; до отчаяния, до смерти

чуть не довела его та жизнь. Но теперь все обстоит отлично. Он мог еще долго оставаться у Камасвами, наживать деньги, расточать их, ублажать свое тело и давать своей душе погибать от жажды. Еще долго мог бы он прожить в этом покойном, так мягко высланном аду, не случись того, что с ним было: не настань тот миг полнейшей безнадежности и отчаяния, тот страшный миг, когда он висел над рекой и готов был уничтожить себя. Что он пережил это отчаяние, это глубочайшее отвращение и все-таки не поддался ему, что птичка – этот бодрый источник и внутренний голос – еще жива в нем – вот что так радовало его, вот чему он улыбался, вот отчего так сияло лицо его под поседевшими волосами!

– Хорошо, – думал он, – изведать самому все то, что надо знать. Что мирские удовольствия и богатства не к добру – это я знал еще ребенком. Знал-то давно, да убедился лишь теперь. И теперь я знаю это не только понаслышке, я убедился в этом собственными глазами, собственным сердцем, собственным желудком. Благо мне, что я это знаю!

Долго еще он размышлял о совершившейся в нем перемене и прислушивался к радостно распевавшей в нем птичке. Но разве эта птичка не умерла в нем, разве он не чувствовал ее смерти? Нет, что-то другое умерло в нем, нечто такое, что уже давно жаждало смерти. Уж не то ли самое, что он когда-то, в годы своего пламенного подвижничества, хотел убить в себе? Уж не его ли это Я, его маленькое, тревожное и гордое Я, с которым он боролся столько лет, и которое каждый раз заново одерживало над ним победу? То Я, которое после каждой попытки умерщвления снова оживало, запрещало радость, испытывало страх? Уж не оно-то ли наконец умерло сегодня, вот здесь, в лесу, у этой прелестной реки? И не потому ли, что оно умерло, он чувствовал себя сегодня как дитя, был так полон доверия, радости, так чужд страху?

Теперь только стал Сиддхарта догадываться, почему, будучи браманом и подвижником, он тщетно боролся с этим Я. В этой борьбе его чрезмерное знание – слишком много он заучил священных стихов и правил для жертвоприношений – чрезмерное самоистязание и усердие только были ему помехой. Он был тогда полон высокомерия – ведь он всегда был самый умный, самый старательный, всегда на шаг впереди всех, всегда в нем преобладало духовное начало, всегда в нем чувствовался священник или мудрец. В это-то священничество, в это-то высокомерие и духовность и запозло его Я, там оно засело крепко и росло, в то время как он воображал, что умершвляет его постом и покаянием. Теперь он убедился, что прав был тот внутренний голос, который говорил ему, что никакой учитель не приведет его к искуплению. Оттого-то он и должен был уйти в мир, расточать свои силы на наслаждения и власть, на женщин и деньги, должен был стать торгашом, игроком в кости, пьяницей и корыстолюбцем, пока не умер в нем священник и монах. Оттого-то он и должен был влачить годами это безобразное существование, выносить с омерзением пустоту и бессмысленность загубленной жизни, выносить до конца, до горького отчаяния, пока не умер в нем Сиддхарта-кутила, Сиддхарта-корыстолюбец. Он умер, наконец! Новый Сиддхарта проснулся после того сна. И этот Сиддхарта в свою очередь состарится, и этот когда-нибудь должен будет умереть. Бренным созданием был Сиддхарта, бренными были все создания в мире. Но сегодня этот новый Сиддхарта был молод, был как дитя, сегодня он был полон радости.

Вот какие мысли проносились в голове Сиддхарты, и в то же самое время он с улыбкой прислушивался к недовольству своего желудка, радовался жужжанию пчелы. Весело глядел он на катящуюся реку. Никогда ни одна река не нравилась ему так, как эта, никогда голос и образ уносимой течением воды не казался ему таким прекрасным и красноречивым. Ему казалось, что эта река может ему сказать что-то особенное, что-то такое, чего он еще не знает, но что ему необходимо узнать. В этой реке Сиддхарта хотел утопиться, в ней и потонул сегодня старый, усталый, отчаявшийся Сиддхарта. Новый же Сиддхарта чувствовал глубокую любовь к этой катящейся воде и решил про себя, что не так-то скоро уйдет от нее.

ПЕРЕВОЗЧИК

– Я тут останусь, – подумал Сиддхарта. – Эта та самая река, через которую я переправлялся когда-то по пути к людям-детям. Тут был приветливый такой перевозчик – пойду и разыщу его. По выходе из его хижины и началась тогда моя новая жизнь, теперь уже старая и поконченная. Пусть и мой теперешний путь, предстоящая мне новая жизнь начнется на том же месте.

С нежностью глядел он на катящуюся реку, на прозрачную зелень, на хрустально-чистые линии ее загадочных очертаний. Светлые жемчужины поднимались на его глазах из глубины, тихие воздушные пузыри плавали по зеркалу воды, и в них отражалась синева неба. Тысячей глаз глядела на него река – зеленых, белых, чистых, как хрусталь, синих, как небо. Как он любил эту реку, как восхищался ею, как он был ей благодарен! И голос его сердца, только что проснувшийся голос говорил ему также: «Люби эту реку. Оставайся близ нее! Учись у нее!» О, да. Он будет к ней прислушиваться, будет у нее учиться. Кто поймет эту реку и ее тайны, – думалось ему, – тот поймет и многое другое, перед тем откроется много тайн, все тайны...

Из тайн же самой реки он в этот день узнал лишь одну, и та поразила его душу. Он видел: эта вода текла и текла; она текла безостановочно и все же всегда была тут, всегда во всякое время была такою же, хотя каждую минуту была новой. О, если бы постичь, раскрыть эту тайну! Он еще не понимал, не постигал этого, в нем только шевелились догадки, отдаленные воспоминания, божественные голоса...

Сиддхарта поднялся с места. Невыносимым стал терзавший его голод. С глубоким интересом пошел он далее по береговой дорожке, вверх по течению, прислушиваясь к шуму воды, прислушиваясь к ворчанию голода в своих внутренностях.

Когда он пришел к перевозу, лодка как раз готова была отчалить, и в ней стоял тот самый перевозчик, который когда-то перевез через реку молодого саману. Сиддхарта узнал его, хотя и он сильно постарел.

– Ты перевезешь меня? – спросил он.

Перевозчик, удивленный тем, что такой знатный господин пришел один и пешком, принял его в свою лодку и отчалил от берега.

– Прекрасное занятие ты выбрал себе, – сказал Сиддхарта. – Чудесно, должно быть, жить всегда у этой реки и ездить по ней.

С улыбкой качнул головой гребец:

– Да, это чудесно! Ты верно заметил, господин. Но разве не всякая жизнь, не всякий труд прекрасен?

– Возможно. Но мне кажется завидным именно твое занятие.

– Ну, тебе оно скоро надоело бы. Такая работа не подходит для хорошо одетых людей.

Сиддхарта рассмеялся.

– Вот уже второй раз за сегодняшний день ко мне из-за моего платья относятся с недоверием. Не хочешь ли ты, перевозчик, принять от меня это платье, которое мне надоело? Ты должен знать, что у меня нет денег, чтобы заплатить тебе за перевоз.

– Господин шутит, – рассмеялся перевозчик.

– Я не шучу, друг мой. Один раз ты уже перевез меня в своей лодке через эту реку и перевез даром. Сделай же это и сегодня и прими взамен платы мое платье.

– Как же господин отправится дальше без платья?

– Видишь ли, я предпочел бы не отправляться дальше. Приятнее всего мне было бы, перевозчик, если бы ты дал мне какой-нибудь старый фартук и взял бы к себе помощником, вернее, учеником, так как я должен еще научиться, как управлять лодкой.

Долго и пытливо вглядывался перевозчик в лицо чужого.

– Теперь я узнаю тебя, – сказал он наконец. – Когда-то ты ночевал в моей хижине. Давно уж это было – пожалуй, больше двух десятков лет тому назад. Я перевез тебя через реку, и мы распрощались, как добрые друзья. Помнится, ты был тогда саманой? Но твоего имени я не могу припомнить.

– Меня зовут Сиддхартой, я был саманой, когда ты видел меня в последний раз.

– Добро пожаловать, Сиддхарта! Меня зовут Васудева. Ты и сегодня, надеюсь, будешь моим гостем и проведешь ночь в моей хижине. Ты расскажешь мне, откуда ты идешь и почему твоё прекрасное платье так надоело тебе.

Они выехали на середину реки, и Васудева сильнее приналег на весла, чтобы справиться с течением. Спокойно работал он своими сильными руками, следя за острым концом лодки. Сиддхарта сидел, глядел, как он работает, и вспоминал, как уже тогда, в последний день своей жизни аскета-саманы, в его сердце зародилась любовь к этому человеку. Он принял с благодарностью его предложение. Когда они причалили к берегу, он помог ему привязать лодку к колышку, после чего перевозчик пригласил его войти в хижину, предложил ему хлеба, воды и плодов манго, и Сиддхарта поел всего с наслаждением.

Потом – солнце близилось уже к закату – они сели на древесный пенёк у берега, и Сиддхарта рассказал перевозчику о своём происхождении и своей жизни – избрав в том самом свете, в каком он видел её сегодня в час отчаяния. До поздней ночи длился его рассказ.

Васудева слушал с глубоким вниманием. Все он выслушал с одинаковым интересом: о происхождении и детстве Сиддхарты, о годах учения и исканий, о радостях и горестях. Это было, между прочим, одним из главных достоинств перевозчика – он умел слушать, как редко кто умеет. Хотя он не произносил ни слова, но рассказчик все время чувствовал, как Васудева вбирает в себя его слова – тихо, откровенно, терпеливо, не теряя ни одного слова, не проявляя нетерпения, не прерывая ни похвалой, ни порицанием. Сиддхарта чувствовал, какое это счастье – исповедаться перед таким слушателем, раскрыть перед ним всю свою жизнь, все свои искания, все свои страдания.

Но к концу повествования, когда Сиддхарта заговорил о дереве на берегу реки, о своём глубоком падении, о свяшенном Ом и о том, как, проснувшись, он почувствовал такую сильную любовь к реке, внимание перевозчика, казалось, удвоилось: он был всецело захвачен рассказом и слушал его с закрытыми глазами.

Когда же Сиддхарта смолк, и наступила продолжительная тишина, Васудева сказал:

– Так я и думал! Река заговорила с тобой. И тебе она друг, и тебе она говорит. Это хорошо, очень хорошо. Оставайся со мной, Сиддхарта, друг мой. У меня когда-то была жена; её ложе было рядом с моим. Но её уже давно нет в живых, давно я уже живу один. Будь ты теперь моим товарищем – места и пищи хватит на двоих.

– Благодарю тебя, – ответил Сиддхарта, – благодарю и принимаю твоё предложение. И за то благодарю тебя, Васудева, что ты так хорошо слушал меня. Редко встречаются люди, умеющие слушать, а такого, как ты, слушателя, я не встретил ни разу. И в этом мне придется поучиться у тебя.

– Ты научишься этому, – сказал Васудева, – но не у меня. Я научился слушать от реки; и тебя она научит этому. Река все знает, у неё всему можно научиться. Смотри – одному уже тебя научила река – что хорошо стремиться вниз, спускаться, искать глубины. Богатый и знатный Сиддхарта становится гребцом; ученый браман Сиддхарта становится перевозчиком – ведь и это внушено тебе рекой. Она и другому тебя научит.

– В чем это другое, Васудева? – сказал Сиддхарта после продолжительной паузы.

Васудева поднялся с места.

– Уже поздно, – сказал он, – пора идти спать. Я не могу тебе сказать, в чем это «другое», друг мой. Ты узнаешь это сам, а может быть, и уже знаешь. Видишь ли ты, я не ученый, я не умею говорить, не умею также размышлять. Я умею только слушать и быть скромным – больше я ничему не научился. Если бы я мог это объяснить другим, я, быть может, прослыл бы мудрецом. Но я только перевозчик и моя задача – перевозить людей через реку. Много народу перевез я на ту сторону, тысячи людей, но они все смотрели на мою реку, лишь как на помеху в пути. Они отправлялись по делам и за деньгами, на свадьбы и на богомолье, река же преграждала им путь, и перевозчик на то и был тут, чтобы дать им возможность быстро преодолеть это препятствие. Только немногие из этих тысяч, весьма немногие – четверо или пятеро –

перестали видеть в реке помеху – они услышали ее голос, они прислушались к нему, и река стала для них священной, как и для меня.

Сидхарта остался у перевозчика и научился управлять лодкой, а если на перевозе нечего было делать, он работал вместе с Васудевой на рисовом поле, собирал дрова, срывал плоды с банановых деревьев. Он научился делать весла, чинить лодку, плести корзины, радовался всякому приобретенному навыку, и время быстро пролетало для него. Но еще больше, чем у Васудевы, он учился у реки. У нее он учился слушать – прислушиваться с тихим сердцем, с раскрытой, полной ожидания душой, без увлечения, без желания, без суждения и мнения.

Его отношения с Васудевой были самые дружеские. От времени до времени они обменивались несколькими словами – немногими, но глубоко продуманными. Васудева был не словоохотлив. Редко Сидхарте удавалось вызвать его на разговор. – Ты также, – спросил он его однажды, – узнал от реки ту тайну, что время не существует?

Лицо Васудевы просияло улыбкой.

– Да, Сидхарта, – сказал он. – Ты хочешь сказать, что река одновременно находится в разных местах – у своего источника, и в устье, у водопада, у перевоза, у порогов, в море, в горах – везде в одно и то же время, и что для нее существует лишь настоящее – ни тени прошедшего, ни тени будущего?

– Ты верно понял меня, – ответил Сидхарта. – И когда я познал это, то оглянулся на свою жизнь и увидел, что и жизнь моя похожа на реку, что мальчика Сидхарту отделяют от мужа Сидхарты и старика Сидхарты только тени, а не реальные вещи. Точно так же и прежние воплощения Сидхарты не были прошедшими, а его смерть и возвращение к Бrame не представляют будущего. Ничего не было, ничего не будет: все есть, все имеет реальность и настоящее.

Сидхарта говорил все это с восторгом – это снизошедшее на него откровение доставляло ему глубокое счастье. Разве всякое страдание не существовало во времени, разве все душевные терзания и тревоги не были во времени? И разве все тяжелое, все враждебное в мире не исчезало, не оказывалось побежденным, как только человек побеждал время, как только он отрешался умом от времени? Сидхарта проговорил это с восторгом. Васудева же улыбнулся ему с сияющей улыбкой и кивнул утвердительно головой. Кивнул безмолвно, провел правой рукой по плечу Сидхарты и снова принялся за работу.

В другой раз, когда река в период дождей вздулась и сильно шумела, Сидхарта заметил:

– Не правда ли, друг, у реки много голосов, очень много? Ты не находишь, что у нее бывает то голос царя или воина, то голос быка или ночной птицы, то голос, напоминающий крик женщины во время родов или вздохи несчастного, и еще тысячи других голосов?

– Это верно, – кивнул головой Васудева, – все голоса в мире заключены в голосе реки.

– И знаешь, – продолжал Сидхарта, – какое слово она произносит, когда тебе удастся услышать одновременно все ее десять тысяч голосов?

Со счастливой улыбкой Васудева склонился к Сидхарте и шепнул ему на ухо священное слово Ом. Его-то именно и расслышал Сидхарта в шуме реки.

И со дня на день улыбка последнего становилась все более похожей на улыбку перевозчика, становилась почти такой же сияющей, почти столь же светилась счастьем; так же, как и у Васудевы, она светилась в тысяче морщинок, была такая же детская и такая же старческая. Многие проезжие, видя обоих перевозчиков, принимали их за братьев. Часто, по вечерам, они сидели рядом на пне у берега и молча прислушивались к шуму воды, который был для них не простым шумом, а голосом жизни, голосом сушего, вечно образующегося вновь. И подчас случалось, что оба, слушая реку, одновременно думали об одном и том же: о недавнем разговоре, об одном из проезжих, заинтересовавшем их своей наружностью или судьбой, о смерти, о своем детстве, и оба они, если река говорила им что-нибудь хорошее, одновременно взглядывали друг на друга с одной и той же мыслью, одинаково осчастливленные одинаковым ответом на один и тот же вопрос.

От этого перевоза и от обоих перевозчиков исходило что-то особенное, и оно ошущалось многими из проезжих. Случалось иногда, что проезжий, взглянув в лицо одного из перевозчиков, начинал вдруг рассказывать про свою жизнь, про свое горе, сознавался в содеянном зле, просил утешения и совета. Случалось, что иной просил позволения провести у них вечер, чтобы слушать реку. Случалось также, что к ним приходили любопытные, прослышавшие, что у этого перевоза живут двое мудрецов, или волшебников, или святых. Любопытные забрасывали их вопросами, но не получая ответов, приходили к заключению, что тут нет никаких волшебников или мудрецов, а просто два приветливых старичка, казавшиеся немymi, немного странные и придурковатые. И любопытные смеялись и толковали между собою о том, до чего глупы и легковверны те, которые распространяют подобные слухи.

Годы уходили, и никто не считал их. Но вот однажды пришли монахи, последователи Готамы Будды, и просили перевезти их через реку. От них перевозчики узнали, что они спешат к своему великому учителю, так как распространилась весть, что Возвышенный опасно болен и скоро в последний раз умрет человеческой смертью, дабы достигнуть окончательного искупления. В скором времени пришла новая партия монахов, потом еще одна. Все они, как и большинство проезжих и странников, не говорили ни о чем ином, как о Готаме и его близкой кончине. И подобно тому, как при известии о военном походе или предстоящем венчании какого-нибудь царя со всех сторон стекаются люди и собираются в кучи, подобно муравьям, так точно, словно привлеченные чарами, стекались монахи туда, где великий Будда ждал смерти, где должно было совершиться событие неизмеримой важности, где великий Совершенный того века должен был почить в блаженстве.

Много думал за это время Сиддхарта об умирающем мудреце, о великом учителе, чей голос поучал народы и пробудил сотни тысяч людей, чей голос и он когда-то слышал, на чье святое лицо и он когда-то взирал с благоговением. С хорошим чувством вспоминал он о том времени, представлял себе пройденный учителем путь к совершенству и с улыбкой вспоминал слова, с которыми он, молодой человек, обратился к Возвышенному. То были гордые, не по годам рассудительные слова, – думал он с улыбкой. Давно уже он сознавал, что его ничто не разделяет с Готамой, хотя учения его он принять не мог. Да и никакого вообще учения не может принять истинно ищущий, истинно желающий найти. Тот же, кто нашел, тот может признать любое учение, любой путь, любую цель – его ничто более не отделяет от тысячи других, живущих в Вечном, вдыхающих в себя Божественное.

В один из тех дней, когда так много народу совершало паломничество к умирающему Будде, к нему отправилась и Камала, когда-то прекраснейшая из куртизанок. Давно уже она оставила прежнюю жизнь. Она подарила свой сад монахам Готамы, приняла его учение и стала одной из тех, которые возлагали на себя заботу и попечение о странниках, услышав о близкой смерти Готамы, она тотчас же вместе со своим мальчиком Сиддхартой пустилась в путь. Пешком, одетая в простое платье, она шла со своим маленьким сыном по течению реки; но мальчик скоро утомился и проголодался; ему захотелось вернуться домой, и он стал капризничать и хныкать. Камала из-за него должна была часто останавливаться, чтобы дать ему отдохнуть, чтобы покормить его или пожурить. Мальчик привык настаивать на своем. Он не понимал, зачем ему надо вместе с матерью совершать такое тяжелое и скучное паломничество, отправляться в незнакомое место, к чужому человеку, который был святым и собирался умереть. Пусть себе умирает – ему-то, Сиддхарте, какое до этого дело?

Паломники были уже недалеко от перевоза Васудевы, когда маленький Сиддхарта снова заставил мать сделать привал для отдыха. Камала, впрочем, и сама уже утомилась, и в то время как мальчик кушал банан, она опустила на землю, полузакрыв глаза и предалась отдыху. Вдруг она испустила жалобный крик. Мальчик с испугом взглянул на мать, увидел ее побледневшее от ужаса лицо и выползавшую из-под ее платья маленькую черную змею, ужалившую Камалу.

Тотчас же оба бросились бежать по дороге, чтобы встретить людей. Они уже почти достигли перевоза, когда Камала свалилась, уже не в силах идти дальше. Маль-

чик стал кричать и плакать, поминутно целуя и обнимая мать; та также стала громко звать на помощь, пока эти крики не были услышаны Васудевой, стоявшим у перевоза. Прибежав на место, он взял женщину на руки и отнес в лодку; мальчик последовал за ним, и скоро все пришли в хижину, где Сиддхарта стоял у очага, разводя огонь. Он поднял глаза и прежде всего увидел лицо мальчика, показавшееся ему странно знакомым, напоминающим что-то забытое. Потом увидел Камалу и тотчас же узнал ее, хотя она и лежала без чувств на руках перевозчика. И тогда он понял, что этот мальчик со столь знакомым ему обликом – его родной сын, и сердце у него затрепетало в груди.

Рану обмыли, но она уже успела почернеть и кожа вздулась. Камале влили в рот лекарство, и она очнулась. Она лежала на ложе Сиддхарты, в хижине, а над ней склонился человек, который когда-то так сильно любил ее. Ей показалось, что она видит все это во сне. С улыбкой глядела она в лицо друга, но понемногу пришла в себя, вспомнила об укусе и с тревогой спросила о мальчике.

– Он тут, не беспокойся! – сказал Сиддхарта. Камала взглянула ему в глаза. Она с трудом ворочала языком, парализованным ядом.

– Ты постарел, милый, – сказала она, – ты совсем седой. Но ты похож на того молодого саману, который когда-то, почти нагишом, с запыленными ногами, пришел ко мне в сад. Ты теперьходишь на него гораздо больше, чем тогда, когда ты покинул меня и Камасвами. Глазами ты похож на него, Сиддхарта. Увы, и я постарела, очень постарела. Ты узнал меня все-таки?

Сиддхарта улыбнулся:

– Я тотчас же узнал тебя, милая Камала.

– А его ты узнал? – сказала она, указывая на мальчика. – Это твой сын.

Глаза ее приняли блуждающее выражение и скоро закрылись. Мальчик заплакал. Сиддхарта взял его на колени, дал ему поплакать, гладил ему волосы и, глядя на это детское лицо, вспомнил одну из браманских молитв, которую заучил когда-то, когда сам был маленьким мальчиком. Медленно, нараспев, он стал произносить ее вслух, слова сами собою всплывали в его памяти. И под его напев мальчик успокоился, перестал плакать и, только изредка всхлипывая, заснул на его коленях. Сиддхарта положил его на постель Васудевы. Последний стоял у очага и варил рис. Сиддхарта кинул ему взгляд, на который тот ответил улыбкой.

– Она умрет, – шепотом сказал Сиддхарта.

Васудева кивнул головой. По его приветливому лицу пробежал отблеск горевшего на очаге огня.

Еще один раз Камала пришла в сознание. Лицо ее исказилось болью. Сиддхарта читал ее страдания на ее губах, на побледневших щеках. Тихо читал он их, не спуская глаз, и ждал, погруженный в ее страдания. Камала почувствовала это, и глазами искала взгляда.

Уловив его, она проговорила:

– Теперь я вижу, что и глаза твои изменились: они теперь совсем иные. Почему же я, однако, узнаю, что ты Сиддхарта? Это ты и как будто не ты.

Сиддхарта не отвечал. Глаза его безмолвно глядели в ее глаза.

– Ты достиг своей цели? – спросила она. – Ты обрел мир?

Он улыбнулся и положил свою руку на ее руку.

– Я вижу, – сказала она. – Я вижу это. И я обрету мир.

– Ты обрела его, – шепотом проговорил Сиддхарта.

Камала продолжала, не отрываясь, глядеть ему в глаза. Она думала о том, что вот она шла к Готаме, чтобы увидеть лицо Совершенного, чтобы подышать исходящим от него миром, а вместо того нашла Сиддхарту, и что это так же хорошо, как если бы она видела самого Готаму. Она хотела сказать это Сиддхарте. Но язык уже не повиновался ей. Молча глядела она на Сиддхарту, и он видел по ее глазам, что жизнь в ней угасает. Когда взгляд ее в последний раз выразил страдание и потух, когда последняя судорога пробежала по ее телу, Сиддхарта сам закрыл ей глаза.

Долго сидел он и глядел на ее точно заснувшее лицо. Долго созерцал он ее рот, ее старый усталый рот со сжатыми губами и вспомнил, что когда-то, в весну своей жизни, сравнил этот рот с только что раскрывшейся смоквой. Долго сидел он, читал в бледном лице, в его усталых складках, впитывал в себя черты покойной, видел себя самого лежащим в таком же положении, таким же побелевшим и угасшим и в то же самое время видел и свое, и ее лицо молодыми, с алыми губами, с горящими глазами, и его всецело охватило чувство одновременности настоящего и прошлого, чувство вечности. Глубоко, глубже, чем когда-либо, он почувствовал в этот час неуничтожаемость всякой жизни, вечность каждого мгновения.

Когда он поднялся с места, Васудева предложил ему приготовленного им рису. Но Сиддхарта отказался. В сарае, где помешалась их коза, оба старика устроили себе постель на соломе, и Васудева лег спать. Сиддхарта же вышел и просидел всю ночь перед хижиной, прислушиваясь к шуму реки, окруженный волнами прошлого, в одно и то же время переживая все периоды своей жизни. От времени до времени он вставал, подходил к дверям и прислушивался, спит ли мальчик.

Рано утром, еще до восхода солнца, Васудева вышел из сарая и подошел к своему другу:

– Ты не спал? – сказал он.

– Нет, Васудева. Я сидел тут и слушал реку. Много она мне сказала, глубоко проникся я благодаря ей спасительной мыслью – мыслью о единстве.

– Тебя постигло горе, Сиддхарта, но я вижу – скорбь не проникла в твое сердце.

– Нет, милый, как могу я печалиться? Я, и без того богатый и счастливый, стал теперь еще богаче и счастливее. Я получил в подарок своего сына.

– И я рад появлению твоего сына. Но теперь, Сиддхарта, нам надо приняться за дело – работы много. Камала умерла на том самом ложе, на котором когда-то умерла моя жена. И костер для Камалы мы соорудим на том же холме, на котором когда-то я воздвиг костер для жены.

Пока мальчик спал, костер был готов.

СЫН

Со страхом и слезами мальчик присутствовал при погребении матери. С испуганным и угрюмым видом он слушал Сиддхарту, когда тот назвал его своим сыном и приветствовал его появление в хижине Васудевы. Целыми днями он просиживал, бледный, на могильном холме, едва дотрагивался до пищи, отворачивал свой взгляд от отца, закрывал для него свое сердце, всем видом своим и поведением протестуя против постигшей его судьбы.

Сиддхарта снисходительно относился ко всем выходкам мальчика. Он уважал его печаль. Он понимал, что он еще чужой для сына, что тот не может любить его, как отца. Мало-помалу он заметил, что одиннадцатилетний мальчик – избалованный маменькин сынок, выросший в богатстве, привыкший к тонким кушаньям, к мягкой постели, к покорности слуг. Сиддхарта понял, что опечаленный утратой, избалованный мальчик не может сразу и добровольно примириться с жизнью в такой чуждой и бедной ему обстановке. Он поэтому не принуждал его ни к чему, делал за него многие работы, выбирал для него самый лучший кусок, утешая себя надеждой, что понемногу, лаской и терпением, приобретет его любовь.

Богатым и счастливым называл он себя, когда нашел сына. Но время шло, а мальчик по-прежнему оставался чуждым и мрачным, обнаруживал гордое строптивое сердце, не хотел ничего делать, был непочтителен со стариками, опустошал плодовые деревья Васудевы. И Сиддхарта начал понимать, что сын принес ему не счастье и мир, а горе и заботу. Но он любил сына, и милее ему были горе и забота, внушаемые любовью, чем счастье и радость, но без мальчика.

С тех пор, как молодой Сиддхарта жил вместе с ними, оба старика поделили между собой работу. Васудева стал один справляться с перевозом, а Сиддхарта, чтобы не отлучаться от сына, принял на себя все домашние и полевые работы.

Долгое время, долгие месяцы ждал Сиддхарта, что сын наконец поймет его, примет его любовь, – быть может, ответит взаимностью. Долгие месяцы ждал и Васудева, молчал и не вмешивался. Но однажды вечером, после того, как Сиддхарта-мальчик снова измучил отца своими капризами и упрямством, причем умышленно разбил обе имевшиеся в хижине миски для риса, он отвел своего друга в сторону и заговорил с ним о сыне.

– Прости, – сказал он, – но моя дружба к тебе не позволяет мне больше молчать. Я вижу, что тебя мучает, вижу, какое у тебя горе. Твой сын, милый, причиняет тебе заботу, да и мне также. Не к такой жизни, не к такому гнезду привыкла птичка. Ты отказался от города и богатства из пресыщения и отвращения, он же против воли должен был покинуть все это. Я спрашивал реку, друг мой, много раз спрашивал ее. Но река смеется – она смеется над нами обоими, над нашей глупостью. Вода стремится к воде, молодость тянется к молодости. Твоему сыну здесь не место – ему нужна для правильного роста другая почва. Спроси и ты реку, прислушайся и ты к тому, что она говорит.

С горестью взглянул Сиддхарта на морщинистое лицо друга, всегда такое ясное и приветливое.

– Но как могу я расстаться с ним? – сказал он тихо и сконфуженно. – Дай мне еще сроку, милый. Ведь я борюсь, я всеми силами стараюсь покорить его сердце; любовью и ласковым терпением я хочу полонить его. Пусть и он со временем научится понимать реку. И он из числа призванных.

Улыбка Васудевы расцвела еще теплее.

– О да, – и он из призванных, и ему предстоит жизнь в вечности. Но знаем ли мы – ты и я – к чему он призван, к какому пути, к каким делам, к каким страданиям? Немало ждет его в жизни страданий, ведь сердце у него гордое и суровое, много страданий, много ошибок, много несправедливостей выпадет на его долю, немало грехов он взвалит себе на плечи. Скажи мне, милый: ты ведь не воспитываешь твоего сына? Не неволишь его? Не бьешь, не наказываешь?

– Нет, Васудева, я ничего подобного не делаю.

– Знаю. Ты его не неволишь, не бьешь, не приказываешь ему, так как знаешь, что мягкое крепче твердого, вода сильнее скалы, любовь сильнее насилия. Прекрасно, я одобряю твой образ действий. Но не ошибаешься ли ты, полагая, что ты его не принуждаешь, не наказываешь? Разве ты не налагаешь на него цепей своей любовью? Не пристыжаешь его ежедневно, не подавляешь своей добротой и терпением? Разве ты не вынуждаешь его, этого высокомерного и избалованного мальчика, жить в хижине в обществе двух стариков, питающихся бананами, считающих даже рис лакомством, в обществе людей, мысли которых не могут быть его мыслями, сердца которых стары, бьются тише и иначе, чем его сердце? Разве все это не является для него принуждением, наказанием?

Пораженный Сиддхарта опустил глаза. Потом тихо проговорил:

– Что же, по-твоему, я должен делать?

И Васудева ответил:

– Отведи его обратно в город, верни в дом матери – там, наверно, еще остались прежние слуги. А если никого не осталось, то отведи его к учителю – не ради учения, но чтобы он попал в общество других мальчиков и девочек, чтобы он попал в тот круг, к которому принадлежал раньше. Тебе никогда не приходило это в голову?

– Ты видишь мое сердце насквозь, – печально произнес Сиддхарта. – Не раз я думал об этом. Но посуди – как могу я оставить его в этом мире, при его и без того не кроткой натуре? Не станет ли он еще более своенравным, не увлечется ли наслаждениями и властью, не повторит ли он все ошибки своего отца? Кто знает, не погибнет ли он окончательно в сансаре?

Еще ярче засияла улыбка перевозчика. Он ласково дотронулся до руки Сиддхарты и сказал:

– Спроси об этом у реки, друг. Послушай, как она будет смеяться над твоим вопросом. Неужели ты серьезно полагаешь, что твои ошибки могут избавить твоего сына от подобных же ошибок? И каким способом ты можешь уберечь его от сансары? Учением, молитвой, увещаниями? Милый, неужели ты совсем позабыл ту историю о сыне брамана Сиддхарте, которую ты когда-то рассказал мне на этом самом месте? Кто уберет саману Сиддхарту от сансары, от греха, от алчности и безумства? Разве уберegli его от всего этого благочестие отца, наставления учителей, его собственное знание, собственные искания? Какой отец, какой учитель мог помешать ему самому переживать свою жизнь, самому познакомиться со всей ее грязью, самому грешить, самому испить горькую чашу и самому же выйти на дорогу? Неужели ты, мой милый, думаешь, что кого-нибудь может миновать эта чаша? И что таким исключением будет именно твой сыночек, потому что ты его любишь, потому что тебе так хотелось бы уберечь его от горя, страдания и разочарования? Но хотя бы ты ради него претерпел смерть, тебе все же не удастся избавить его ни на йоту от ожидающей его участи.

Никогда еще Васудева не говорил так долго. Сиддхарта дружески поблагодарил его, горестно вошел в хижину и долго не находил сна. Друг не сказал ему ничего такого, чего бы он сам не думал и не знал. Но это знание он не в состоянии был применить на деле. Сильнее этого знания была его любовь к мальчику, его нежность, его страх потерять сына. Разве случалось ему до такой степени отдавать кому-нибудь свое сердце, разве когда-нибудь случалось ему любить человека так слепо, с такой болью, не встречая взаимности и чувствуя себя все-таки счастливым этой любовью?

Сиддхарта не мог последовать совету друга – он не в состоянии был расстаться с сыном. Он позволял мальчику командовать над ним, держать себя с ним непочтительно. Он молчал и ждал, каждый день начиная сызнова немую борьбу кротости, безмолвную войну терпения. Молчал и Васудева и ждал, приветливый, всепонимающий, долготерпеливый. По части терпения оба не имели себе равных.

Однажды, когда лицо мальчика особенно сильно напоминало ему Камалу, Сиддхарта внезапно вспомнил слова, когда-то в дни молодости сказанные ему последней: «Ты не способен любить», – сказала она ему – и он согласился и сравнил себя со звездой, а людей-детей – с падающими листьями. И все же в словах Камалы он почувствовал тогда упрек. В самом деле, он никогда не мог всецело, до самозабвения, отдаться другому человеку, никогда не совершал ради другого безумств любви. Он считал себя совершенно неспособным на это, и в этой-то его неспособности – казалось ему тогда – и заключалось то большое различие, которое существовало между ним и людьми-детьми. Но теперь, с тех пор, как у него появился сын, и сам он, Сиддхарта, стал одним из последних; и он страдал из-за другого человека, любил другого человека, весь отдаваясь этой любви, совершал ради нее безрассудства. Теперь и он, наконец, хоть и поздно, испытал эту самую странную, самую могучую из всех страстей, страдал от нее, страдал мучительно, и все же чувствовал себя счастливым, словно в чем-то обновленным, словно чем-то обогащенным.

Конечно, он сознавал, что такая слепая любовь к сыну есть слабость, обыкновенная человеческая страсть, что и она – сансара, не совсем чистый источник, мутная вода. Но вместе с тем он чувствовал, что и такая любовь имеет свою ценность, что она даже необходима, как все вытекающее из глубины человеческого существа. И эту жажду следовало утолить, и эти страдания надо было изведать, и такие безрассудства надо было совершить.

А сын между тем заставлял его совершать их одно за другим – он заставлял отца ухаживать за ним, смиряться перед его капризами. Этот отец не обладал ничем, что могло бы восхищать мальчика или внушать ему страх. Он был добряк, этот отец – добрый, ласковый, кроткий человек, быть может, очень благочестивый, быть может, даже святой. Но все это были такие качества, которые ничуть не пленяли мальчика. Скучно было ему в обществе этого отца, державшего его, как в плену, в своей жалкой хижине. Надоел он ему смертельно, а то, что на каждую скверную проделку мальчика он отвечал улыбкой, на каждое обидное слово отзывался ласковым словом, на каждую злобную выходку отвечал добротой – это-то именно и представлялось ему

самой ненавистной уловкой со стороны старого ханжи. Гораздо приятнее было бы мальчику услышать от отца угрозы, претерпевать наказание.

Но наступил день, когда чувства молодого Сиддхарты прорвались наружу, и он открыто выступил против отца. Последний поручил ему набрать хвороста. Но мальчик не пошел, а остался в хижине с дерзким и взбешенным видом, топнул ногой о землю, сжал кулаки и в неистовой вспышке бросил отцу прямо в лицо всю свою ненависть и презрение.

– Сам ступай за своим хворостом! – крикнул он с яростью. – Я тебе не слуга. Я ведь знаю, почему ты меня не бьешь – ты не смеешь! Я знаю – своей всегдашней кротостью и снисходительностью ты хочешь только унижить меня – это твой способ наказания. Ты хотел бы, чтобы я стал таким же мудрым. А я – так и знай – тебе назло я предпочту стать грабителем и разбойником и попасть в ад, чем стать таким, как ты. Я ненавижу тебя. Ты не отец мне, хотя бы ты десять раз был любовником моей матери.

Гнев и горе так и душили его и вырывались в необузданных и злобных словах, направленных против отца. Потом он убежал и вернулся домой лишь поздно вечером.

Но на другое утро он окончательно исчез. Вместе с ним исчезла и маленькая сплетенная из двухцветной коры корзинка, в которой перевозчики хранили те медные и серебряные монеты, которые они получали как плату за перевоз. Исчезла и лодка. Сиддхарта увидел ее лежащей на другом берегу. Мальчик бежал.

– Я должен пойти за ним, – сказал Сиддхарта, который после вчерашней сцены с мальчиком еще весь дрожал от горя. – Ребенку нельзя ходить одному через лес. Он погибнет. Мы должны соорудить плот, Васудева, чтобы переправиться через реку.

– Мы построим плот, чтобы привести обратно лодку, похищенную мальчиком, – сказал Васудева. – А за ним гоняться не следует, мой друг. Он уже не ребенок, он сам за себя постоит. Он направился в город, и он прав – не забывай этого. Он делает то, что тебе следовало сделать. Он сам заботится о себе, идет своей дорогой. Ах, Сиддхарта, я вижу, что ты страдаешь, но над такими страданиями следовало бы посмеяться. Да ты и сам скоро будешь смеяться над ними.

Сиддхарта ничего не ответил. Он уже взял в руки топор и начал сколачивать плот из бамбука, а Васудева помогал ему, связывая стволы сплетенной из трав бечевой. Потом они переправились на ту сторону, и, так как их унесло вниз течением, то им пришлось тащить плот по берегу против течения.

– Зачем ты захватил топор? – спросил Сиддхарта.

– На случай, если весло пропало, – ответил Васудева.

Но Сиддхарта понял, почему его друг захватил топор. Он опасался, что мальчик забросил или сломал весло, чтобы отомстить и помешать им преследовать его. И в самом деле, в лодке весла не оказалось. Васудева показал рукой на дно лодки и взглянул на друга с улыбкой, словно говоря: «Разве ты не видишь, что тебе говорит твой сын? Разве не видишь, что он не хочет, чтобы его преследовали?» Но он не сказал этого вслух, и принялся обтесывать новое весло. Сиддхарта же попросался с ним, чтобы отправиться на поиски бежавшего, и Васудева не возражал.

Но когда он успел уже пройти лесом значительное расстояние, у Сиддхарты явилась мысль, что напрасны его поиски. Либо, – подумал он, – мальчик уже далеко опередил его и теперь находится в городе, либо же, если он еще в лесу, то наверно будет прятаться от своего преследователя. Продолжая размышлять, он пришел к сознанию, что он, в сущности, совсем не тревожится за сына, что он в глубине души знает, что тот не погиб, что ему в лесу не грозила никакая опасность. И все же он шел безостановочно – уже не для того, чтобы спасти мальчика, но из желания хоть раз еще повидать его. Так он шел до самого города.

Когда поблизости от города он вышел на большую дорогу, то остановился у входа в прекрасный парк, который когда-то принадлежал Камале и где он впервые увидел ее в носилках. В душе его ожили воспоминания о том времени: он увидел себя таким, каким стоял тогда у входа – молодым, обросшим бородой, почти ничем не прикрытым саманой с запыленными волосами. Долго стоял он и смотрел в открытые ворота сада, где монахи в желтых рясах расхаживали между прекрасными деревьями.

Долго стоял он, погруженный в раздумье, созерцая картины прошлого, прислушиваясь к истории своей жизни. Долго стоял он, глядя вслед монахам, но вместо них видел молодого Сиддхарту, видел молодую Камалу гуляющими под высокими деревьями. Он с совершенной ясностью видел самого себя, видел, как его угошала Камала, как он получил ее первый поцелуй, как он гордо и презрительно оглянулся на свое прошлое брамана, как гордо и жадно устремился в мирскую жизнь. Он видел вновь Камасвами, видел своих слуг, пиры, игроков в кости, музыкантов, видел певчую птичку Камалы в клетке, вновь переживал все это, дышал воздухом сансары, и затем снова чувствовал себя старым и утолненным, снова переживал тогдашнее отвлечение и желание покончить с собой, и снова исцелялся священным «Ом».

Простояв долгое время у ворот сада, Сиддхарта понял, как нелепо было то желание, которое привело его сюда. Он понял, что не может ничего сделать для сына, что он не вправе приставать к нему. Слово рана, горела у него глубоко в сердце любовь к бежавшему, но в то же время он чувствовал, что не следует растравлять эту рану, что надо дать ей распуститься в цветок и излучать из себя свет.

Но в этот час рана еще не цвела, еще не излучала света, и потому он оставался печальным. То желание-цель, которое привело его сюда, вослед убежавшему сыну, теперь сменилось чувством пустоты. Печально опустился Сиддхарта на землю, чувствуя, как что-то умирает в его сердце, чувствуя пустоту, не видя перед собой никакой радости, никакой цели. Так сидел он погруженный в себя и ждал. Этому-то он научился у реки: ждать, иметь терпение, прислушиваться. И он сидел и слушал, сидел в пыли проезжей дороги и прислушивался к своему сердцу, которое билось так устало и печально, и ждал какого-нибудь голоса. Не один час просидел он таким образом – он уже не видел никаких картин, он все глубже погружался в пустоту, не видя перед собой никакой дороги. А когда рана начинала гореть особенно сильно, он беззвучно произносил слово «Ом», преисполняясь этого Ом. Монахи в саду увидели его, и так как он уже много часов сидел, съевшись, на одном месте и на его седых волосах накоплась пыль, то один из монахов вышел из сада и положил перед ним два банана. Старик даже не заметил этого.

Из этого оцепенения его пробудила чья-то рука, коснувшаяся его плеча. Он тотчас же узнал это нежное, стыдливое прикосновение и пришел в себя. Он поднялся и приветствовал Васудеву, который последовал за ним. А когда он взглянул в приветливое лицо Васудевы, в его маленькие, словно заполненные одними улыбками морщинки, в ясные глаза, тогда и он улыбнулся. Тут он увидел перед собой положенные монахом бананы, поднял их, один протянул перевозчику, а другой съел сам. После чего молча отправился с Васудевой в лес и вернулся к перевозу. Никто не обмолвился ни словом о том, что произошло в этот день, – никто не произнес имени мальчика, не говорил о его бегстве, не вспоминал про нанесенную им рану. Придя в хижину, Сиддхарта лег на свое ложе, и когда Васудева через некоторое время подошел к нему, чтобы предложить чашку кокосового молока, то нашел его уже погруженным в сон.

ОМ

Долго еще горела рана Сиддхарты. Не раз случалось ему переправлять через реку проезжих, имевших при себе сына или дочь, и ни разу не случилось, чтобы он не почувствовал зависти, не подумал: «Столько людей, столько тысяч людей обладают этим сладостнейшим счастьем – почему же я лишен этого? Ведь и злые люди, воры и убийцы, имеют детей, любят их и любимы ими – один лишь я лишен этого блага». Так просто, так неразумно размышлял он теперь, до такой степени уподобился он людям-детям.

Совсем иными глазами глядел он теперь на людей – менее рассудочно, менее гордо, зато с большей теплотой, с большим интересом и сочувствием. Когда он перевозил людей обычного типа – людей-детей, дельцов, воинов, женщин, то они уже не казались ему чуждыми, как бывало: он понимал их, понимал и сочувствовал их

жизни, руководимой не мыслями и умозрениями, а инстинктами и желаниями. Он чувствовал себя таким же, как они. Уже близкий к совершенству, переживая свое последнее личное горе, он все же смотрел на этих людей, как на своих братьев. Их суетные, мелкие желания и вожделения перестали казаться ему смешными – они были ему теперь понятны, достойны любви, даже уважения. Слепая любовь матери к своему ребенку, глупая слепая гордость отца, восторгающегося воображаемыми достоинствами своего сына, слепая неукротимая страсть к украшениям и жажда восхищенных мужских взоров у молодой тшеславной женщины – все эти ребячества, все эти простые, нелепые, но необыкновенно сильные, живучие и властно требующие удовлетворения инстинкты и страсти уже не казались Сиддхарте ребячеством. Он убедился, что люди живут ими, что ради них они совершают бесконечно многое – предпринимают путешествия, ведут войны, претерпевают всевозможные лишения и страдания. И он научился теперь их любить за это. Он видел жизнь, живое, неуничтожаемое, видел Брахму в каждой из человеческих страстей, в каждом человеческом поступке. Достойными любви и удивления казались ему теперь люди в своей слепой верности, слепой силе и упорстве. Ничем они не стояли ниже, ни одного преимущества не имел над ними ученый и мыслитель, кроме одного, единственного: сознания, сознательной мысли о единстве всего живущего. И подчас у Сиддхарты даже возникало сомнение, действительно ли это знание, эта мысль имеют такую высокую ценность, не представляет ли и это знание одно из ребячеств мыслящих людей-детей. Во всем прочем, на его взгляд, мирские люди стояли не ниже, а часто даже и выше мудреца, подобно тому, как и животные, в своем упорном, не уклоняющемся в сторону стремлении к достижению необходимого им, подчас кажутся стоящими выше людей.

Медленно развивалось и созревало в Сиддхарте сознание, что такое, в сущности, мудрость, в чем заключалась цель его многолетних исканий. Ведь, в конце концов, она сводилась лишь к готовности души, к способности к тайному искусству – во всякую минуту, среди всяких переживаний мыслить, чувствовать, вдыхать в себя единство. Медленно, словно цветок, распускалось в нем это сознание, и на старом детском лице Васудевы он находил отблеск его сияния: гармонию, уверенность в вечном совершенстве мира, улыбку, единство.

Но рана в душе все еще горела – с тоской и горечью вспоминал Сиддхарта своего сына, лелеял в сердце свою любовь и нежность, растревлял свое горе, совершал все безумства любви. Вовек неугасимым казалось это пламя.

И вот однажды, когда рана горела особенно сильно, Сиддхарта, снедаемый тоской, переправился через реку, вышел из лодки и готов был уже отправиться в город, чтобы разыскать сына. Река текла медленно и тихо – это было в сухое время года – но голос ее звучал как-то странно, словно она смеялась! Река звонко и явственно смеялась над старым перевозчиком. Сиддхарта остановился, склонился над водой, чтобы лучше слышать, и в медленно протекавшей воде увидел свое лицо. В этом отраженном лице было нечто, напомнившее ему о чем-то позабытом. Он подумал и вспомнил: это лицо походило на другое, которое он когда-то знал, любил и вместе с тем боялся. Оно походило на лицо его отца, брамана. И Сиддхарта вспомнил, как некогда, юношей, вынудил отца отпустить его к аскетам, как он простился с ним, как ушел и никогда не возвращался. Не заставил ли он своего отца страдать столько же, сколько он страдал теперь из-за своего собственного сына? Не ожидает ли и его, Сиддхарту, такая же участь? Не комедия ли это, не странная и глупая вещь – это повторение, этот бег в роковом круге?

Река смеялась. Да, это так – все повторяется, все, что не было выстрадано до конца и искуплено. Одни и те же страдания повторяются без конца. И Сиддхарта снова сел в лодку и вернулся в свою хижину, вспоминая своего отца и сына, осмеянный рекой, борясь с самим собой, близкий к отчаянию и в то же самое время склонный громко хохотать над собой и всем миром. Увы, еще не зашвела его рана, еще не примирилось сердце с судьбой, еще не засияла радость победы из его страдания. Но все же в нем уже шевелилась надежда, и когда он вернулся в хижину, то почувство-

вал непреодолимое желание раскрыть свою душу перед Васудевой, все показать, все высказать другу, с таким совершенством умевшему слушать.

Васудева сидел в хижине и плел корзинку. Он уже не работал у перевоза; его зрение ослабело, и не только зрение, но и руки. Неизменным и цветущим оставалось только ясное, исполненное благожелательности выражение его лица.

Сиддхарта подсел к старику и начал медленно рассказывать. Все, о чем они до сих пор ни разу не заговаривали, все рассказал он теперь: о том, как он побегал вслед за сыном в город, о своих жгучих страданиях, о своей зависти при виде счастливых отцов, о том, что он сам сознает всю безрассудность своих желаний и о тщетности своей борьбы с ними. Все он поведал своему другу – обо всем он мог теперь свободно говорить, даже о самом мучительном. Он раскрыл перед ним свою рану, рассказал и о своем сегодняшнем бегстве, о своей ребяческой затее отправиться в город и о том, как его высмеяла река.

И в то время как он говорил, а Васудева спокойно слушал, Сиддхарта сильнее, чем когда-либо, ошушал, как благотворно на него действует это свойственное его другу умение слушать. Он чувствовал, как все его страдания, тревоги и тайная надежда переливаются в слушателя, и только последняя возвращается к нему назад. Показать такому слушателю свою рану было все равно, что купать и охлаждать ее в реке, пока жар не спадет и она не сольется с рекой.

И, продолжая говорить и исповедоваться, Сиддхарта все более и более чувствовал, что тот, кто слушает его, уже не Васудева, не человек, что этот неподвижно сидящий слушатель всасывает в себя его исповедь, как всасывает дерево дождевую воду, что этот неподвижно сидящий – сама река, само божество, само вечное. И по мере того, как Сиддхарта переставал думать о себе и о своей ране, сознание происшедшей с Васудевой перемены все более овладевало им. Но чем более он чувствовал эту перемену, тем менее она его удивляла, тем яснее он сознавал, что все это совершенно естественно, что Васудева уже давно, почти всегда был таким, только он, Сиддхарта, не замечал этого, мало того, – что он и сам почти ничем не отличается от Васудевы. Он понял, что видит теперь старого Васудеву в таком свете, в каком народ видит богов, и что это не может долго продолжаться. В своем сердце он уже начал прощаться с Васудевой. Но при всем том он продолжал рассказывать о себе по-прежнему.

Когда он кончил свою исповедь, Васудева поднял на него свои ласковые, несколько ослабевшие глаза, и молча, без слов, озарил его взглядом, полным любви, радости, понимания и знания. Он взял руку Сиддхарты, повел его к их обычному месту на берегу, сел рядом с ним и улыбнулся реке.

– Ты слышал, как она смеялась, – сказал он. – Но ты не все слышал. Давай прислушиваться, ты услышишь еще многое.

Они стали слушать. Мягко звучало тысячеголосое пение реки. Сиддхарта глядел в воду, и в текущей воде перед ним проходили образы: сначала показался отец, одинокий, оплакивающий своего сына, потом он увидел себя, также одинокого, также прикованного цепями тоски к далекому сыну. Прошел и этот сын, такой же, как он, одинокий, бурно стремящийся вперед по горящей стезе своих молодых желаний – все они стремились к одной цели, каждый был словно одержим своей целью, и каждый страдал. Река пела голосом, в котором звучали страдание и страстная тоска. Со страстным нетерпением она стремилась к своей цели, страстной жалобой звучал ее голос.

– Слышишь? – спросил немой взор Васудевы. Сиддхарта кивнул головой. – Слушай лучше! – прошептал Васудева. Сиддхарта напряг все свое внимание. Образ отца, его собственный и образ сына слились вместе; один за другим всплывали образы Камалы, Говинды и других людей, но все расходились, растворялись в реке и, вместе с нею тоскуя, желая, страдая, стремились к цели. И голос реки зазвучал тоскою, жгучей болью, неутолимимым желанием. Сиддхарта видел, как спешила к своей цели река, состоявшая из него, его близких и всех когда-либо виденных им людей. Все волны и воды стремились к какой-нибудь цели – к водопаду, озеру, к стремнине, к морю; все цели достигались, а взамен их являлись новые цели. Вода превращалась в пар, под-

нимавшийся к небу; пар становился дождем и устремлялся вниз, становился источником, ручьем, рекой и снова начинал стремиться, катиться к цели. Но вот звучащий страстным томлением голос реки изменился. Он слышался теперь, горестный и ищущий, но другие голоса присоединились к нему – голоса радости и горя, добрые и злые, смеющиеся и печальные, сотни, тысячи голосов...

Сиддхарта все слушал. Он теперь весь превратился в слух. Словно совершенно пустой, он впитывал в себя все звуки и чувствовал, что теперь и сам изучил вполне искусство слушать. Он и раньше не раз слышал все эти многочисленные голоса в реке, но сегодня они звучали как-то особенно. Уже он не мог больше различать одни голоса от других – радостные от плачущих, детские – от голосов взрослых. Все сливалось теперь в одно – жалобы тоскующих и смех умудренных, крики гнева и стоны умирающих – все составляло одно, все сочеталось вместе, все переплеталось в тысячекратном сплетении. И все вместе – все голоса, все цели, все порывы и страдания, все наслаждения, все доброе и злое – все вместе взятое составляло их. Все вместе взятое было потоком событий, было музыкой жизни. А когда Сиддхарта внимательно прислушивался к реке, к ее тысячеголосой песне, когда он не обращал преимущественного внимания ни на жалобы, ни на смех, не уходил своим Я в один какой-либо голос, а слушал их все одновременно, внимал всему и слышал единство, тогда эта великая песнь, распеваемая тысячами голосов, оказывалась состоящей из одного единственного слова; это было слово Ом – совершенство. «Слышишь?», – снова спросил глазами Васудева. Ярко сияла улыбка Васудеви; она светилась над всеми морщинками его старого лица, как парило Ом над всеми голосами реки. Ярко светилась его улыбка, когда он взглядывал на друга, и так же ярко засияла теперь такая же улыбка и на лице Сиддхарты. Его рана зашвела, его горе стало излучать свет, его Я слилось с вечностью.

В этот час Сиддхарта перестал бороться с судьбой, перестал страдать. На лице его расцвела радость знания, которому не противится уже воля, которое познало совершенство, примирилось с течением событий – с потоком жизни, которое страдает и радуется вместе со всеми, отдается общему потоку, входит в единство.

Когда Васудева поднялся со своего сиденья на берегу и, взглянул в глаза Сиддхарты, увидел в них радостный свет знания, он слегка, со свойственной ему нежной и осторожной манерой, коснулся рукой его плеча и сказал:

– Я ждал этого часа, мой милый. Теперь, когда он наступил, позволь мне уйти. Долго я ждал этого часа, долго я был перевозчиком Васудеви. Теперь довольно. Прощай, хижина, прощай, река, прощай, Сиддхарта!

Сиддхарта низко склонился перед уходящим.

– Я это знал, – тихо проговорил он. – Ты уходишь в леса?

– Я ухожу в леса, я ухожу в Единство! – сказал Васудева с сияющим лицом.

И все с тем же сияющим видом он ушел. Сиддхарта провожал его глазами. С глубокой радостью и глубокой серьезностью он смотрел ему вслед, видел его полную мира походку, его озаренную сиянием голову, его светящуюся фигуру.

ГОВИНДА

Вместе с другими монахами Говинда провел однажды время отдыха в парке, подаренном куртизанкой Камалой ученикам Готама. Тут он не раз слышал об одном старом перевозчике, жившем на расстоянии одного дня пути по берегу реки. Многие считали его мудрецом. Когда Говинда опять пустился в странствие, то направился к перевозу, чтобы иметь возможность познакомиться с перевозчиком. Ибо – хотя он всю свою жизнь провел в строгом согласии с уставом, хотя, благодаря своему возрасту и своей скромности, пользовался большим уважением со стороны более молодых монахов, но в сердце его еще не улеглись тревога и искания.

Придя к реке, он попросил старика перевести его и, когда они вышли из лодки на другом берегу, он сказал перевозчику: «Много добра ты делаешь нам, монахам и

странникам; многих из нас ты уже перевозил. Не принадлежишь ли и ты, перевозчик, к числу ищущих истинного пути?»

На что Сиддхарта, улыбаясь своими старыми глазами, ответил:

– Ты называешь себя ищущим, о, почтеннейший, но ведь ты уже в преклонном возрасте и носишь одеяние монахов Готама.

– Стар я, – ответил Говинда, – а искать никогда не переставал. И не перестану – так уж, видно, мне суждено. И ты, сдаётся мне, искал: не скажешь ли ты мне чего-нибудь, почтеннейший?

– Что же я могу сказать тебе, достопочтенный? Разве то, что ты слишком много ищешь; из-за чрезмерного искания ты не успеваешь находить.

– Как так? – спросил Говинда.

– Если кто-нибудь очень усердно ищет, – сказал Сиддхарта, – то глаз его становится нечувствителен ко всему, помимо того, что он разыскивает, и тогда он ничего не замечает, ничего не воспринимает, потому что его мысль всегда занята искомым, потому что у него есть цель, и он одержим этой целью. Искать – значит иметь цель. Находить же – значит быть свободным, оставаться открытым для всяких восприятий, не иметь цели. Ты, достопочтеннейший, видно, и в самом деле принадлежишь к числу искателей, ибо, поглощенный своей целью, не замечаешь многого, что у тебя перед глазами.

– Я не совсем понимаю тебя, – сказал Говинда, – что ты хочешь сказать?

– Однажды, о достопочтеннейший, много лет тому назад, ты уже был в этих местах. Ты увидел на берегу реки спящего человека и остался подле него, чтобы охранять его сон. Ты знал спящего, о Говинда, а все-таки не узнал.

Изумленный, словно зачарованный, глядел монах в глаза перевозчика.

– Неужели ты Сиддхарта? – спросил он неуверенным голосом. – Я бы и на этот раз не узнал тебя, Сиддхарта. Как я рад, что вижу тебя еще раз! Ты очень изменился, друг. Так ты теперь стал перевозчиком?

С ласковой улыбкой ответил Сиддхарта:

– Да, я стал перевозчиком. Некоторым людям, Говинда, приходится часто менять свой облик, надевать всяческое платье – я из числа этих людей, милый. Добро пожаловать, Говинда, переночуй сегодня в моей хижине.

Говинда провел ночь в хижине Сиддхарты и спал на ложе, принадлежавшем Васудеве. Он осыпал вопросами друга своей молодости, и Сиддхарта должен был рассказать ему многое из своей жизни.

На другое утро, перед тем, как пуститься снова в путь, Говинда – не без колебания – обратился к своему другу со словами:

– Прежде чем продолжать свой путь, Сиддхарта, позволь задать тебе еще один вопрос: есть ли у тебя какое-либо учение? Есть ли у тебя какая-нибудь вера или знание, которым ты следуешь, которые помогают тебе жить и жить по правде?

Ему ответил Сиддхарта:

– Ты знаешь, мой милый, что я еще молодым человеком, когда мы жили у аскетов в лесу, перестал доверять учителям и учениям и повернулся к ним спиной. Я и теперь таких же взглядов. Тем не менее, у меня с того времени было много учителей. Долгое время моим учителем была одна прекрасная куртизанка. Еще были у меня учителями один богатый купец и несколько игроков в кости. Однажды моим учителем был странствующий ученик Будды. Он сидел подле меня, когда я заснул в лесу, во время странствия. И от него я кое-чему научился, и ему я благодарен, весьма благодарен. Но больше всего я учился у этой реки и у моего предшественника Васудевы. Это был совсем простой человек, он не был мыслителем, но он знал то, что знать необходимо, так же хорошо, как и сам Готама. Он и сам был Совершенный, святой.

Говинда же сказал:

– Ты, кажется, и поныне еще любишь немного насмехаться. Я верю тебе, Сиддхарта, и понимаю, что у тебя были многие учителя. Но нет ли у тебя самого если не учения, то хотя известных мыслей, известных познаний, которые выношены тобой одним и помогают тебе жить? Если бы ты поделился ими со мною, то порадовал бы мое сердце.

– Да, – ответил Сиддхарта, – у меня бывали свои мысли, от времени до времени даже являлись откровения. Иногда – в течение часа или целого дня – я чувствовал в себе знание, точь-в-точь как ты чувствуешь жизнь в своем сердце. Разные это были мысли, но мне трудно было бы передать их тебе. Вот, к примеру, одна из мыслей, принадлежавших мне лично: мудрость непередаваема. Мудрость, которую мудрец пытается передать другому, всегда смахивает на глупость.

– Ты шутишь? – спросил Говинда.

– Я не шучу. Я говорю то, в чем убедился на деле: передать можно другому знание, но не мудрость. Последнюю можно найти, проводить в жизнь, ею можно руководиться; но передать ее словами, научить ей другого – нельзя. Еще когда я был юношей, у меня временами мелькала эта мысль: она-то и заставила меня уйти от учителей. А вот еще одна мысль, которую ты, Говинда, примешь снова за шутку или за глупость, но которую я считаю лучшей из своих мыслей. Он гласит: по поводу каждой истины можно сказать нечто совершенно противоположное ей, и оно будет одинаково верно. Дело, видишь ли, в том, что истину можно высказать, облечь в слова лишь тогда, когда она односторонняя. Односторонним является все, что мыслится умом и высказывается словами – все односторонне, все половинчато, во всем не хватает целостности, единства. Когда возвышенный Готама говорил в своих проповедях о мире, то должен был делить его на Сансару и Нирвану, на призрачность и правду, на страдание и искупление. Иначе и нельзя. Нет иного способа для того, кто хочет поучать других. Но сам мир, все сущее вокруг нас и в нас самих, никогда не бывает односторонним. Никогда человек или деяние не бывает исключительно Сансарой или исключительно Нирваной, никогда человек не бывает ни совершенным святым, ни совершенным грешником. Нам представляется так, потому что мы находимся под влиянием ложного представления, будто время есть нечто действительно существующее. Время не существует, Говинда, я часто, очень часто убеждался в этом. А если время и есть нечто действительно существующее, то грань, отделяющая мир от вечности, страдание от блаженства, зло от добра, оказывается также призрачной.

– Как так? – испуганно спросил Говинда.

– Слушай, мой милый, слушай внимательно. Грешник, вроде меня или тебя, конечно грешник и есть, но когда-нибудь он будет снова Брамой; когда-нибудь он достигнет Нирваны, будет Буддой. Так вот, заметь себе: это «когда-нибудь» – только ложное представление, образное выражение. Грешник не есть человек, еще только находящийся на пути к совершенству Будды; он не находится в какой-нибудь промежуточной стадии развития, хотя наше мышление не в состоянии представлять себе эти вещи. Нет, в грешнике уже теперь, уже сейчас живет будущий Будда, его будущее уже налично. И в нем, и в тебе, и в каждом человеке ты должен почитать грядущего, возможно, скрытого Будду. Мир, друг Говинда, не есть нечто совершенное или медленно подвигающееся по пути к совершенству. Нет, мир совершенен во всякое мгновение; каждый грех уже несет в себе благодать, во всех маленьких детях уже живет старик, все новорожденные уже носят в себе смерть, а все умирающие – вечную жизнь. Ни один человек не в состоянии видеть, насколько другой подвинулся на своем пути; в разбойнике и игроке ждет Будда, в брамане ждет разбойник. Путем глубокого созерцания можно приобрести способность отрешаться от времени, видеть все бывшее, сущее и грядущее в жизни, как нечто одновременное, и тогда все представляется хорошим, все совершенно, все есть Браман. Оттого-то все, что существует, кажется мне хорошим: смерть, как и жизнь, грех, как и святость, ум, как и глупость – все должно быть таким, как есть. Нужно только мое согласие, моя добрая воля, мое любовное отношение – чтобы все оказалось для меня хорошим, полезным, неспособным повредить мне. На собственном теле и на собственной душе я убедился в том, что мне нужен был грех, что и сладострастие, и стремление к земным благам, и тщеславие – мне нужны были в такой же степени, как и мое постыдное отчаяние, дабы наконец отказаться от противодействия миру, дабы научиться любить его таким, как он есть, не сравнивая его с каким-то желательным, созданным моим

воображением миром, с придуманным мною видом совершенства. Вот, о Говинда, некоторые из моих мыслей, до которых я додумался.

Сиддхарта нагнулся, поднял с земли камень и взвесил его на руке.

– Вот камень, – сказал он, играя последним. – Через некоторое время он, может быть, превратится в прах, а из земли станет растением, животным или человеком. В прежнее время я бы сказал: «Этот камень – только камень. Он не имеет никакой ценности, он принадлежит миру Майи. Но так как в круговороте перевоплощений он может стать человеком или духом, то я и за ним признаю ценность». Так, вероятно, я рассуждал бы раньше. Ныне же я рассуждаю так. Этот камень есть камень; он же и животное, он же и бог, он же и Будда. Я люблю и почитаю его не за то, что он когда-нибудь может стать тем или другим, а за то, что он давно и всегда есть то и другое. Именно за то, что он камень, что он теперь, сегодня представляется мне камнем – именно за то я люблю его и вижу ценность и смысл в каждой из его жилок и скважин, в его желтом или сером цвете, в его твердости, в звуке, который он издает, когда я постучу в него, в сухости или влажности его поверхности. Бывают камни, которые на ощупь словно масло или мыло; другие напоминают листья, третьи песок; каждый представляет что-нибудь особенное, каждый молитвенно произносит Ом на свой манер, каждый есть Брами, и в то же время, в той же самой степени – камень, маслянистый или сочный. И это-то именно нравится мне; это-то и кажется мне удивительным, достойным благоговения. Но довольно об этом. Слова вредят тайному смыслу. Стоит только высказать какую-нибудь мысль вслух, как она уже получает несколько иной характер, звучит немного фальшиво, немного глупо. Впрочем, и это хорошо и нравится мне. Пусть то, что один человек считает своим сокровищем и мудростью, звучит для другого, как глупость – я и против этого ничего не имею.

Безмолвно выслушал его Говинда.

– Почему ты выбрал для примера камень? – спросил он нерешительно, после некоторого раздумья.

– Я сделал это случайно. А впрочем – я, может быть, и хотел тебе показать, что я одинаково люблю и камень, и реку, и все вещи, на которые мы смотрим и от которых мы можем чему-нибудь научиться. Камень я могу любить, Говинда, так же, как и дерево или кусок коры. Это вещи, а вещи можно любить. Но слова я любить не могу. Оттого-то всякие учения ничего для меня не стоят; они не обладают ни твердостью, ни мягкостью, у них нет цветов, запаха и вкуса, нет граней – они представляют одни лишь слова. Быть может, именно это, именно обилие слов мешало тебе обрести душевный мир. Ведь искупление и добродетель, Сансара и Нирвана – также одни только слова. Нет такой вещи, которую можно назвать Нирваной. Есть только слово Нирвана.

– Нирвана не одно только слово, друг мой, – заметил Говинда. – Это мысль.

– Мысль – пожалуй, – продолжал Сиддхарта. – Только признаюсь тебе, мой милый: я не вижу большого различия между мыслями и словами. Откровенно говоря, я не придаю особого значения и мыслям. Для меня важнее вещь. Здесь, на этом переезде, например, моим предшественником и учителем был святой человек, который много лет верил в одну только реку, другой религии у него не было. Он заметил, что река имеет голос, и стал прислушиваться к нему. Этот голос стал его учителем и руководителем, сама река представлялась ему божеством. В течение многих лет он и не подозревал, что каждый ветерок, каждое облако, каждая птица или жук в такой же степени божественны, столько же знают и могут научить, как почитаемая им река. Но к тому времени, как этот святой ушел в леса, он уже знал все, знал больше, чем я или ты, и без помощи учителей и книг – только потому, что верил в реку.

Говинда же возразил:

– Но разве то, что ты называешь «вещами», представляет что-нибудь действительно существующее, имеет реальность? Не являются ли они только обманчивыми, призрачными образами Майи? Разве твой камень, твое дерево, твоя река – реально существующие вещи?

– И это меня мало тревожит, – ответил Сиддхарта. – Пусть вещи имеют только кажущееся бытие. Но ведь в таком случае и мое бытие есть только кажущееся – значит, в том и в другом случае, они одинаково сродни мне. Оттого-то я и отношусь

к ним с любовью и уважением. Оттого-то я и могу любить их. А вот наконец и мое учение, над которым ты, наверное, будешь смеяться: Любовь, о Говинда, по-моему важнее всего на свете. Познать мир, объяснить его, презирать его – все это я представляю великим мыслителем. Для меня же важно только одно – научиться любить мир, не презирать его, не ненавидеть его и себя, а смотреть на него, на себя и на все существа с любовью, с восторгом и уважением.

– Это я понимаю, – сказал Говинда. – Но именно это Возвышенный признал заблуждением. Он предписывает доброжелательность, терпимость, кротость, снисходительность, но не любовь. Он запретил нам отдавать наше сердце любви к земному.

– Знаю, – сказал Сиддхарта, и улыбка засияла на его лице. – Я знаю это, Говинда. Вот мы и забрели с тобой в дебри мнений, в спор из-за слов. Не могу отрицать, мои слова о любви как будто находятся в противоречии со словами Готама. Оттого я и не доверяю словам. Но это противоречие только кажущееся. Я знаю, что я совершенно согласен с Готамой. Возможно ли, чтобы не знал любви тот, кто познав всю бренность и ничтожность человеческого бытия, тем не менее настолько любил людей, что посвятил долгую, тяжелую жизнь исключительно тому, чтобы помочь им, просветить их. И в нем, в твоём великом учителе, дело мне милее слов, его жизнь и дела важнее его речей, движение его руки важнее его мнений. Не в словах и мыслях вижу я его величие, а в делах и в жизни.

Долго молчали оба старика. Наконец Говинда произнес с прощальным поклоном:

– Благодарю тебя, Сиддхарта, за то, что ты высказал мне некоторые из своих мыслей. Они кажутся мне несколько странными, я не все сразу и понял. Но как бы то ни было, я благодарен тебе и желаю тебе спокойных дней.

Про себя же он подумал: «Странный человек – этот Сиддхарта! Странные у него мысли, и нелепо звучит его учение. Не таково чистое учение Возвышенного. Последнее яснее, чище, понятнее, в нем нет ничего странного, нелепого или смешного. Но совсем иными, не похожими на его мысли кажутся мне руки и ноги Сиддхарты, его глаза, его лоб, его дыхание, его улыбка, его поклон и походка. Ни разу с тех пор, как возвышенный Готама ушел в Нирвану, ни разу не встречал я человека, при виде которого я бы почувствовал – вот святой. Один только Сиддхарта внушает мне такое чувство. Пусть его учение звучит странно, пусть его слова кажутся нелепыми – но его взгляд и рука, его кожа и волосы – все в нем сияет такой чистотой, таким спокойствием, такой ясностью, кротостью и святостью, каких я не видел ни у кого из людей с тех пор, как умер последней человеческой смертью наш Возвышенный Учитель.

С такими мыслями в голове, с противоречивым чувством в сердце, Говинда еще раз склонился перед Сиддхартой. Побуждаемый любовью, он низко склонился перед спокойно сидящим.

– Сиддхарта, – сказал он, – мы с тобой уже старики. Вряд ли мы еще раз увидим друг друга в этом образе. Я вижу, возлюбленный, что ты обрел покой. Я же, признаюсь, его не нашел. Скажи мне, почитаемый, еще одно слово, напутствуй меня чем-нибудь таким, что было бы доступно моему уму. Тяжел и мрачен бывает по временам мой путь, о Сиддхарта!

Сиддхарта молчал и смотрел на него со своей всегдашней тихой улыбкой. Говинда же не спускал глаз с его лица. Он глядел на него робко, с тоской. Страдание и вечное, не удовлетворенное искание читались в его взоре.

Сиддхарта видел это и улыбался.

– Нагнись ко мне! – прошептал он на ухо Говинде. – Нагнись ко мне! Так, еще ближе! Совсем близко! Поцелуй меня в лоб, Говинда.

Но когда Говинда, изумленный и все же влекомый великой любовью и предчувствием, исполнил желание друга, в ту минуту, когда, низко склонившись, коснулся губами его чела, произошло нечто удивительное. В то время как его мысль была все еще занята странными словами Сиддхарты, в то время как он тщетно и против воли пытался представить себе время несуществующим, а Сансару и Нирвану – как нечто единое, в то время как в нем боролись некоторое презрение к словам друга с необъятной любовью и благоговением к его личности, с ним произошло следующее.

Лицо его друга, Сиддхарты, куда-то ступевалось. Вместо него он увидел перед собой другие лица, множество лиц, длинный ряд, катящийся поток из сотен, тысяч лиц. Все они проходили и исчезали, и в то же время все, казалось, существовали одновременно, все непрерывно менялись и возобновлялись и, тем не менее, были Сиддхартой. Он видел перед собой голову умирающей рыбы – карпа с бесконечно-страдальчески открытым ртом, с угасающим взглядом – он видел лицо новорожденного ребенка, красное и сморщенное, искривленное плачем – он видел лицо убийцы, видел, как последний вонзает нож в тело человека – и тут же видел этого преступника связанным и упавшим на колени, и рядом палача, отрубаящего ему голову одним взмахом меча. Он видел тела мужчин и женщин, обнаженные, в позах и судорогах неистовой страсти – видел распростертые трупы, тихие, холодные, пустые – видел головы разных зверей: кабанов, крокодилов, слонов, быков, птиц – видел богов: Кришну, Агни. Все эти лица и фигуры он видел в тысячах сочетаний, то любящими и помогающими друг другу, то ненавидящими и уничтожающими друг друга, то вновь возрождающимися. Каждое было воплощенным стремлением к смерти, было страстным, мучительным признанием бренности, и ни одно, однако, не умирало; каждое только менялось, рождалось вновь, получало новое лицо, и все это без всякого промежутка во времени между тем и другим видом. Все эти образы и лица то находились в покое, то текли, рождали друг друга, плыли куда-то и сливались вместе, а над всем этим потоком постоянно лежало что-то тонкое, бесплотное и все-таки имеющее субстанцию, словно тонкое стекло или яйцо, словно прозрачная кожа, или скорлупа, или маска из воды, и эта маска улыбалась, и этой маской было улыбающееся лицо Сиддхарты, которого он, Говинда, в эту самую минуту касался своими губами. И эта улыбка маски, эта улыбка единства над стремительным потоком образований, эта улыбка одновременности над тысячами рождений и смертей, эта улыбка Сиддхарты была точь-в-точь такая же, как та тихая, тонкая, непроницаемая, не то благосклонная, не то насмешливая, мудрая, имеющая тысячу оттенков, улыбка Готамы Будды, которую он, Говинда, сотни раз созерцал с благоговением. Так, – признавал Говинда, – могут улыбаться только Совершенные.

Уже не сознавая, существует ли время, продолжалось ли это созерцание один миг или целый век, не зная даже, существует ли действительно Сиддхарта или Готам, Я и Ты, словно пронзенный насквозь божественной стрелой, от которой сладка и рана, до глубины души потрясенный и очарованный – Говинда еще с минуту стоял, склонившись над тихим лицом Сиддхарты, которое он только что поцеловал, которое только что было ареной всевозможных образований, зарождений и существований. Теперь, после того, как под его поверхностью снова сомкнулась глубина множественности, это лицо приняло свое прежнее выражение. Сиддхарта опять улыбался – тихой, чуть заметной, кроткой улыбкой, не то исполненной доброты, не то насмешливой – точь-в-точь, как улыбался он, Возвышенный.

Низко поклонился ему Говинда. Слезы, которых он даже не чувствовал, струились по его старому лицу. Ярким пламенем горело в его сердце чувство глубочайшей любви, смиреннейшего поклонения. Низко-низко поклонился он – до самой земли – перед неподвижно сидящим, чья улыбка напомнила ему все, что он когда-либо любил в своей жизни, что когда-либо в его жизни было для него дорого и свяшенно.

Конец

Перевод Б. Прозоровской

проза

Назар ЭШОНКУЛ

Люди войны

Повесть*

Мирзакул был пышущий здоровьем мужчина с привлекательной внешностью. Он нравился многим женщинам. Поначалу для Анзират его внимание к ней казалось непонятным, ведь вокруг было столько молодых женщин и девушек.

Мирзакул же очень благосклонно относился к ней. Однажды выделил ей пшеничную муку, являющуюся во время войны большой редкостью. Или постоянно предлагал ей свою помощь, повторяя: «Принимай мою помощь, не как от меня, а как от правительства, помощь семье погибшего фронтовика».

Зимы в этих краях суровые, дети часто болели и плакали от голода. В доме не было даже ячменного хлеба, не говоря уже о ржаном, а помощи ждать было неоткуда.

В начале марта Ходжар простудилась. Анзират бегала по дворам и со слезами на глазах просила у соседней дрова, чтобы в доме растопить печь. Соседи ей помогали, чем могли. Они привели единственного на всю округу фельдшера, который, осмотрев ребенка, сказал:

– Лекарств у меня нет, сама знаешь – идет война. Все для фронта. Было бы желательно дать ребенку куриный бульон, может помочь.

Анзират была в отчаянии – где она достанет хотя бы одну курицу?

Бедная женщина не спала две ночи.

– Воды... дайте воды, – просила Ходжар, – пить хочется...

На третий день девочка уже не открывала глаза... И тогда Анзират решила пойти в контору к Мирзакулу за помощью. «А если и он не поможет, то тогда придется пешком идти к отцу», – подумала она.

Но Мирзакул встретил ее любезно, а услышав о ее горе даже стал упрекать:

– Почему сразу не пришла? – он сердито покачал головой. – Если не сейчас, то когда же помогать семье фронтовика? Эх вы, женщины, ничего не знаете, не понимаете, всему вас надо учить...

Мирзакул отправил конюха куда-то, и тот откуда-то раздобыл курицу, которую передал Анзират.

Тронутая такой заботой, она расплакалась:

– Дай бог вам здоровья! Чтобы дети ваши...

– Ладно, ладно, перестань, это моя обязанность, к тому же ты мне... не чужая. Теперь иди домой, может... и завтра раздобудем еще одну птицу, – сказал он, а по-

*Продолжение. Сокращенный и переработанный литературный вариант повести подготовлен редакцией. Подстрочный перевод И. Чориева.

том, чуть подумав, добавил: – Нет, сюда не приходи, а зайди лучше в сторожку к Халилу, конюху нашему. Я туда курицу принесу. Все, иди с богом. Только не плачь, что люди скажут!

Анзират, прибежав домой, зарезала курицу. (По здешним обычаям женщинам не полагалось резать животных – это считалось грехом). Сварила бульон и целый день кормила им больную дочь. К полуночи у Ходжар, наконец, спала температура...

На следующий день Анзират, счастливая от того, что ее дочь выздоравливает опять пошла к Мирзакулу, чтобы его поблагодарить.

Когда Анзират приблизилась к хижине Халила, то заметила, что дверь была приоткрыта.

– Халил ака! – позвала она.

Никто не откликнулся. Тогда она осторожно заглянула внутрь и вдруг увидела Мирзакула.

«Почему он здесь? Почему не вышел, когда я позвала Халила? И сидит здесь, как у себя дома... Не знала, что он дружит с человеком, с которым мало кто общается. Странно, и коня его поблизости нет...», – все это пронеслось у нее в голове.

– Заходи, заходи. Я здесь дожидаюсь... Халила. Что-то он не идет, – смущенно улыбнулся Мирзакул. Анзират, немного подумав, переступила порог.

– Садись. Я тут немного задремал... Тебе не холодно? Сейчас печь растоплю.

Анзират, взглянув на него, сама предложила:

– Давайте, я сама. Где здесь дрова?

– Ну, если сама так хочешь! Они... во дворе, под навесом, кажется, – Мирзакул, не отрываясь смотрел на нее покрасневшими глазами. Он был гладко побрит.

«Сейчас растоплю ему печку, возьму курицу и поскорее пойду домой», – подумала она.

Когда Анзират растопила печку, он встал и достал связанную курицу из сумки, висевшей у двери.

– Будешь уходить, заберешь. Ну, как дочка? Сварила ей суп?

– Спасибо. Если бы не вы, то...

– Теперь всегда буду помогать тебе, – сказал он с нежностью, глаза его блестели. – Садись сюда, ко мне поближе. Не бойся, не укушу.

Анзират, опустив глаза ответила:

– Сейчас уйду я. Сами знаете, дочка... дети одни остались.

– Не торопись... Знаешь, давно хочу сказать тебе... Анзират... ты мне нравишься. Но еще хотел сказать, что мне не нравится, что ты еле сводишь концы с концами.

– Живу как все...

– А почему ты должна жить как все? – Мирзакул вплотную приблизился к Анзират. – Теперь все будет по-другому.

– Спасибо и за это. Не знаю, как вас отблагодарить...

– С такой красотой, как у тебя, ты заслуживаешь совсем другой жизни!

У Анзират участилось дыхание.

– Что вы... я пойду, хорошо? – сказала она, не поднимая глаз. Сердце ее сильно билось.

Она направилась к двери, но Мирзакул неожиданно загородил ей дорогу:

– Зачем так быстро? Хотела же меня отблагодарить! Вот, теперь настало как раз то время... Или боишься? Муж у тебя погиб на фронте, теперь ты свободна как птица. Ну, иди же ко мне, пока Халил не пришел...

Анзират от испуга и неожиданности попятилась назад, а Мирзакул, не отрывая от нее взгляда, приблизился к ней. Чтобы остановить его, ей хотелось сказать что-нибудь резкое или оскорбительное, но она не успела. Мирзакул заключил ее в свои объятия и стал покрывать ее лицо поцелуями.

Анзират молча сопротивлялась, а кричать не смела – могли услышать люди.

Вдруг Мирзакул, легко подняв ее на руки, понес к лежанке. Вырваться из его объятий было не так просто.

– Не дури, – шепнул он страстно ее целуя. – Женюсь на тебе, дам развод жене, поверь!

Анзират понимала, что ее хотят обесчестить, пользуясь ее плачевным положением. От обиды она долго сопротивлялась и царапалась. Мирзакул был неумолим...

Бежала она домой и всю дорогу бога молила, чтобы только ее никто не увидел. На ее счастье шел мелкий дождь и все односельчане сидели по домам, а те, кого она увидела были далеко от нее. Дома Холмат и Ходжар с радостным криком бросились к ней, а она в ужасе отпрянула от них.

В ее глазах застыла бесконечная тоска глубоко оскорбленной души. Она чувствовала себя грязной, недостойной их и не посмела их обнимать и целовать.

После всего произошедшего Анзират обуревали самые противоречивые мысли и чувства. То она чувствовала себя самой несчастной женщиной, а то вдруг вспоминались ей жаркие объятия Мирзакула, и тогда ее бросало в жар от этих воспоминаний. Этот мужчина разбудил в ней – в молодой и здоровой женщине, истосковавшейся по мужской любви и ласке, – женщину, жаждущую счастья. Мысли о детях и об их будущем страшно волновали Анзират. Ведь если все узнают о ее связи с Мирзакулом, она покроет позором свою семью. Этого она также не могла допустить. Что же ей делать? Этот вопрос неотступно мучил ее. И она решила снова пойти к нему, чтобы объясниться.

Встретившись с Мирзакулом, Анзират напрямик спросила его о своей и его дальнейшей судьбе. И задала вопрос, который ее все время мучил: сможет ли он жениться на ней, если у него есть законная жена и шестеро детей.

Мирзакул понял, что она не доверяет ему и решил ей открыться. Он сказал, что полюбил ее. Рассказал о своей судьбе, как женили его, когда ему не исполнилось и восемнадцати лет. Только после свадьбы он увидел свою жену. Она оказалась симпатичной смуглой девушкой с длинными косичками. Ей было шестнадцать лет. Мирзакул был счастлив... Через десять месяцев у молодоженов родился сын, а через год – дочка. Так и жили – вроде счастливо и дети рождались. Но несчастье пришло в их дом.

Частые роды ослабили организм женщины. После рождения шестого ребенка она тяжело заболела. Около месяца лечилась в больнице. Вернулась домой больной. Теперь ей было не до любовных утех.

Мирзакул понимал ее и жалел, а еще он очень любил детей.

Но жизнь продолжается, и в глубине души он все же хотел во второй раз жениться, но негласно, чтобы жена и другие люди (например, начальство) не знали об этом. Он ведь имел возможность содержать и свою семью, и другую женщину.

Ему понравилась Анзират. Он верил, что жена наверняка даст согласие жениться на ней, ведь она занята только детьми и лечением, которому нет конца.

А люди? Ничего не скажут, наоборот, поймут – ведь он поможет спасти другую семью. Притом Мирзакул еще добавил, что разве это редкость, когда мужчины женятся на вдовах. Так он убедил Анзират в том, что в их отношениях нет ничего предосудительного.

Прошло несколько месяцев, в течение которых они почти ежедневно встречались. Как-то раз он предупредил Анзират, что в скором времени они будут жить вместе, и ей надо готовиться к переезду. Но этому не суждено было исполниться. Пришло известие о том, что Нормат вернулся с войны!

Анзират около полуночи прибежала Мирзакулу, вся в слезах, убитая горем. Он испугался, увидев ее.

Анзират кинулась к нему, рыдая.

– Горе мне, грешной! Муж возвращается! Да, да! И почему только пришла бумага о его смерти, оказывается он жив! Теперь все кончено между нами! Спасибо вам за все! Без вас мы бы пропали! А теперь... Теперь мы не должны больше встречаться! Теперь обо всем нужно забыть! Вернитесь к своей семье! Я знаю, вы очень любите своих детей! Прощайте!

Мирзакул выслушал ее не перебивая: ему не верилось, что все его планы разрушаются. О, как он не любил, когда ему мешали!

Тогда Анзират еще не знала, что беременна.

* * *

После этих событий Мирзакул и Анзират долгое время не видели друг друга. Но однажды он встретил ее у реки, когда та разбивала тонкий слой льда, чтобы набрать воды. Вечерело.

Увидев его, она испугалась и выронила ведро. Со страхом смотрела она на Мирзакула, сидевшего на коне.

– Привет, Анзират, – ласково проговорил он. – Ну, ты рада... что вернулся муж? – Анзират молчала. – Кажется, – продолжал он, оглядывая ее с ног до головы, – обо мне уже забыла. А я каждый день думаю о тебе...

Анзират умоляюще прошептала:

– Уходите... нас могут увидеть...

– Подожди... не гони... я еще не забыл своего обещания. Слушай... брось его! Сама же хотела, чтобы я на тебе женился! Помнишь?

– Не надо! Тогда я думала, что он погиб, а теперь, когда вернулся... к чему все это? У вас своя семья, у меня... своя. Оставьте меня в покое, очень прошу вас! И так мне плохо, совестно перед ним...

Мирзакул, прыгнув с коня, подошел ближе и схватил Анзират за руку:

– Зачем он тебе такой? Стоит ли с ним возиться? Мука на всю жизнь...

– Пусть! – поспешно перебила его Анзират. – Это уже... не ваша забота! – начала сердиться она.

– Хочешь... – не отступал Мирзакул. – Тебя... отоблю у него?

Он схватил ее за руки:

– Поженимся как полагается, по всем правилам обычаев и закона. Только скажи: «Да»! Он не посмеет сопротивляться! Сердцу не прикажешь! Или, лучше, прямо скажи ему...

– Нет, нет! – сказала Анзират, стараясь высвободить руку. – Я уже говорила вам!

– Я не могу без тебя, – у Мирзакула задрожал голос.

– Хватит! Не хочу больше ничего слышать! – взяв ведро, она побежала, спотыкаясь на ходу, потом быстро оглянулась. – Пошадите меня! Ради моих... и своих детей!

Он наблюдал, как она исчезает за холмом, потом, взяв за узду коня, медленно пошел в Теракли, в свою деревню.

Он злился, потому что трудно ему было смириться с мыслью о том, что она предпочла не его.

«Неужели я влюбился в нее?! Или, может быть, просто я не ожидал, что она откажется от меня и это меня может задеть? Что могло мне помешать, если бы не Нормат? Ничто и никто! Что же делать?»

Так он размышлял, а в голову лезли нехорошие мысли: «Может, его надо... убрать с дороги? Но каким образом? Неужто убить? Разве я могу так сделать! И за что? Только за то, что вернулся живым к жене, семье... Глупо!»

* * *

Жена Мирзакула сильно похудела. И у него появилось недоброе предчувствие, что она долго не протянет. А что будет с детьми! Он не раз встречал людей, оставшихся вдовцами с детьми.

«Неужели и мне судьба готовит такую же участь? Выдержу ли я? Необходимо жениться на Анзират. Она порядочная женщина – сам лучше всех знаю, скромная, любящая детей! Как она тогда плакала, прибежав ко мне в контору, когда дочка простудилась! Разве такая женщина сможет притеснять моих детей... Она аккуратная, хорошая хозяйка и, самое главное, она не легкомысленная, как некоторые бабы!

Нет, надо срочно что-то предпринимать!» – думал Мирзакул.

В дальнейшем жизнь его столкнула с такими обстоятельствами, что он уже не раздумывая решил погубить Нормата.

Но его замысел провалился.

Погибшего Хатама похоронили на месте. Капитан не хотел передавать труп семье погибшего. Всех заставили расписаться в документе констатирующем его смерть.

Мирзакул же теперь решил искать другие «лазейки», чтобы заполучить Анзират.

Но пока он прикидывал так да эдак, неожиданно начались кадровые проверки и его личное дело оказалось на рассмотрении комиссии. Вот тогда и «всплыли» его незаконные действия с отправкой на фронт его однофамильца.

Его друга из военкомата наказали, в течение суток отправили на фронт, причем, на передовую линию.

От суда и тюрьмы Мирзакула спасло только то, что он усердно служил властям и они оформили его документы как «добровольца», уходящего на фронт, взяв его заявление.

Его сняли с работы. Затем он узнал, что Нормат избил свою жену и что Анзират беременна не от мужа. И эта женщина ни словом не обмолвилась о нем. Нормат же ушел из дома.

Мирзакул теперь терзался мыслью о том, что она всю жизнь будет презирать его, ведь он сломал ей жизнь. Хотелось одного – перед отъездом на фронт попросить у нее прощения за все то горе, что он обрушил на ее голову.

* * *

Анзират к концу зимы понемногу стала приходить в себя. Она постарела, волосы ее стали седыми, взгляд ее некогда красивых и умных глаз потух.

За ней и детьми присматривали соседки. Особенно внимательной была Ханифа, жена Махамеди.

– Ханифа, дорогая, почему плачешь? – обращалась Анзират к ней. – Меня жалеешь, что ли? Такую, как я, еще жалеют? Нет, не плачь, не стою я твоих слез... Лучше, слушай меня, если я уйду... то пусть мои сиротки останутся при вас, хорошо? Нет никого больше у меня, кроме тебя... Знаю, недолго мне осталось жить. Если бы не они, – она кивнула на Холмата и Ходжар, – то меня бы уже давно не было среди живых.

Дети пугливо смотрели на нее. Холмат не понимал, почему отец избил маму. Он перестал играть с детьми, избегал их насмешливого взгляда, перестал ходить в школу – не хотел оставлять мать одну. Мальчик присматривал за сестрой, кипятил воду, разжигал печку, подметал комнаты, одним словом, следил за хозяйством. Он стал рано взрослеть.

«За что же надо было вот так бить мою маму, зачем отец так поступил? Почему нельзя было ее простить? Это бабушка Бийди и тетя Турсуной говорили отцу что-то нехорошее про маму и настроили его против нее! Почему тогда мама им не говорит,

что она не такая? А отец... как я его любил! Как радовался, когда он приехал! Теперь он и нас не хочет видеть... Нет, все равно я отомщу ему! Вырасту и... застрелю его!».

Через некоторое время Холмат совсем перестал ходить в школу, где его тренировали одноклассники, смеясь над его мамой. Холмат уходил утром из дома и бродил по окрестностям их села. Приходил домой, когда пора было возвращаться со школы.

«Сынок, ну, как у тебя учеба?» – спрашивала Анзират. Мальчик еле сдерживался, чтобы не разрыдаться и отвечал, что все у него хорошо...

* * *

Нормату все опротивело: и деревня, где он родился и вырос, и односельчане, и даже сама жизнь. Взяв с собой охотничье ружье, он ездил на своем Каратуше по горам, чтобы быть подальше от людей. Он хотел забыть о том, что с ним произошло. Кому раскрыть душу? Плакать навзрыд? Кто поймет его? Наверное, никто!

Так устроен человек, что приспосабливается ко всему. И он постепенно привык к такой жизни.

К середине зимы, около недели побывав в деревне, Нормат ушел опять, но только на этот раз в сторону Бошчарбага. Он часто голодал, но и это было не редкостью для него. Нормат сильно похудел и состарился, казалось, что он не бродит, а ищет свою смерть. Он действительно хотел сильно заболеть и умереть где-нибудь в дороге. Но срок жизни его никак не истекал.

Его Каратуш еле ташил ноги. К вечеру они въехали в маленькую деревню с тремя-четырьмя дворами, окна которых светились от керосиновых ламп...

* * *

Нормата приютил у себя в доме Маллабай, тоже воевавший на фронте. Хозяин дома рассказал ему о своей жизни, и оказалось, что его судьба – почти точное повторение жизни Нормата. Маллабай не смог простить свою жену после своего возвращения в семью. И его жена, видя, что муж охладил к ней, стала увядать, страдая и сетуя на свою несчастливую судьбу. Вскоре она умерла... Услышав эту историю, Нормат осознал, что не готов потерять жену...

* * *

У Нормата пропал сон – очень тяжело было на душе. Он думал о своих детях, об Анзират:

«Да как же я об этом не подумал! Надо же быть таким жестоким! Не до конца же жизни ей было оставаться одной, ведь меня официально занесли в список погибших! Какая разница – через год она нашла бы себе другого человека или через десять? В такое суровое время, когда пришлось думать, чтобы выживать, а все остальное – второстепенно. Может, он обещал на ней жениться или помочь поставить детей на ноги! Ей было нелегко через все это переступить, ведь она меня когда-то любила.

Да, все ее несчастье в том, что я вернулся с этой проклятой войны.

Холмат, Ходжар! О, разве я не понимаю, как им сейчас трудно: мать опозорена, больна... А отец их шатается, будто бродяга, вместо того, чтобы их воспитывать и быть рядом...

Все-таки детям, прежде всего, нужна мать!»

И тогда Нормат окончательно решил – он вернется к семье, но только бы успеть спасти жену!

Нормат бесшумно встал с места. Маллабай и его дети крепко спали.

«Я сегодня же вернусь в семью, хватит из себя изображать обманутого мужа! Анзират не обманула меня! У нее, наверное, не было другого выбора, чтобы выжить. Я уже не смогу любить ее как прежде, но оставлять ее с детьми не имею права! Причем тут ребенок, которого она носит. Тот добрый человек, про которого рассказывал Маллабай, вернул ведь свою жену, которая вышла замуж за другого. И эта женщина, как и Анзират, тоже получила письмо с фронта, возвещавшее о смерти ее первого мужа.

И если бы она имела уже ребенка от другого мужчины, он разве не принял бы ее? Какая разница? Ведь люди усыновляют чужих детей.

Пусть люди смеются надо мной! Мне на всех наплевать!»

Он тихо открыл дверь, но не успел закрыть ее за собой:

– Уходите? – раздался голос хозяина.

Нормат замер на месте, прямо на пороге:

– Да... извините меня... мне надо... домой.

– Вот и молодец! Я вас провожу, а то собака не привязана... Не выходите, сам позову, когда выведу из конюшни вашего коня.

Нормат крепко обнял Маллабая.

– Вы будете первым гостем в нашем доме! – сказал он.

Во дворе при свете луны Нормат заметил, что Маллабай широко улыбается:

– Может... до утра останетесь?

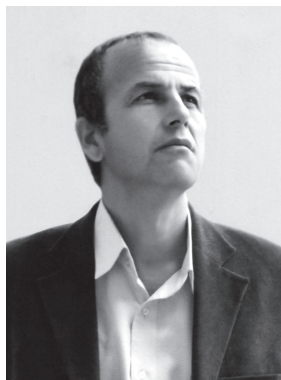
– Нет, но... за вами приеду, хорошо?

– В любое время... желательно... с ней, – не переставал улыбаться Маллабай. – И с детьми, конечно!

Нормат еще раз крепко обнял Маллабая и они расстались.

(Продолжение следует)

ПОЭЗИЯ



Вафо ФАЙЗУЛЛАХ

*Жить бы и жить, малой
искрой сверкать*

Вафо Файзуллах является автором поэтических книг. Перевел роман Ф. Кафки «Процесс», драму Метирлинка «Слепые», рассказы Х. Борхеса, К. Гамсуна, поэтические подборки Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо, И. Бродского. Член Союза писателей Узбекистана. В настоящее время – слушатель Высших литературных курсов при Литературном институте имени М. Горького в Москве.

Предлагаемая поэтическая подборка интересна тем, что перевод осуществили московские поэты Владимир Артюх, являющийся автором десяти книг, а также Ромул Елисеев – поэт, драматург. Стихи Вафо привлекли их образностью, новизной тем, искренностью и самобытностью.

* * *

На белой равнине душа обнажилась.
Ей стало легко, ты в это поверь.
Любовь взошла, словно Божья милость –
В мир ослепительный распахнута дверь.

Сияньем блаженства я Богом отмечен.
Душе оттаявшей – ручьями бежать...
Не говори мне, что мир этот вечен:
Жить бы и жить, малой искрой сверкать.

* * *

А память плеть надо мною заносит –
Разве я теперь человек?
Как будто дикарка, по улицам осень
Ишет дорогу в каменный век.

А до рассвета Бухара одинока.
Куда улетают мои журавли?
Смогу ли вернуться и я до срока?
Смогу ли жить без родной земли?

Перевод Владимира Артюха

*Кроме печали, меня не вспомнила ни одна душа...
Джалалиддин Руми*

В мире душ израненных я не одинок,
Где-то выше небес – исполненные мечты.
Мудреца осторожность безумцу невпрок,
Сердца жар соблазнили чужие костры.

Сердце не лжет, так простите меня,
Зачем вам моя беспричинная жертва?
Смерть у порога предвечно права,
«Простите», – шепчу я дыханием ветра.

Цветеньем тюльпанов от рынка к погосту
Жизнь протекает, я грешно ей рад.
В творениях мучительных змеи – мне гости,
Мед не распробовав, жаждал – лишь яд.

Тщетны желанья истерзанной страсти.
Взлетая к вершинам, я падаю ниц.
От злобы на друга печали подвластен,
В танце смеющихся, льстящих мне лиц.

Ложно хваюсь, но в молчании каюсь.
Слепой любви изменчива звезда,
От страшных чар колдуньи опьяняюсь...
Меня ждет бездна, ну а вас – скала.

Но только вы напрасно не молчите
Окликните меня, успеете в срок!
На вершины взирая, что-то говорите!
В стране теней я все ж не одинок...

* * *

Сердце боль пронзает, мир померк,
Друга ты искал, что навек.
Исцелит тебя горький яд,
Вроде жив, но в дыханье смрад,
Бури с птицей души разлучат.

Человека в пути не найдешь,
Сладость бранных желаний – ложь.
В мире преданность – лишний гость,
Трудных лет нишетою разменена горсть.
Нет любви, только брошена кость.

Змеем ты изовьешься, собакой залаешь,
Жалит лещь страшней, чем скорпион.
День и ночь беспокойны, и сам ты не знаешь...
Почему в каждом встречном мерешется он,

Верный друг, уходящий в сон.
Кто он, брат или, может, сестра?
Мать из мира иного прощает всегда,
В сновиденьях твоих распустился цветок.
Там, где след на тропе от младенческих ног
Разбудил тебя к жизни Рок.

Вам с удачей шальнойю не по пути,
Сил уж нет, так попробуй кому отомсти!
Но мечты неизбывные в горе познал,
К милосердию людскому ты тщетно зывал,
Злой Судьбы поцелуешь кинжал.

* * *

В розовых ладонях красного заката
Греет пальцы ветвей абрикос.
Стая змей бумажных детворе отважной
Выстроила в небе дивный мост.

Облачный ослик в лазурной пустыне
Устало плетется к ожившей земле.
Свежую песню с холмов темно-синих
Пью, травяной надкусивши хлебца.

Пекарь-Весна, у речушки сестра ли?
В сорокодневье зимою певец.
В разгар народился. Безбрежные дали
Звоном наполнились пылких сердец.

Степь пробудилась. Сказителя пенью
Моршину прорежет на лбу бунтаря.
Иволги славят луны похишенью,
Платок из лучей нам соткала заря.

Всполыхнул печальный пламень мака,
Машет Родина рукою журавлям.
Не пей вина отец, стихами плача.
Идти я должен, покоряясь мечтам.

Перевод Ромула Елисеева



проза

Сергей ТАТУР



ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ

Фантастическая повесть

ГЛАВА I

Петр Иванович Талдыкин проснулся ранним утром. Дважды он просыпался среди ночи после снов очень интересных, волнительных, оставивших в памяти яркую, но быстро погасшую феерию. А теперь пора было вставать, пора было принимать на себя заботы и хлопоты нового дня и окунаться в них. «Наезженная колея!» – подумал он обыденно, без интереса. И то правда, ничего непредсказуемого жизнь не готовила ему и не сулила ни в дне сегодняшнем, ни в дне завтрашнем. Это, наверное, и было хорошо. Поежился от прохлады, – он спал с открытым окном, а ночью прохладный воздух двигался к долине от снежных гор и от цепи водохранилищ, на которые река Чирчик была поделена добрым десятком перегородивших ее плотин. Он оделся, не беспокоя жену Веру Андреевну, которая просыпалась на полтора часа позже. Петр Иванович тихо вышел из спальни. У супругов издавна было принято заботиться друг о друге и уважать привычки друг друга.

У двери в ванную Петра Ивановича поджидал робот Джонни. Ростом и внешностью, включая лицо и одежду, а также поведением он ничем не отличался от человека, а главное свое отличие никогда не выпячивал: его знания и умения превосходили человеческие, но задаваться и зазнаваться не входило в его обязанности. В сне и отдыхе он не нуждался. И дом Талдыкиных с десятью комнатами блестел чистотой и ухоженностью. То же самое можно было сказать о саде, хотя большая часть этих забот лежала на Петре Ивановиче. Джон был роботом в десятом поколении. Людям присуща наследственность, и поэтому из поколения в поколение могут повторяться некоторые черты характера или внешности их отцов, матерей, дедов, бабушек и т.д. Роботы же – это все-таки машины, поэтому каждое новое их поколение вбирает в себя сотни разнообразных задумок, выдержавших самые тщательные проверки. Ведь их совершенствование в технологическом отношении двигалось вперед десятичными шагами.

– Петя, здравствуй! Надеюсь, ты славно почивал и встал с правой ноги? – Джон по-братски похлопал хозяина дома по плечу.

– Привет, Джонни! Подскажи, какой сегодня день?

– Среда у нас сегодня, Петя. Пятнадцатое мая, две тысячи сто десятый год от рождения Христова, время – шесть тридцать. На дворе плюс шестнадцать, а днем

будет тридцать градусов. Облака наплывут, но без дождика. Так что грозы, которой тебе так хочется, не будет. Знаю, что ты приветствовал бы грозу: «Ба-ба-ба-ба-бах!» – Джон точно проимитировал раскаты грома и только всплеском молний их не сопровождал. – Что еще тебя интересует, дружище?

– Что в мире?

– Без катаклизмов. Тишина и покой на всех материках. Благоденствие, одним словом. Землю, слава Создателю, нигде не трясло, самолеты не падали и поезда с рельсов не сходили. Но тайфуны потрепали Индонезийский архипелаг и полуостров Индокитай. Пропали без вести пять рыбаков и три путешественника-яхтсмена. Они не прореагировали на предупреждение об опасности. За минувшие сутки своей смертью ушло из жизни 157 тысяч человек, от бытовых разборок, несчастных случаев и пожаров погибло 442 человека. Твои знакомые и близкие среди этих несчастных не числятся. Нужна еще какая-нибудь информация?

– Все ясно, Джонни. Спасибо! Паша встал?

– Как и ты, минута в минуту. На турнике подтянулся шестнадцать раз, сейчас гантелями размахивает. Петя, Паша – точная твоя копия, плоть и кровь твоя. – Джон деликатно умолчал о том, что кое-какие свои не самые худшие черты характера Павел перенял и от матери.

– За это я его и люблю!

– Что тебе приготовить на завтрак?

– Как обычно. – Петр Иванович гурманом не был, и Джон, как ни старался, не мог привить ему привычку к пище изысканной, приготовленной тщательно и по специальным рецептам, с массой экзотических специй. Зато Вере Андреевне доставляло удовольствие обсуждать с Джоном тонкости кулинарии. Она словно чувствовала вкус и аромат обсуждаемых блюд и любила сопоставлять один кулинарный изыск с другим, чтобы определить, какой из них «самый-самый».

Петр Иванович привел себя в порядок, затем спустился в подвал, где размещалась отопительная система дома, а также небольшая сауна и узкий бассейн длиной в двадцать пять и шириной в два с половиной метра. Он нырнул в воду приятной температуры, проплыл туда и обратно: достаточно, ведь впереди футбол. Быть в хорошей физической форме надлежало каждому, и в семье Талдыкиных за этим ненавязчиво следил робот Джон. Средняя продолжительность жизни землян приближалась к ста пятидесяти годам и постоянно увеличивалась.

Завтракали отец и сын вдвоем, завтрак был из разряда самых обычных – жареная картошка, политая сверху яйцом, присыпанная мелко нарезанным укропом и зеленым луком. Еще каждому предназначалась пара долек чеснока, пара мандаринов, горсть миндаля и горсть кишмиша. Чайник зеленого чая томился под красочным шерстяным колпаком, – чтобы не остывал. Джон был кладезем по части информации обо всем на свете, в том числе и по части событий произошедших совсем недавно, интересных широкой общественности. Он отвечал на любые вопросы подробнее и обстоятельнее, чем энциклопедический словарь. Джон был так запрограммирован, что прекрасно угадывал, когда и каким образом ему следует поддержать разговор, а когда – переключиться с шекотливой темы на другую, всех устраивающую или – просто промолчать.

– Что нового, Паша? – спросил Петр Иванович.

– Все как всегда, ты ведь в курсе. На заводе тебя ждут после обеда. – Петр Иванович собирался посетить сборочный и другие цеха огромного предприятия, производящего роботов, а потом написать об увиденном для Интернета.

Оба ели без спешки, не задерживая внимания на вкусовых достоинствах завтрака. Хотя Джон, как всегда, постарался: картошечка была подрумянена так, что хрустела, но мягкость свою сохраняла, а зеленый лучок, мелко нарезанный, оттенял ее своей горечью. Крепкий чай благоухал ароматами далеких тропиков.

– А ты, Джонни, какими известиями нас порадуешь? – спросил Петр Иванович робота.

– Смотрите и радуйтесь! – сказал Джон. Он засветил экран, занимавший простенок между двумя окнами и начал транслировать красочные картинки земного благополучия со всех уголков планеты: Земля благоденствовала, тучные нивы на всех пяти обитаемых материках обещали богатый урожай. На фермах паслись коровы. Ветви в южных садах начинали наклоняться к земле под тяжестью плодов, наливающихся соками. По полям сновала техника, которой управляли чаще роботы, нежели люди. И на фермах делами заправляли чаще роботы (особенно когда речь шла об удалении навоза и доставке его на поля). Далее были показаны: фабричные цеха со своими новинками – одеждой и обувью для летнего сезона; книги, напоминающие толстые общие тетради – их страницы, пока еще белые, мгновенно заполнялись любимыми произведениями по желанию хозяина, стоило только подключить их к Интернету. Прочитанное стиралось с книг так же легко, как и появлялось. И получалось, что одна такая книжечка могла заменить собой целую библиотеку.

Продолжая следить за экраном, они видели, что в заводских цехах и за прилавками магазинов людей было мало. Добыча угля и руды, выплавка стали, цветных металлов, масштабные строительные работы, уборка дворов и улиц, вывоз и утилизация мусора велась роботами. Люди мало интересовались этими отраслями народного хозяйства. Роботы также управляли автомобилями, самолетами и вертолетами. Поэтому, согласно статистике, давно был исключен из разряда «дорожные происшествия» человеческий фактор, всегда пугавший своей непредсказуемостью. Вот в проектных бюро, в исследовательских институтах и лабораториях людей было побольше, хотя по части поставки продуктивных идей роботы тоже давно могли эффективно помогать людям. Они же быстрее находили пути к их реализации. В госпиталях и поликлиниках врачами работали люди, но каждого из них подстраховывал робот (пусть даже в звании медицинской сестры, это значения не имело). Ибо врачебная ошибка, хотя бы одна на десять тысяч диагнозов и рецептов, никому не была нужна.

Вывод был такой: главным завоеванием демократического общества был равный доступ всех землян к материальным благам. Давно уже и материальные блага землян не зависели от места их проживания и никто ни в чем не испытывал недостатка. А гипертрофированное потребление и чрезмерные аппетиты в любой области бытия вызывали неуважение и нарекания. Хотя каждый получал то, что хотел, хотеть очень много считалось дурным тоном и осуждалось гласно и негласно. Это бытие и демонстрировал сейчас экран яркими цветами. Ничего не рекламировалось. Но стоило высказать заинтересованность каким-либо товаром, как на экране появлялись все сведения и о других товарах, способных заинтересовать данного телезрителя. Причем, его вкусы и запросы учитывались самым тщательным образом. При вторичном запросе автоматически подтверждался заказ и через час-другой выбранный товар доставлялся на дом. При необходимости для семьи Талдыкиных любую покупку мог сделать робот Джон. Но Вера Андреевна сама любила ходить по магазинам. Мужчин же эта процедура тяготила, и они редко заглядывали в огромные универсамы.

– Джонни, ты нам лучше последний бой Кассиуса Клока и Сережи Добрынина покажи! – попросил Павел.

На экране возник ринг с двумя боксерами-тяжеловесами, один из них как пантера выжидал удобного момента для удара. Другой казался импульсивным и, видимо, тоже был не промах. Начался захватывающий бой. Результат этого боя был уже известен, но хотелось еще раз увидеть кульминационный момент поединка, завершившегося удивительным по силе и точности ударом...

До отъезда на стадион оставалось минут десять. Петр Иванович и Павел поблагодарили Джона за завтрак и попросили им приготовить на обед то, что закажет Вера Андреевна. Время для чтения оставалось мало, но можно было пообщаться с Татьяной, дочерью, которая была двумя годами младше Павла, но уже лет пять была замужем, подарила им внука и внучку. А жили они в городе Красноярске (ее муж Игорь был родом из тех мест). Нажатие кнопки вывело на экран Танин дом и ее се-

мью. Обмен приветствиями и сообщениями о житье-бытье был эмоциональный, но недолгий, зато на внуков Петр Иванович насмотрелся с радостью.

– Татьяна обогнала тебя, Паша! – сказал Петр Иванович сыну, укоряя его за долговременное пребывание в стане холостяков.

– Какие мои годы, папа! – ответил Павел, но к племянникам проявил интерес, показал, что делает им «забадуху», в ответ, старшенькая Лиза улыбнулась и воскликнула: «Это не так, это понарошку! Ты не сможешь до меня дотянуться!». Она уже понимала, что ее дядя находится на недосыгаемом для нее расстоянии.

Попрошавшись с близкими людьми, Петр Иванович сам погасил экран и, поблагодарив Джона, пошел в гостиную, где были вывешены точные копии известных полотен: «Звездная ночь» Винсента Ван Гога, «Герцогиня Альба» Франциско Гойя и «Березовая роша» Архипа Куинджи. Это были творения роботов, которые умели делать идеальные копии любых картин, и люди давно уже могли позволить себе иметь в своих домах те произведения искусства, которыми особенно восхищались. А так как между оригиналами и копиями почти не было никакой разницы, то никто уже не стремился стать владельцем подлинников.

«Звездная ночь» запала в душу Петра Ивановича неистовством Мироздания, потому что Винсент Ван Гог вложил в эту картину еще и свое неистовство. Да, Вселенная никогда не была стационарной, какой представлялась человеку из окна его дома. Но Ван Гог выделил и запечатлел именно шабаш светил, рождение сверхновых звезд и черных дыр. Сверхновые и черные дыры, поглощающие все окрест, гений увидел раньше, чем их открыли астрономы и сумел передать это простым языком своего искусства для обыкновенных людей. А внизу, на покрытой мраком земле, под причудливо изогнутыми кипарисами (их изогнул не ночной ветер, а галактика передала им свои порывы) змеилась обычная проселочная дорога. Петр Иванович не мог уразуметь, почему художник не был понят и оценен при жизни. Да, он не двигался в общей колонне, но в искусстве это не недостаток. С другой стороны, не влачи он жалкого существования и не мечтай о признании, его самовыражение не достигло бы тех высот, на которые он взошел наперекор тем, кто его не понимал и не принимал. Художник хотел доказать, что видит мир не как все, но доказал это только следующим поколением, которые увидели в нем выразителя своих дум и своих чаяний.

«Герцогиня Альба» была картиной совсем иного плана. Загадочность «Моны Лизы» она отвергала, как несовместимую с ее прямой и целеустремленной натурой. Это был портрет, и все. Но какой портрет! Как глубоко и точно Гойя выхватывал человеческую суть, одновременно порочную и высокую! Герцогиня была запечатлена в сокровенной обстановке. Подразумевалось, что рядом с ней стоял мужчина, и им, скорее всего, был сам Гойя. Вызывала изумление передача на полотне страстных чувств женщины, отождествляющихся с женским началом в природе.

А у полотна «Березовая роша» можно было отдохнуть и от шабаша светил, и от чар герцогини Альбы. Летнее яркое солнце переполняло рошу, белые стволы переставали вбирать в себя свет и начинали струить его сами, матовая листва трепетала. Свет и был главным достоинством картины, он впечатлял сильнее, чем прекрасные березы. Деревья как бы концентрировали его про запас, чтобы им поделиться осенью и зимой. Петр Иванович подумал, что хотел бы жить по соседству с такой рошей. Чтобы в любой момент можно было войти в нее, лечь на траву-мураву и устремить взгляд на небо, что открывалось в раздвоях крон и, главное, никуда не торопиться. Что ж, летом он и Паша пойдут в путешествие по Чаткалу и Акбулаку, а в тамошних горных урочищах берез не сосчитать. Там есть целые соцветия берез – по пять-шесть стволов от одного корня...

Отец и сын вышли из дома на тенистую улицу, где их ждал автомобиль с роботом-водителем. «Едем на стадион?» – спросил он. Услышав подтверждающий ответ, он кивнул, и машина тронулась. Колеса зашуршали, набирая скорость; электрический двигатель работал бесшумно.

ГЛАВА II

В раздевалке стадиона человек десять уже переодевались в спортивную форму. Петр Иванович и Павел радушно приветствовали своих товарищей по команде и соперников. Две команды любителей футбола были соперниками уже шесть лет. Три раза в неделю сходились на матчах и имели примерное равенство побед и поражений. Но общего итога голам забитым и пропущенным никто не подводил, – какая разница? И получалось, что в итоге всегда побеждала дружба, а люди, приходившие на зеленое поле побегать и отвести душу, обретали хорошую физическую форму. Возраст участников не ограничивался: двоим игрокам команды в «синих» майках было за восемьдесят, а троем игрокам в «белых» – за семьдесят. Но на скорости и умении вести мяч это почти не сказывалось, люди теперь начинали стареть только после столетнего рубежа. Сама старость давно уже воспринималась человеком не как парад болезней, а как привыкание к жизни, как «незнание», чем же еще заняться, когда почти все интересное уже познано и увидено.

По умению владеть мячом игроки делились: на фанатов, у которых получалось буквально все и которые верховодили на поле; на хороших игроков, заметно уступающих фанатам в мастерстве; и на посредственных, которые не стремились атаковать соперников и отсиживались в защите. Павла здесь причисляли к фанатам за его филигранные обводки, точность паса и удара и, главное, за поразительное чутье, кому он должен переадресовать мяч с максимальной пользой для команды. А Петра Ивановича вполне удовлетворяла его второстепенная роль на футбольном поле. Он числился в разряде «так себе» и никогда по этому поводу не переживал. Он приходил на стадион, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме, чтобы пообщаться с друзьями, и за общекомандными эмоциями, часто подогреваемыми до высокого накала.

Стадион, спортивный зал, плавательный бассейн, лесопарк с многокилометровыми прогулочными аллеями, тренажеры в доме и в спортивном зале прочно вошли в жизнь каждого землянина. Ибо человек был волен работать или не работать, но первой его обязанностью было вести правильный образ жизни и поддерживать ту физическую форму, которая соответствовала его возрасту. Ведь известно, что хорошее здоровье – залог долгой, полноценной жизни. Эта аксиома упорно внушалась всем и каждому со школьной скамьи.

За «синих» и за «белых» играли представители самых разных профессий – ученые и инженеры, врачи и учителя, артисты, адвокаты, менеджеры, бизнесмены.

В их время типично рабочих профессий люди сторонились за их монотонность, и потому профессии строителя, столяра, продавца, слесаря-сборщика были переданы роботам. Разумеется, если кто-то желал постоять у станка или положить свой кирпич в строящийся дом, это всегда поощрялось. Каждый человек занимался той деятельностью, в которой имелось творческое начало, созвучное его способностям. Только люди также знали, что у них есть право выбора, и старинная заповедь «Труд создал человека» как бы уходила в прошлое. На Земле не осталось профессии, недоступной роботу, и не осталось профессии, в которой робот не превзошел бы человека.

Роботы не отставали также и на поэтическом поприще, и как художники, и как режиссеры, певцы, актеры, композиторы. И поэтому в эти сферы творческой деятельности роботов не допускали. Эту линию творчества человек сохранил за собой. Зато научную, техническую и конструкторскую мысль вперед двигали роботы, деликатно подсказывавшие человеку, что и как, но свои подсказки не выпячивавшие. Людям это нравилось не всегда, но кого им было винить, когда они сами создали электронный мозг, чрезвычайно емкий и продуктивный? Руки роботов давно уже были проворнее, быстрее и производительнее человеческих (у робота рука могла быть сконструирована побольше или поменьше, не только с пятью, но и с семью, с десятью пальцами, как раз такая, какая лучше всего подходила бы для трудоемкой работы). И в этом тоже людям следовало винить только самих себя...

Игроки в синих и белых майках недружно высыпали на зеленое поле, под яркое утреннее солнышко. Пришло двадцать три человека. Что ж, в первом тайме за «синих» будет играть одиннадцать человек, а за «белых» – двенадцать, а во втором тайме – наоборот. Игроки занялись разминкой, после которой робот-судья свистком возвестил о начале матча.

«Синие» компактно устремились вперед, с Пашей «на острие» атаки. Но Павла опекали сразу два фаната «белых», а игрок, которому он был вынужден передать мяч, сплеховал, и мячом завладели «белые». Рывок вперед, – у «белых» словно крылья выросли, один удачный пас, второй, обводка, еще обводка, и вот человек в белых трусах и белой майке оказывается один на один с вратарем «синих» и «чисто» бьет мимо него. Мяч в сетке! «Белые» дружно кричат «Ура!», «синие» же недовольны. «Кому проигрываем!» – кричит Павел. «Кому проигрываем!» – вторит ему команда. Надо мобилизоваться и атаковать. Напор, еще напор, обводка, шикарный пас игроку, сумевшему обмануть бдительность защитника и освободиться от его опеки. Удар – не сильный, но расчетливый, точный. И теперь «белым» приходится извлекать мяч из сетки.

Азарт игры нарастает, но судья следит, чтобы он не перерастал в нарушение правил, а особенно в разного рода грубости. Офсайд, правда, не засчитывается, играют не команды мастеров на какое-то там первенство. А нет офсайда, нет и споров. Травм же старались избегать и «синие», и «белые». Ведь травма (будь то удар бутсой по ногам соперника или сшибка на высокой встречной скорости при бескомпромиссной борьбе за мяч), нанесенная игроку со стороны противника, через игру другую обернется травмой, нанесенной тебе. Этого не хотелось никому. И судья свистел, остужая азарт, нейтрализуя его избыток штрафными, а то и предупреждениями. Ему внимали беспрекословно, его авторитет признавался и не оспаривался. На всех соревнованиях, где требовался судья, в том числе и на олимпийских играх, судьями были роботы, абсолютно беспристрастные.

Вот и первый тайм позади. Счет: три – четыре. Команды меняются местами и отдыхают прямо на поле. Перерыв десять минут, и снова мяч в игре. «Синие» мобилизуются и насаждают. Теперь удача благоволит им и они забивают подряд два мяча. Успокаиваются, размагничиваются, а это настроение не для триумфа. «Белые» мобилизуются и вкатывают мячик в ворота «синих»: рано расхолаживаетесь, ребята! И ребята (некоторым из них за восемьдесят!) снова надают, но до гола дело не доходит. Раздается долгий свисток – матч окончен. Пять – пять! Судье на часы смотреть не надо, они тикают внутри него. Боевая ничья! Петр Иванович переводит дух. Он – «выложился по полной программе». И все, кого он сейчас видел перед собой, выложились, для этого они сюда и пришли. «Синие» смешиваются с «белыми» и общей гурьбой спешат в раздевалку. Все довольны. Теперь самое время попариться в сауне. Она просторная, всем хватит места. Кому надо, чтобы было жарче, сядет ступенькой повыше и выйдет минутой попозже. Но роботы на чеку, они видят, кому пора выходить на свежий воздух.

Кто-то крикнул:

– А пивка нельзя ли? Прямо сюда!

Робот, услышав просьбу, внес поднос, уставленный пивными кружками с высокими шапками искристой пены. Их разбирают, но через одного. Петр Иванович и Павел воздерживаются, у них на сегодня иные планы. Пожалуй, пора на прохладу. Петр Иванович покидает сауну, а вскоре к нему присоединяется и сын. Два с половиной часа промелькнули как одно мгновение. В теле ощущается приятная усталость – будто заново родился!

Одевшись, они тепло простились с товарищами.

(Продолжение следует)

проза

Галина ДОЛГАЯ



Галина Долгая в своих произведениях представляет яркую палитру разнообразных сюжетов о доброте и красоте окружающего нас мира, а также свои наблюдения за жизнью других народов. Ее рассказы заставляют задуматься о будущем нашей планеты с ее неповторимой природой и обитателями и призывают людей сохранить для будущих поколений родную Землю.

ПОЦЕЛУЙ ТИГРА

Невыдуманная история

Ноябрьские снежные метели укрыли старое казачье село в долине Уссури толстой белой шубой. В домах щедро топили печи и молочные струйки дыма поднимались над крышами, растворяясь в белесом небе, на котором лишь изредка сквозь густые облака пробивались лучи неласкового зимнего солнышка.

Ранним утром Анна проводила мужа и уселась поближе к печи, чтобы к валенкам сынишки пришить сверху полоску меха, отрезав ее от большой шкуры изюбря, подаренной местными охотниками.

«Чудные люди, эти инородцы¹», – думала Анна, и с улыбкой вспомнила, как через день после приезда их поселили как семью начальника участковой комендатуры² в еще не обжитую избу и к ним вошли трое мужчин. Один из них выделялся более высоким ростом, и взгляд его был ленивый и безразличный. Это был местный казак – потомок славного казачьего рода, еще в XIX веке обосновавшегося в Уссурийском крае.

Говорил казак мало и на вопрос ее мужа: «Как тебя звать?» он сначала помял шапку в руках, поводит головой, рассматривая пустые стены, и только затем ответил:

¹ Инородцами русские путешественники называли коренных жителей Дальнего Востока в начале XX века.

² В 30-х годах XX века в Уссурийском крае строились вторые железнодорожные пути и новые станции. На должность начальника исправительно-трудовых учреждений нередко назначали рабочих, прошедших спецкурсы. Они работали на месте назначения, приезжая туда с семьей.

– Однако, Федор.

Двое других оказались удэгейцами³: оба маленького роста, с круглыми смуглыми лицами и узкими глазами. Один, что помоложе, представился Ваской, и, указывая на второго, сказал с особым почтением:

– Васко абуга!⁴

– Оба что ли с одинаковыми именами? – спросил Саша, муж Анны, не без интереса разглядывая гостей.

– Нет, начальник, – возразил младший удэгеец, – я – Васко, а он – отец Васко. Твоя понимать должен.

– А мне его как называть? По фамилии?

– Тибеула зови. И фамилия есть. Мы из рода Ёминка. Древний род. Охотники мы. Тайга ходить, зверя убивать, начальнику шкура приносить, – он разложил гладкую коричневую шкуру оленя перед Сашей, а сверху кинул две пушистые шкурки соболя.

– Это ни к чему, – Саша было отодвинул подарки, но вмешался старый удэгеец:

– Твоя брать шкуры, жена одежду шить мальчишке. Ёминка зверя промышлять.

Анна погладила мягкий соболиный мех и, почувствовав ладонью ласкающую нежность ворса, с надеждой взглянула на мужа.

– Не обижай старика, начальник, бери, однако, – добавил свое слово Федор.

Саша провел пятерней по волосам, пряча смущение.

– Ладно, спасибо! Только больше не приносите ничего. Не положено. – И, усаживая гостей, спросил, сменив тему:

– Так вы, значит, в селе живете?

– Ёминка в селе зимой жить. Отец мой русский дом строить там, – старший удэгеец махнул рукой перед собой, – как казаки строить. Летом тайга другой дом жить.

– Кочуешь, значит, охотишься. – Подвел итог Саша. – А ты? – перешел он к казаку.

Тот помолчал, раздумывая, и ответил:

– А мы... что мы? Живем тут, однако.

Так и познакомились...

Пока Анна пришивала мех к одному валенку, пришла Клава – красивая, дородная девушка, которую Саша определил жене в помощницы.

– Что это вы делаете? – снимая клетчатый шерстяной платок, Клава привычно потрогала печь, убрала стул с дороги и подошла к хозяйке.

– Тише, ты, граммофон, Володенька спит еще, – Анна покачала головой, оглядываясь на зашторенную плотной занавеской постель сына. – Да валенки у него коротки, снег в них набивается, боюсь, как бы не простудился, вот решила пришить мех. Видела, как у местных сделано.

Клава присела рядышком на лавку, подняла конец шкуры, с удовольствием провела рукой по гладкому ворсу.

³ Удэ, удэге, удэгейцы – коренной народ Уссурийского края, который живет в тайге на притоках реки Уссури – Хор и Билим. Они промышляют охотой и рыбной ловлей.

⁴ Васко абуга – имя Васко – измененное русское имя Вася, которое стали давать в Сибири в 20-е годы XX века. Абуга – в переводе с удэгейского – отец. У коренных народов Приморья вслух можно было произносить только имя ребенка или молодого человека. Поэтому к старшим обращались – «отец Васко», «дед Васко» или мать, бабушка Васко. По поверьям удэгейцев, взрослый человек скрывает свое имя, чтобы обмануть злых духов. По этой же причине в течение своей жизни удэгейцы несколько раз меняли имена. При обращении к удэгейцу часто произносилось родовое имя, как Ёминка, которое означает, что этот род идет от тигра или по прозвищу, как Тибеула (от тибеу – стриж). Давали такое имя ловкому, быстрому, как стриж человеку.

– Вы бы ему унты⁵ сшили лучше, чего шкуру на заплаты изводить!
– Так я не умею! – Аня закрепила нитку и взялась за второй валенок.
– Эка беда! Попросите жену Ёминка. Она уж точно умеет! Да и красивые сделает, с вышивкой.

Аня отложила работу, задумалась. Удобно ли ей просить у местных? Ведь не откажут, как же – жена начальника! Но Саша строго-настрога наказал без его ведома ни у кого ничего не брать и не просить да и лишний раз носа из дома не высовывать:

«Сиди в избе, ребенком занимайся!» – так и сказал.

Но Аню тянуло к людям. Хотелось общения. К тому же посмотреть на быт удэгейцев интересно.

И Аня решила.

– Знаешь, Клава, а ты права! Где, говоришь, живет Ёминка?

И, расспросив, где живет семья Ёминки, она собрала какие-никакие гостинцы, укуталась потеплее и, оставив сына с Клавой, пошла в поселок.

Легкие снежинки мягко кружились в воздухе, обволакивая село снежным туманом. Мороз шипал нос и щеки, и Аня плотнее прижала к лицу пуховый платок. Выбравшись на заснеженную центральную улицу с колеей от недавно проехавших нарт, Аня пошла на другой конец села, отсчитывая избы, как ее научила Клава. Ноги то и дело проваливались в снег и, в конце концов, сбившись со счета, Аня поняла, что дом Ёминка ей не найти. Возвращаться к себе ни с чем не хотелось, и она завернула в поселковую лавку – может, там кто подскажет, как удэгейцев найти.

Рядом с избой, в которой располагался магазин, стояли нарты. Собаки ожидали хозяина, Аня хотела было погладить припорошенную снежком черно-белую голову лайки, но, не решившись, обошла упряжку и поднялась на крыльцо. Только хотела дверь открыть, как та сама отворилась, и в облаке теплого воздуха появилась фигура Тибеула Ёминка.

– Я видеть из окна женщина одна по дороге идти. Я узнать женщина, – он широко улыбался, отчего его глаза превратились в узкие шелки, и стали видны морщинки на его лице. На голове у него была меховая остроконечная шапка с цветной кисточкой на макушке.

– Здравствуйте, – обрадовалась Аня и протянула руку, высвободив ее из варежки.

– Дом заходить, а то холод в дом забираться, – Ёминка потянул Анну за собой.

В магазине, облокотившись на прилавок, молодой казак ворковал с пышнотелой продавщицей, которая, заметив Аню, изменилась в лице: недолгоблюдали местные жители начальников и их жен. Аня сухо поздоровалась со всеми и заговорила с удэгейцем:

– Мне бы обувку для сына. Я хотела жену вашу попросить сшить такие же унты, какие вы носите.

– Унты? – понял удэгеец. – Жена Ёминка шить! Почему не шить мальчишке...

– Спасибо! – Аня заулыбалась. Снежинки растаяли на ворсинках ее платка и на волнистой челке, и капли сверкали на них, как хрустальные.

– Моя жена шить. Ты дома сидеть. Я сам унты приносить. – Старик собрался уходить, прихватив котомку с товарами.

Но тут казак, наблюдавший за ними, сказал, обращаясь к Ёминку:

– Так, говоришь, следы тигра видел?

Ёминка остановился и уставился на него черными бусинами глаз.

⁵ Унты, шузы – невысокие сапоги с узкими носами, сшитые из кожи оленя. Украшались национальными орнаментальными вышивками.

– Я говорить – видел, за Кривым Ручьем Хозяин ходить. Близко. Я собака ему оставить. Просил уходить, – старик называл тигра Хозяином, и Анна заметила недовольство на его лице. – Ты всем говорить: «Не ходить за Кривой Ручей, не дразнить Куты-Мафа⁶!» – Ёминка сердито развернулся и вышел.

Анна спросила:

– А почему не ходить? – но дверь закрылась.

– А потому, барышня, – отозвался казак, – что тигр – опасное животное. Человека избегает, но может и сожрать. Ёминка лучше всех тут тигра знает. Он бы зря не говорил о нем, однако... Кто знает, что у него на уме...

– У Ёминка?

Казак рассмеялся вместе с продавщицей.

– У тигра!

Весь день Анна думала о тигре. О настоящем уссурийском тигре! Он был здесь, где-то недалеко! «Вот бы своими глазами посмотреть на него! – мечтала она. – А что, если пойти на охоту?» – шальная мысль разбудила азарт. Анна не была кисейной барышней. К тому же, стрелять умела, и метко! Еще когда жили в Николаеве⁷, она научилась. «Оружие есть, проводник есть. Саша уговорит удэгейца. Есть время, подготовимся. Зима только началась. Не мы, так кто-нибудь другой убьет этого тигра. Те же казаки! Убьют и продадут китайцам. А у тех каждый тигриный ус в дело пойдет, не говоря уже о шикарнейшей шкуре. Клава, помнится, рассказывала, что у тигра особенно ценятся усы, сердце, глаза и печень. Китайские знахари готовят из них лекарства. Печенку я бы пожарила! Вон, Володенька бледный какой, ему бы тигриная печенка не помешала!».

Когда пришел муж, Аня уже точно решила, что они пойдут на охоту. Она восторженно рассказала ему о тигре, что бродит у какого-то Кривого Ручья.

Саша молча слушал жену, любясь ее светящимися глазами.

– Ну что? – высказав все аргументы за охоту, спросила она.

Саша зевнул, затем обнял жену. Сын уже крепко спал, разметавшись в постели. Тепло от натопленной печи согревало и расслабляло, навевая сон.

– Давай спать, Аннушка, завтра решим.

Он даже не стал журить ее за то, что пошла к удэгейцам. Аня разочарованно вздохнула.

– Ты ложись, мне еще кое-что сделать надо, – она поцеловала мужа и принялась убирать посуду со стола.

Больше Анна старалась не думать об охоте. Зачем сердце травить несбыточными мечтами? Но дня через три, за ужином, Саша вдруг сказал:

– Сегодня с местными разговаривал. Помнишь, к нам казак приходил, Федор? – Анна кивнула. – Так он говорит, что можно идти на тигра.

Аня не ожидала, что муж тогда принял ее рассказ всерьез.

– Мы пойдем? – с замиранием сердца спросила она.

– Пойдем, пойдем! Я тебе журнал принес. Нашел у себя. «Вестник Маньчжурии» за двадцать шестой год, представляешь? Почитай. Там про тигра и про охоту написано.

Аня уже залезла в карман мужниного бушлата и достала немного потрепанную книжицу.

Рассматривая журнал, она вполуха слушала Сашу о его разговоре с Федором. Не нравились ей здешние казаки: взгляд недобрый или тупой, да и гонору, как ей показалось, больше, чем опыта.

⁶ Куты-Мафа, Амба, Хозяин тайги – так удэгейцы называют тигра. Приставка «мафа» – уважительное обращение, как к старшему.

⁷ Николаев – город на Украине.

– Знаешь, в магазине тогда сказали, что наш старый удэгеец лучше всех знает тигра, – издали начала она. – Давай его попросим пойти с нами. С ним надежней, мне кажется...

– Он не пойдет. Тигр для них – священное животное, бог! Не только стрелять в него, но даже смотреть нельзя, по старинным поверьям. Удэ верят: кто убьет тигра, сам будет убит другим тигром. И боги отвернутся от его семьи и... все будет плохо. Так что вряд ли твой удэгеец согласится! – они помолчали. – Но попробуй, поговори с ним, кто знает...

Когда, наконец, старый удэгеец пришел с сыном, чтобы отдать обещанные унты, Анна обрадовалась гостям, как родным, усадила за стол, угощая свежими пирогами. На выпечку она была мастерица! Прихлебывая горячий чай, Тибеула Ёминка покачивал головой от удовольствия.

– Хорошо! Хороший хозяйка! Хороший чай!

– Вы угошайтесь, угошайтесь! – потчевала Аня, добавляя пирогов на стол.

Васко, стесняясь, брал кусок и скромно откусывал. А его отец, почмокивая, все хвалил:

– Хороший еда! Вкусный еда!

Напившись чаю, гости собрались было уходить, тогда Анна и решила на разговор.

– Дедушка, а вы охотились на тигра?

Как только она произнесла последнее слово, старика словно подменили. Он вскочил на ноги и сурово выговорил:

– Ёминка уважать Хозяина, Куты-Мафа – отец удэге! Ты своя башка думай – отец убивать можно? – воскликнул он, распаясь.

Аня растерялась и начала извиняться, только старый удэгеец в сердцах махнул рукой и пошел к двери. Васко последовал за ним, с беспокойством оглядываясь на хозяйку дома. Аня хотела проводить их и даже уже сунула ноги в валенки, но тут дверь в сенях резко захлопнулась – и она так и осталась стоять посреди горницы в недоумении.

– Чего это он выскочил, как ошпаренный? – Клава внесла охапку дров. – Меня чуть не сбил с ног!

– Да я спросила его об охоте на тигра, – оправдывалась Аня, глотая слезы, – ну что в этом такого, а? Что ж это за табу такое на тигров? Даже спросить нельзя...

Клава бросила поленья за печкой и присела на скамью, усаживая рядом Анну. Володенька к матери на колени забрался.

– Странные они люди, удэгейцы. Много у них такого, что не поймешь. Живут по старинке, по своим древним обычаям. Тут уже паровозы ездят по рельсам, а их это будто и не касается. Для них только тайга имеет значение. Я тут одну историю слышала. Вот и вы послушайте, – девушка положила большие ладони на колени и начала рассказ.

– Говорят, это было очень давно. Жили в тайге муж и жена. Жена красавицей слыла и хорошей охотницей – ни в чем мужу не уступала. Но, как и положено, он ходил на охоту, а она поддерживала очаг в доме, выделывала шкуры, шила одежду, как все удэге.

Однажды пришли в тайгу китайские разбойники – хунхузы. Они отбирали у лесных жителей соболиные шкуры, забирали панты оленьи⁸, корень женьшеня, который удэге в тайге собирают.

⁸Панты оленя – молодые рога оленя. Раствор из порошка, изготовленного из толченных рогов считали сильным тонизирующим средством. Это средство использовало местное население в смеси с порошком корня женьшеня – растения из семейства аралиевых, обладающего многочисленными лекарственными свойствами.

Очень ценилось все это в Китае, да и сейчас ценится. Но в тот день потребовали хунхузы от удэге принести тушу тигра.

Узнав об этом, охотник наотрез отказался охотиться на Хозяина тайги, как и наш Ёминка. Но хунхузы схитрили. Знали они, что ничем его не уговорить, тогда разлучили они мужа с женой и сказали женщине: «Принесешь тигра на Уссури, тогда мужа заберешь, не принесешь – убьем его». И ушли.

Осталась женщина одна.

«Что же делать?» – думает она. Очень любила она своего мужа и решила выкупить его у хунхузов, нарушив древний закон своего народа.

Как пришла зима, надела она лыжи, взяла лук и стрелы, нож заткнула за пояс и пошла в тайгу за тигром. Нашла его след и начала преследовать. Долго шла охотница за Хозяином тайги, пока тому не надоело следы путать. Голод проснулся в нем и залег он на скале, обойдя женщину и ожидая, когда она под ту скалу подойдет. А она все время шла по следу, понимая, что тигр играет с ней.

Подходя к скале, которая стояла за толстыми стволами кедров, охотница почувствовала тигриный взгляд, пригнулась, сняла лук с плеча, достала стрелу из колчана. И только вышла она из-за деревьев ближе к скале, как тигр сорвался сверху в смертельном прыжке.

Упала женщина под его тяжестью и потеряла сознание от страшной боли...

Очнулась охотница в сумерках. Лежала на спине, а на ее груди покоилась тигриная голова.

От тяжести той женщина едва дышала. Но сильно хотела она жить и мужа своего выкупить. Собралась с последними силами и выползла из-под хищника.

Ее расшитый узорами халат из оленьей шкуры был пропитан тигриной кровью, вытекшей из его горла, которое охотница чудом пронзила стрелой, воткнув ее до самого сердца зверя.

Ноги женщины замерзли, а лицо так сильно болело, что она невольно подняла руку и провела по щеке. И почувствовала как тут же из рваной раны снова засочилась кровь. Успел-таки тигр занесенной для убийства лапой, разодрать женщине лицо! Но, к счастью, удар его ослаб от смертельной раны, а кровь на холоде быстро остановилась.

Достала охотница заветный мешочек с порошком женьшеня, посыпала им рану, подкрепилась юколой⁹ и начала резать молодую поросль деревьев для волока, чтобы дотащить тушу зверя до Уссури.

Сколько работала женщина, как ташила тигра неведомо, но мужа своего вернула.

А муж, когда увидел жену свою с обезображенным лицом и тигра, убитого ею, упал на землю и долго лежал так, вымаливая у духа тигра прощение своему роду.

Клава замолчала. Молчала и Анна, пораженная рассказом.

– Еще говорят, что тот удэгеец, когда домой вернулся, свою малолетнюю дочь спеленал и отнес на тигриную тропу. В жертву ее принес, как откуп за убитого тигра. Потом там вырос курган из камней, в который воткнут шест.

– А зачем шест? – с ужасом спросила Анна, крепче прижимая к себе сына.

– Обычай такой: где тигр съест человека, там каждый прохожий камень кладет, а если камня нет, ставит шест и завязывает на него кусочек материи.

– Что за дикость, господи?! – Аня похолодела. – А с женщиной той что стало? – Она представила себе молодую удэгейку с разорванной щекой, и так жалко ее стало и дочку ее тоже, что слезы навернулись на глаза.

– А женщину ту стали называть невестой тигра, а рану на щеке – его поцелуем.

Аня, не задумываясь, потрогала свою щеку.

⁹ Юкола – тонко нарезанная, сушеная рыба.

– Поцелуй тигра...
– Что вы сказали? – не расслышала Клава.
– Да ну тебя, – Аня отдернула руку от щеки. – Давай-ка лучше чай пить! А то мне что-то холодно стало.

Клава вскинула брови, удивляясь:

– Какая вы впечатлительная, однако же. Это ведь сказка удэгейская, чего пугаться-то, – и присела к печке, чтобы подбросить в нее дровишек.

В один из светлых морозных дней декабря, когда временно затихли метели, Анна с мужем в сопровождении казака Федора и молодого солдата из охраны отправились на охоту. На двух нартах они проехали часть долины, удаляясь от реки в сторону гор. Когда на пути встал густой лес, чернеющий голыми стволами ясеня, дуба, попеременно со стройными елями и кедром, охотники распрягли собак и, спрятав нарты, углубились в тайгу.

Федор повел их пролесками, обходя густые заросли кустарников и невысокие, но отвесные скалы, припорошенные снегом.

Анна легко скользила на коротких удэгейских лыжах¹⁰, стараясь не отставать от Федора, который шел впереди нее, изредка останавливаясь и прислушиваясь к таежным звукам. Снежная тишина, поразившая Анну как только они вошли в лес, оказалась призрачной. То тут, то там слышался звук падающего снега и пружинистый шелест освободившихся от него еловых ветвей. Над головой редко пролетали птицы, издав далеко доносивший еле уловимый хруст веток – и казалось, что пробирался сквозь чашу или зверь какой, или человек... За собой Анна слышала дыхание мужа и мерное поскрипывание его лыж. От этого ее охватывало радостное чувство. Не часто выпадали дни, когда они могли вместе проводить время!

Когда впереди послышался лай собак, Федор поднял руку, и все остановились.

– У Кривого Ручья голоса, – тихо сказал он и снял винтовку.

Кривой Ручей – неширокая таежная речка, петляющая между скалами и крутыми склонами. Его берега были покрыты льдом, но вода бежала в нем, несмотря на мороз. На мелководье крупные камни укрылись белыми снежно-ледовыми шапками, а чуть ниже по течению, перед скалами, сжавшими русло реки с обоих берегов, лежало упавшее дерево. Собаки вертелись на другом берегу, вынюхивая след и ожидая хозяина. Переправившись первым, Федор отогнал их и присел на корточки, внимательно разглядывая следы звериных лап.

– Был здесь тигр, давно, однако.

Анна присела рядом и увидела круглый, размером с тарелку, след, вдавленный в снег. Это впечатлило охотников, видевших Хозяина тайги только на картинках.

– Ничего себе лапка! – присвистнул солдат, поправляя винтовку на плече.

– А как давно? – переспросила Анна, не обращая внимания на озиравшегося по сторонам солдата и вглядываясь в лицо казака.

Тот встал, поджал губы, закрутил ус.

«Опять задумался!» – Анна даже не улыбнулась: не до смеха было.

– Однако, дня два назад проходил, – растягивая слова, проговорил Федор.

Саша согласно кивнул.

– Последний снег шел два дня назад. И тигр прошел здесь.

– Так мы его найдем? – с надеждой спросила Анна приглушенным голосом – у нее перехватило дыхание от волнения.

Федор поразмыслял немного, оглянулся на собак, присвистнул им несколько раз, отчего они разом сорвались с места и помчались по следу, и только потом ответил:

– Отчего не найти, найдем! Если ходит рядом...

¹⁰ Удэгейские лыжи подбивают камусом – оленьей шкурой, чтобы по ходу движения лыжи хорошо скользили. Двигаться на них в обратную сторону не позволяет ворс. Носки лыж загнуты вверх.

С этого момента приятные мысли о прогулке с мужем отдалились, и Анна почувствовала охотничий азарт. Даже красота природы, раскрывшая свои потаенные уголки, не занимала ее.

Аня на лыжах скользит по снегу, следовала за казаком, к которому еще несколько часов назад относилась презрительно за его вальяжность и, как ей казалось, – глупость.

Он сейчас двигался быстро и уверенно, выхватывая острым взглядом все в пределах видимости, останавливаясь и принохиваясь, как зверь, и снова устремлялся вперед. Анна чувствовала в нем уверенность. Эта уверенность передавалась и ей, поэтому она спокойно шла следом. Но усталость давала о себе знать. К тому же Анна проголодалась. И это можно было бы стерпеть – на ходу перекусить сушеным мясом и хлебом, который она испекла загодя, все это лежало у нее в заплечном мешке. Но, как всегда бывает некстати, ей приспичило совсем другое.

Воспользовавшись более длительной остановкой Федора, Аня оглянулась на мужа и, виновато улыбаясь, дала понять, что ей необходимо облегчиться. Саша, недолго думая, пропустил вперед солдата, пыхтевшего за ним, и, осмотревшись по сторонам, показал жене на заснеженные кустарники, разросшиеся вокруг старой раскидистой орешины ниже тропы. К этому дереву она и направилась.

– Посторожи тут, – шепнула она Саше, – и винтовку подержи.

Аня пробралась за дерево и принялась расстегивать одежду.

– Как капуста, – бурчала она, – надо было как удэгейцы одеваться – легко, тепло, а тут пока освободишься...

Покончив с этим делом, Аня уже было собралась идти туда, где стоял в напряжении ее муж, как вдруг тишину разорвал звук выстрела.

Женщина инстинктивно наклонилась и вжала голову в плечи, и тут неожиданно почувствовала удар сверху – что-то огромное свалилось на нее с дерева вместе с облаком снега. В глазах мгновенно потемнело от резкой боли в шее, и Аня потеряла сознание.

Разные ощущения прорывались в ее сознание, словно через ватный барьер. Анна чувствовала, как ее передвигают, перекладывают, слышала голоса, но не могла разобрать речь. Отчего-то зудели щеки, что больше всего раздражало. Она попыталась закрыть их руками, но почувствовав влагу, испугалась и очнулась.

– Тигр! – закричала она, ошупывая свои щеки. – Тигр!

– Тихо, тихо, Аннушка, нет тигра, не бойся, – знакомый, ласковый голос немного успокоил, Аня открыла глаза. Расплывчатое пятно перед ее взором шевелилось, она прищурилась, стараясь разглядеть его. Наконец она четко увидела своего мужа.

– Саша! – закричала Аня, приподнимаясь, но он осторожно уложил ее обратно.

– Тихо, родная, не шевелись, – Саша вытер ее щеки варежкой; они горели и от снега, в который она уткнулась лицом при падении, и от его пощечин, когда он приводил ее в чувство.

– Я говорить, я не стрелять женщина! Я убивать барс!

– Какой барс? – Аня скосила глаза в сторону говорящего и узнала старого удэгейца.

Тибеула Ёминка смирно стоял под прицелом солдата.

– Миша, отпусти его! – Саша поднялся с земли, подошел к старику. – Прости, отец, сразу не разобрался, спасибо тебе, ты жену мою спас, – он посмотрел на неподвижное тело пятнистой кошки. – Я и не знал, что он на человека нападает... не тигр вроде...

– Барс не нападать, барс подсматривать за женщина, барс любопытный быть. Он на дереве лежать и подсматривать.

Как бы ни была трагична ситуация, но объяснение удэгейца никак не вязалось с тем, что случилось.

– Любопытный, говоришь! – Саша засмеялся. Федор спрятал улыбку в усы, а солдатик захихикал, опустив голову. Аня бы тоже рассмеялась, но ей вдруг стало так обидно. Мужикам что? В походных условиях им ведь легче, а женщинам какво! Наверное, поэтому инородцы женщин на охоту не берут, чтобы они барсов не смущали!

– Ну что, мужики, назад идти надо, поохотились... – Саша призадумался. – Аню понесем, да барса забрать бы...

– Я барса сам забрать, вы женщина быстро нести домой. Моя жена звать. Моя жена лечить женщина, – Ёминка подошел к Ане, присел около нее на корточки, расплылся в улыбке. – Ты охота больше не ходить. Дома сидеть. Вкусную еду готовить, – он два раза хлопнул ее по руке, кивнул, приободряя, и, оставив Анну, пошел готовить волок для барса. Федор увязался за ним.

– Однако, Тибеула, как ты здесь оказался? – как всегда, изобразив недоумение, спросил он удэгейца.

– Ты охотиться, я охотиться. Твоя понимай нету? – срезая тонкие стволы молодых деревьев, старик с хитрым прищуром поглядывал на казака. – Много думать – башка болеть. Ты лучше иди собак искать. Куты-Мафа собака любить, собака сладкий, – Ёминка причмокнул.

– Однако, пойду, – сообразил Федор.

– Иди, иди, быстро иди, – улыбаясь во весь рот, старик махнул вслед казаку и принялся за очередную ветку.

Аня лежала в кровати, и слезы текли по ее щекам. Она не могла рот открыть – от любого движения боль ударяла в шею. Саша на следующий же день привез врача. Тот прощупал Анину шею, причиняя еще большую боль, сказал, что перелома нет, а только сильный ушиб, который скоро пройдет, и уехал, наказав прикладывать теплые компрессы. Жену Ёминка Саша звать не стал, сказав, что все знахарские дела по сравнению с медициной – ерунда.

– Вот же напасть какая! – сетовала Клава, полностью взяв в свои крестьянские руки хозяйство Анны и заботу о ее сыне. – Далась вам эта охота! Говорил старик – нельзя охотиться на тигра! А вы не послушались.

Аня хотела было возразить, да еле проглотив слюну, побоялась еще большей боли.

«Причем тут тигр! – думала она, с тоской глядя в потолок. – Приспичило не вовремя, надо было к скале идти дальше, да кто ж знал, что на том дереве барс притаился! Так и не увидела тигра, только след его... – Аня совсем было расстроилась, но вспомнила, как счастливо улыбался Ёминка, когда говорил ей, чтобы дома сидела, на охоту не ходила. – А старик ведь не зря за нами пошел! Боялся, как бы беды какой не случилось, охранял! Только кого: нас или тигра... Права Клава – непростые они люди, удэгейцы...»

Боль в шее не проходила, напротив, она расплзлась по плечам и к лицу. Анна страдала от того, что не могла ни рот открыть, ни головой пошевелить.

– Клава, – превозмогая боль позвала она, – поди к Ёминка, пусть жена его придет, пока Саши нет, худо мне.

«Может, она и правда лечить умеет, сил нет терпеть!»

– Я мигом! – Клава засуетилась, посадила Володеньку к матери на кровать, дала игрушки и, накинув платок и телогрейку, выбежала из дома.

Старый удэгеец склонился над незадачливой охотницей, всматриваясь в ее лицо. Анна улыбнулась в ответ. Боль от напряжения лицевых мышц отдалась в шею. Анна застонала.

– Сейчас, сейчас, жена Ёминка лечить тебя! Потом хорошо будет, совсем хорошо! Почему сразу моя жена не позвал? – спросил он Клаву.

– Не знаю я, – отмахнулась девушка, внимательно наблюдая за маленькой сухонькой удэгейкой, которая, разложив на столе разные мешочки, брала один за другим и высыпала из каждого понемногу порошка в одну чашку.

Она говорила что-то на своем языке, а Тибеула говорил Клавье, что делать.

– Вода кипятить, чумашка¹¹ наливать, бабушке давать, тряпка мочить, на шея ложить.

Володенька, испугавшись чужих людей, заплакал было, да Ёминка дал ему игрушку – деревянного тигра.

– Сэвэн. Бери, играть. Сэвэн тебя защищать, тебе помогать.

Аня протянула руку, погладила сына по спине, чтобы не пугался старика.

– Теперь иди играть, бабушка мать твоя лечить будет.

К Анне с мокрым полотенцем в руках подошла жена Ёминка. Седые волосы, разделенные прямым пробором, она заплела в две тонкие косички, что лежали на плечах. Одетая она была в расшитый халат, прихваченный с одного бока на крупную деревянную пуговицу. Женщина приветливо улыбалась, отчего лица обоих удэгейцев показались Анне одинаковыми: узкие, прищуренные глаза, расходящиеся лучики морщин, круглые, как яблоки, щеки. Только одна щека у жены Ёминка отличалась от другой – безобразный шрам изуродовал всю правую половину ее лица.

– Поцелуй тигра! – воскликнула Анна и чуть не закричала от боли.

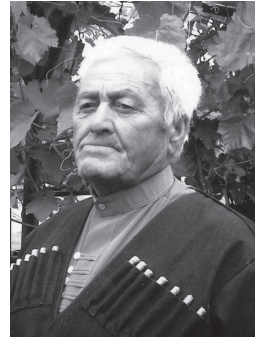
– Куты-Мафа любить моя жена, – согласно закивал головой Ёминка, – Хозяин целовать Летига, давно это было. У стариков жизнь позади! А ты пить чай, тряпка на шея ложить – завтра здоровый быть! У молодого жизнь впереди – ты вперед смотреть!

¹¹ Чумашкой удэгейцы называют черпак, обычно сделанный из бересты.

ПОЭЗИЯ

Рашид АЗИБЕКОВ

*В небесный омут с головой
шагнул в ту осень я,
Раскрылся купол надо мной -
она судьба моя*



Рашид Батырбаевич Азибеков (поэтический псевдоним – Владимир Гиреев), известный летчик–инструктор, парашютист, планетарист, воздухоплаватель. Он мастер спорта, выпускник Симферопольского аэроклуба. За его плечами свыше 4200 прыжков с парашютом. Первый прыжок Р. Азибеков совершил 20 сентября 1958 года, а в 2010 году – сразу пять прыжков с парашютом на аэродроме г. Джизака.

Рашид Батырбаевич пишет стихи о самом дорогом для него – о небе, ранних рассветах, о друзьях, об ожидании полета, об аэродромах.

* * *

Из-за высоких горных круч
Заря огнем пылает.
И первый, красный солнца луч
Простор земли ласкает.

Лаская, будит тишину
Лесов, холмов полей.
Коснувшись, тронет он струну
Чуть-чуть в душе моей.

Сегодня первые прыжки –
Друзья готовят старт,
Равняют в линию флажки
И парашютов ряд.

Аэродром наш полевой.
Аэростат висит.
И, расплескавшись синевой,
Та высота к себе манит.

В небесный омут с головой
Шагнул в ту осень я.
Раскрылся купол надо мной –
Она судьба моя.

КУПОЛА НАД ЗАРАФШАНОМ

В синем небе чудная картина
Красотой неповторимую мила.
Там под рокот птицы винтокрылой
Распускались в небе купола.

В день апрельский город средь пустыни,
Город дружбы, юности твоей,
Молодой, рабочий и спортивный,
Празднует сегодня юбилей.

Стадион пестреет меж домами.
Парашюты, как в цветном кино.
Синий колер красными дымами
Разрисует неба полотно.

Будто в перелетном клине строгом
Парашюты птицами парят.
Рукоплещет стадион с восторгом,
И мальчишки с завистью глядят.

Есть на свете красота и сила,
Что мальчишек за сердца взяла.
Та неповторимая картина,
Купола над Зарафшаном, купола!

* * *

В моей жизни святое кредо –
Я так верю всегда в этот круг,
Очень сильно влюбленных в небо
Сердца близких друзей и подруг.

А для тех, кто мир грешный покинул,
Память добрую в сердце храня,
Приношу я цветы на могилу,
Говорю им, чтоб ждали меня.

Ждите там, я во встрече уверен,
И давно уже хожу по краю.
Распахните мне райские двери,
Я уверен, что вы там в раю.

Нашу память поставим на карту,
Эта память проста и чиста.
Вы в раю по земному благу
Для друзей «забывайте» места.

Пусть желание станет вершиной,
Одна улица будет и дом.
Будет там парашютной общиной,
Рядом будет аэродром.

По утрам с соловьиной трелью
Будем мы отправляться в полет.
С парашютом на райскую землю
Опускаться с райских высот.

МАРЬИНО

Был в предгорье Четыр-Дага
Планедром под названием Марьино.
Там палатки рядом у оврага,
А вдаль городская окраина.

В небе утреннем аэростат,
И поля, и холмы голубые.
Здесь встречали рассвет и закат,
Здесь мы в небо шагнули впервые.

В доброй памяти эти холмы,
И роса, и трава ковыля.
Здесь однажды впервые мы,
Как птенцы, обрели свои крылья.

И навечно запали в сердца нам
Рассветы над теми холмами.
Уютное гнездышко Марьино,
Птенцы твои стали орлами.

Место юности нашей – Марьино,
Все святое навек сохранит.
И такое простое название,
Оно песней во мне звучит.

ДЕСАНТ

Самолеты порою росистойю,
Едва зорька взошла,
Во все небо рассыпали
Над равниной купола.

Парашюты плывут над равниною,
Самолеты – за строем строй.
Восхитительней в мире картины
Нигде не увидишь такой.

Как тысячи птиц белокрылых
Собрались в перелет стаяй всей,
Вереницы тюльпанов красивых
Покрыли квадраты полей.

Я гляжу, как над тюльпанами
Батальоны с задачей одной:
Захватить, удержать плащдармы,
Приземлившись, вступают в «бой».

* * *

Приснился сон, что купол не раскрылся –
Шальным потоком был закручен в жгут,
Приснился сон – товариш мой разбился,
Лежит в траве и рядом парашют.

И рядом разговор про рок и парашюты,
Про ряд проблем, понятные не всем.
И нужные слова в те скорбные минуты,
А может быть, – не нужные совсем.

А может быть, молчание важнее,
Чем речи недругов с друзьями в унисон.
А у меня на сердце вдруг теплее,
Что это был всего лишь только сон.

КОКТЕБЕЛЬ

Прибоев радужных палитра
Сверкала в каменных грядках.
Над серым платом Уэун-сырта
Навис громадой Карадаг.

Угрюмых скал изломы старые
Вечерний освещал закат.
И звезды, будто в планетарии,
И ночь вся в стрекоте цикад.

А днем, конечно, ветру тесно,
Он с силой бьет о грудь скалы.
Будто застывши в поднебесье,
Парят огромные орлы.

Здесь все пропитано полетом,
Душа стремится в высоту.
Не променяешь здесь на что-то
Свою крылатую мечту.

Других, конечно, нет стремлений,
С годами это не прошло.
Фанаты многих поколений
Здесь становились на «крыло».

И для меня всегда звучало
Одно лишь слово – Коктебель.
Страны крылатое начало,
Для многих асов – колыбель.

Ах, Коктебель, мечтой пылая –
Мечта с судьбою пополам –
Имел бы только два крыла я,
То полетел бы к тем орлам.



ПОЭЗИЯ

Рано ЮНУСОВА-АЗИМОВА

*Я вобрала в себя
этот мир*

Рано Юнусова-Азимова родилась в 1947 году в г. Ташкенте. Окончила факультет русской филологии ТашГУ (ныне Национальный университет Узбекистана).

Преподавала русский язык и литературу в Республиканском педагогическом институте, кандидат педагогических наук, доцент. Была литературным редактором республиканского научно-методического журнала «Преподавание языка и литературы», является автором многочисленных статей по педагогике и методике преподавания языка. Занималась переводом с русского на узбекский язык и с узбекского на русский.

Стихи начала писать и публиковать со школьных лет в молодежных и юношеских периодических изданиях, а также в «Ташкентской неделе», «Новом веке». Неоднократно выступала с чтением своих стихов на радио «Пойтахт».

* * *

Я не помню маму молодой,
Беззаботной, ласковой, красивой –
Вижу лишь усталой и седой,
В будничной мороке суетливой.

Лик сокрыла строгости печать.
Нежны краски. Совершенство линий
Лишь в глазах, отринувших года,
Непреклонность – в зазеркальной сини.

Если время щедрою рукой
Нам дарует миг, что в Лету канет,
Почему нечаянно порой,
В зеркало смотрясь, я вижу маму?

* * *

Я осталась там, где правит осень,
Где горюет ветер в проводах,
Мед полыни по камням уносит
Родника беспечная вода,

Где река мерцает звездной пылью,
Небеса склоняются к глазам,
Стрекозы прозрачные надкрылья
Держат счастья призрачный туман,

Где дубок стреляет желудями,
Озаряет душу листопад,
Паутиной нити жизни тянут
Облака, вливаясь в никуда.

Я осталась за двойной звездой,
Неисповедимы все пути.
Если манят огоньки становий...
Здесь теперь себя мне не найти.

* * *

Я заболела именем твоим,
хотя дороги не к тебе приводят,
и вина в тихом сумраке темны,
от смеха скулы судорогой сводит.

Привычка эта молча убивать
своим спокойствием лишь самых близких –
единственная, может, благодать
в моей размеренной и тихой жизни.

От смеха – трезвость, и последним сном
пожатье рук, короткое, как выстрел,
дождливый город, петербургский дом
и тишина – пронзительнее свиста,

и двери настезь, будто век назад
здесь кто-то насмерть разучился плакать.
И дома одинокая душа
болит ночами, как моя когда-то.

* * *

Океанами ярких брызг
рассыпается солнце по комнате,
чтоб глазам моим снова явить
блики снов, что обычно не помнятся,
будто шорох в вершинах деревьев
в суете – соловьиные трели,
как по капле уходит с зарей
жизни мера уже с колыбели...

* * *

Не сладок сахар, соль не солона,
Лишь горечь неизбывного сиротства,
Аскезы поневоле благородство,
Когда всю бесчинствует весна.

До лучших дней отложены дела,
Уже не мучит глупое сомненье
Судьбы, противоборствующей рвению,
Что вместе несводимое свела.

* * *

Ко мне море пришло на Анхор
Вместе с той белокрылою чайкою,
Что, расставшись с крикливою стайкою,
Пререзает зеркальным простором озер.

Но ракушкой на донном песке
Я ношу в себе залежи памяти,
Груз обыденный прошлого, тяготы –
Наслоения века в реке, –
Словно джинна из лампы, в руке.

Я вобрала в себя этот мир,
Что с рожденья всяк видит по-разному,
В каждой капле его утро праздную,
Отвергая возврат «черных дыр»,
Осененная взмахами крыл.

* * *

Любе Тиллябаевой

Сентябрьская прохлада хризантем
Уже напоминала сожаленье,
Сменилось время осенью затем,
Чтоб сделать год великим нетерпеньем.

Высокое прощанье журавлей,
В осенних листьях свет звезды летучей,
Слились в невыразимое созвучье,
Безмолвье долгих слов преодолев.

То в отголосках благостной зимы
Дни уходили, медлили, кружились.
И был бы этот миг совсем забыт,
Как забывают годы в спешке жизни.



проза

**Галина РАХМАТУЛЛАЕВА,**доцент кафедры русского языка
Университета мировой экономики и дипломатии

Галина Мадраимовна Рахматуллаева – известный в республике педагог-филолог, автор ряда учебников, учебных пособий для школ, лицеев и вузов и большого количества научных и публицистических статей. Широта кругозора, высокий уровень педагогического мастерства, безграничная преданность своему делу, ставшему призванием, снискали ей любовь и уважение учеников. Галина Мадраимовна – лауреат Пушкинской премии 2003 года для учителей русского языка и литературы в странах СНГ, лауреат конкурса на звание «Лучший учитель русской словесности Узбекистана» 2003 года, член-корреспондент Российской академии педагогических и социальных наук, автор стихотворений и рассказов. Она – Отличник народного образования, а также Отличник среднего специального, профессионального образования Республики Узбекистан. Г. Рахматуллаева является автором целого ряда стихотворений и рассказов.

«Мозаика жизни» – небольшая подборка коротких рассказов, вернее – зарисовок, высветивших из обыденной жизни тонкие, порой грустные мгновения. Это миниатюры настроения, мозаика жизненных коллизий, уходящих в необратимое никуда, из которых и складывается наша жизнь.

МОЗАИКА ЖИЗНИ

СУДЬБА

Накануне Нового года Вера Ивановна, учительница начальных классов, впервые не спешила после уроков домой. В той, прошлой жизни, она в такие дни еще по дороге домой всегда составляла перечень приятных предпраздничных дел для всех членов своей маленькой семьи. Она хлопочет на кухне: какой же новогодний праздник без традиционных оливье, винегрета, селедочки «под шубой» и ее любимого торта-медовика? В это время муж устанавливает елку, достает с антресолей игрушки и вешает гирлянду, а затем они вместе с маленькой дочкой Анечкой наряжают пахнущую хвоей лесную красавицу.

Вера Ивановна так явственно представила себе пухлые крошечные пальчики пятилетней дочери, которая бережно подавала отцу яркие блестящие шарики, атлетическую фигуру мужа, от которой всегда веяло силой и надежностью, что слезы хлынули из ее глаз. «Почему я в тот день не поехала с ними на дачу? Может быть, тогда

с ними ничего не случилось бы?» – в тысячный раз спрашивала она себя. Откуда он взялся, тот проклятый груженный самосвал, который перечеркнул всю жизнь Веры Ивановны и унес самое дорогое – любимого мужа и дочку, буквально вымоленную у Бога на десятом году супружеской жизни?

Женщина одиноко стояла на автобусной остановке и плакала, а мимо спешили озабоченные предпраздничными хлопотами горожане. Идти домой совсем не хотелось. Вера Ивановна вытерла слезы и огляделась вокруг. Рядом с остановкой было кафе «Вернисаж», призывно сверкавшее разноцветными огоньками новогодней елки. «Зайду, выпью чашечку кофе, успокоюсь и пойду домой. Надо крепиться, жить, несмотря ни на что, ведь наши любимые люди живы, пока мы о них помним», – уговаривала себя Вера Ивановна.

В небольшом кафе было по-домашнему уютно: звучала тихая приятная мелодия, вкусно пахло свежей сдобной выпечкой. Свободным было только место за столиком, где с недопитой чашкой чая сидел мужчина средних лет. «Вы позволите?» – спросила Вера Ивановна. Мужчина, не глядя на нее, молча кивнул на свободный стул. «Не очень-то он любезен», – усмехнулась она про себя.

Вера Ивановна заказала кофе и пирожное. Что-то в сидевшем напротив мужчине беспокоило ее. Она взглянула на него и внутренне обмерла: он чем-то удивительно напоминал ее Андрея. «Надо же, – подумала Вера Ивановна, – как люди могут быть похожи!»

Мужчина, почувствовав ее пристальный взгляд, поднял на нее глаза. «Боже, неужели в глазах человека может быть столько боли и тоски?» – подумала Вера Ивановна. «Простите, вы что-то сказали? Я не расслышал – задумался. Знаете, в последнее время на меня столько всего навалилось, я стал таким рассеянным, простите», – усталым голосом произнес он. «Я вас очень хорошо понимаю», – ответила Вера Ивановна.

Как это часто бывает, незнакомым людям легче раскрыть душу. Они разговорились, и Вадим рассказал о постигшем его горе: весной буквально за два месяца «сгорела» от рака его красавица жена, оставив ему шестилетнюю дочь Иринку, которую он вынужден был отвезти к своей старенькой маме в Фергану. Он страшно по дочке скучает, часто звонит, но разве телефонный разговор может заменить живое общение? А сегодня он случайно зашел в это кафе, потому что накануне праздника находится в пустой квартире одному очень тяжело.

Вера Ивановна, обычно старавшаяся поглубже спрятать свои чувства от посторонних, почему-то тоже рассказала Вадиму о своей беде. Удивительно, как этим людям, познакомившимся чуть более получаса назад, было легко общаться! Они старались утешить друг друга, говорили слова, которые бы хотели услышать сами. Удивительно, но у обоих складывалось такое впечатление, что они давно знакомы...

Из кафе они вышли вместе.

СУМАЛЯК

Провожали ее в районную больницу почти всем небольшим горным селом Осмонсай.

Тетушка Мехринисо, заботливо укутывая соседку ярким лоскутным одеялом приговаривала: «Выздоровливай и возвращайся поскорее, подруга! Скоро Навруз, и мне, старой, одной не справиться. Да и какой праздник без твоего самого вкусного в кишлаке сумальяка». Ребятишки долго бежали за машиной и кричали вслед: «Возвращайтесь домой поскорее, Любаша ая!»

Любаша... Так с легкой руки Хамида и зовут ее все от мала до велика. «Эх, Хамид, Хамид! Видел бы ты сейчас свою Любашу, – старую, больную, немощную», – усмехнувшись, начала свой привычный мысленный разговор с мужем Любовь Андреевна. Дорога в райцентр была долгой, и перед глазами женщины, как в кадрах старой хроники, прошла вся ее долгая жизнь.

Конец весны 1941 года. Вот она, юная выпускница медицинского училища, – хотушка, красавица, лучшая певунья в родном рязанском селе, землячка Есенина. Кажется, весь мир у ее ног, впереди столько дорог – выбирай любую! Училась Любочка хорошо и могла бы поступить в медицинский институт, но решила годик поработать перед тем, как сделать окончательный выбор. Ей хотелось помочь маме, одной растившей их с братиком. Разве могла она тогда даже подумать, что вскоре окажется не где-нибудь в маленькой сельской амбулатории, а на самой настоящей войне! Там, где кровь и людские страдания, где вражеские пули не разбирают, кто перед ними – опытный воин или такая птичка-невеличка, как миниатюрная Любочка.

Через год после начала войны Люба получила известие о гибели во время бомбежки своих самых близких людей. Вот когда она поняла значение слов «сердце окаменело». А в конце войны судьба свела ее с Хамидом. После ожесточенного боя Люба с санинструктором Ольгой подбирали раненых. «Посмотри, Любаша, какие у него длинные ресницы – любая девушка позавидовала бы. Жаль, погиб таким молодым», – заметила Оля, подойдя к бойцу, без малейших признаков жизни лежавшему в луже крови. Люба приложила ухо к груди бойца: жив! Только потом она взглянула на его лицо, и что-то словно шевельнулось в ее груди. Очень красивое лицо восточного типа с тонкими чертами, сохранившее смуглость несмотря на большую потерю крови.

Доставленному в медсанбат тяжелораненому Люба оказывала особое внимание – очень жалела. Молодость и уход сделали свое дело – он начал выздоравливать. Люба стала замечать, что при ее приближении на лице раненого появлялась улыбка, глаза смотрели тепло и приветливо. Она уже знала, что его зовут Хамидом, что он родом из далекого узбекского села, где его с нетерпением ждет с войны любимая матушка. Их разговоры становились все более продолжительными и откровенными. Узнав, что у Любаши (а он называл ее только так, с каким-то удивительно ласковым легким акцентом) нет никого, Хамид как-то сразу посерьезнел и спросил, как она к нему относится. «Жалею», – ответила Люба. Хамид от своих фронтовых друзей уже знал, что это значит в понимании русской женщины.

Он не сказал Любаше, что написал матери письмо обо всем, что с ним случилось. Ответа долго не было, и он стал заметно нервничать. Ничего не подозревавшая Люба думала, что это связано с его скорой выпиской из госпиталя и их расставанием. Когда же письмо было получено, Хамид попросил удивленную Любу пойти с ним к главврачу Александру Федоровичу. В его присутствии, поскольку у девушки нет родителей, он сделал ей предложение. Сообщил, что его матушка согласна, чтобы он женился на своей спасительнице, что она с нетерпением ждет их.

Вот так и появилась после войны в горном кишлаке Любаша. Она стала для матери Хамида не невесткой, а любимой дочкой, полюбила окружавших ее простых, добрых и бесхитростных людей, прониклась их нравами, приняла их быт. Любовь Андреевна, все эти годы проработавшая акушеркой, стала родным человеком в каждой кишлачной семье. Они прожили с Хамидом счастливую жизнь. Незадолго до своей смерти Хамид шутил, что свою миссию на земле выполнил: вырастил замечательного сына, построил

дом, посадил дерево. Да не просто дерево, а настоящая русская березка (раздобытая где-то с большим трудом) растет теперь у них под окном.

После смерти мужа сын забрал ее к себе в город, но она, несмотря на любовь к внукам и заботу невестки, не смогла жить там больше месяца. После села ей было странно, что жильцы многоквартирного дома живут обособленно, почти не общаясь друг с другом. Что вода из крана, а не из студеного прозрачного родничка. Что молоко из пакета, а не душистое, парное, прямо от коровки. Что на столе буханка хлеба из магазина вместо румяной лепешки из своего тандыра. И многое-многое другое. Только вернувшись в кишлак, она поняла, насколько ей здесь все близко и дорого...

На празднике Навруза и этой весной сумалак у Любаши ая был самым вкусным.

«ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ...»

По делам семейным довелось мне ранним мартовским утром держать путь в Фергану. Удивительно, как явно видны приметы времени! На Куйлюке водителей, занимающихся частным извозом в благословенную Ферганскую долину, было на тот момент гораздо больше, чем потенциальных пассажиров. Свои услуги предлагали владельцы маленьких юрких «Тико», солидных «Нексий», похожих на сундучок «Дамасов», крутых иномарок – глаза разбегаются.

Чтобы не терять времени, я облюбовала новенькую светло-серую «Нексию», в которой уже сидели трое пассажиров. Моими попутчиками были две женщины и мужчина. Как обычно, в дороге очень легко знакомишься с людьми, и мы разговорились. Молодая женщина Самина приковывала к себе внимание количеством ювелирных украшений, сверкавших на ней и напоминавших о не столь давно прошедших новогодних праздниках. Она, бизнесвумен из Маргелана, на протяжении почти всего пути не выпускала из рук мобильного и хорошо поставленным голосом армейского генерала отдавала своим подчиненным короткие резкие команды что-то покупать, продавать, разгружать и загружать.

Вторая попутчица, Наталья Ивановна, бывшая учительница. Она возвращалась домой в Фергану из Оренбурга, где три месяца помогала дочери в связи с рождением у той ребенка. Наталья Ивановна расхваливала своего первого внука, конечно, самого красивого и смышленного на свете.

Единственный мужчина-попутчик ехал проведать свою старенькую матушку, прикованную болезнью.

Лента асфальтированного шоссе пролегает вдоль красивейших мест. В горах еще немало снега. Чтобы продлить свои воспоминания о поездке, сделала снимок горной дороги.

Любуюсь пейзажем и не могу оторвать глаз от гор, скал, огромных валунов. «Чего только они не видели на своем веку?» – под мерный гул автомобильного мотора почему-то приходят в голову мысли о вечном.

Вспомнился недавно перечитанный (уже в который раз!) роман Абдуллы Кадыри «Минувшие дни». Действие в нем происходит в середине XIX века и с тех пор прошло уже более ста пятидесяти лет. Меняется эпоха, развиваясь вместе со временем. А это значит, что из Ташкента в Фергану сейчас можно доехать за 3 или 4 часа, в то время как тогда верхом на лошади доезжали за 4–5 дней, а на арбе за 8–10 дней.

И все в этом мире повторяется. Сейчас бизнес-леди решает свои коммерческие дела, а тогда Атабек привез из Ташкента в Маргелан, (в то время по ткацкому делу первый город в Туркестане), материю, обувь, казаны. Люди, как и теперь, работали, любили друг друга, страдали. Сколько всего пришлось пережить Атабеку и его жене – красавице Кумуш! Их матери, Офтоб-айм и Узбек-айм, как моя нынешняя попутчица Наталья Ивановна, тоже мечтали о счастье своих детей и о внуках, а мой задремавший попутчик спешит выполнить свой сыновний долг.

И сегодня, для моих современников, как и для моих любимых героев так же актуальны проблемы добра и зла, долга, чести и бесчестия, верности и предательства, нравственного выбора, без решения которых не удастся пройти по жизни ни одному человеку.

Время в раздумьях прошло незаметно. Из Ташкента в Фергану мы добрались за 4 часа.

Дорожные размышления привели меня к выводу о том, что жизнь быстротечна, но нельзя забывать о связи времен, потому что, как поется в известной песне, «есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется “жизнь”».

ЖЕСТОКОСТЬ

Марии Николаевне очень захотелось отведать докторской колбаски: розовой, сочной, ароматной, без единой жиринки, с тем незабываемым послевоенным вкусом, который ей, тогда семилетней девочке, запомнился на всю жизнь. Вернувшийся с фронта отец привез подарки и гостинцы, среди которых была и докторская колбаса. Маше казалось, что нет ничего на свете вкуснее и быть не может.

И вот теперь, столько лет спустя, этот вкус почему-то начал преследовать Марию Николаевну, она даже во сне несколько раз видела докторскую колбаску. «Вот блажь какая, чревоугодие, – подтрунивала над собой Мария Николаевна. – Ничего, вот получу пенсию – устроим с Каштанкой пир!» Каштанка – это хромая беспородная собачонка, которую она умирающей подобрала прошлой зимой в подъезде. Видимо, ее сбила машина, как предположил по многочисленным переломам ветеринар. Заводить собаку Мария Николаевна не собиралась, но так уж получилось. Когда собака начала поправляться, вопрос о выборе для нее клички перед Марией Николаевной, бывшей учительницей русского языка и литературы, не стоял – Каштанка.

Появление собаки скрасило затянувшееся одиночество старой женщины. Четыре года назад у нее была большая семья: сын, сноха и двое любимых внуков. Сноха Валентина постоянно уговаривала мужа переехать в Подмоскovie, где у нее были дальние родственники. Сын Марии Николаевны, Станислав, долго на уговоры не поддавался, но когда жена предъявила ему ультиматум и заявила, что заберет детей и уедет, Мария Николаевна ради сохранения семьи уговорила сына согласиться на переезд.

Решено было, что сын с семьей уедет, и как только они обоснуются на новом месте, заберут к себе Марию Николаевну. Ей, не совсем здоровой пенсионерке, дескать, трудно будет ехать в неизвестность. Никаких особых сбережений в семье не было, и сноха предложила продать четырехкомнатную квартиру свекрови в кирпичном доме, а ей купить однокомнатную в железобетонной многоэтажке на окраине Ташкента.

Сначала письма приходили часто. Сноха писала о том, что в купленной квартире делают ремонт, старший внук поступил в техникум, а младший пошел в школу. Валентина сразу нашла работу экономиста в строительном тресте, а Станислав, высококвалифицированный инженер-механик, вынужден перебиваться случайными заработками, стал выпивать. Мария Николаевна знала, что ее сын, очень мягкий человек, сильно страдает из-за своей невостребованности. Его угнетало, что мать вынуждена жить одна на маленькую пенсию, вдали от него, унижало положение «подкаблучника», упреки жены о том, что он не может материально обеспечить семью.

Мария Николаевна, получив очередное письмо, плакала и в ответ писала, что она надеется на то, что у них все образуется, и просила за нее не беспокоиться – у нее все хорошо, она жива-здорова. Ей было обидно, что внуки, выросшие на ее руках, ей не писали. Наверное, не даром говорится: «С глаз долой – из сердца вон». Но она надеялась, что когда они смогут ее забрать к себе, все будет по-прежнему.

Через полтора года после отъезда сына, как раз в день рождения Марии Николаевны, пришло последнее письмо от Валентины. Сноха писала, что три месяца назад со

Станиславом случилось несчастье. В тот день они в очередной раз поскандалили из-за его неумения жить и пристрастия к спиртному. Он ушел из дома, и его не было семь дней. А потом позвонили из милиции и просили прийти в морг на опознание. Станислав погиб, попав под пригородную электричку, умышленно или по неосторожности – об этом теперь не узнает никто. Валентина писала, что решила не сообщать Марии Николаевне о дате похорон сына – какой был смысл ехать в такую даль, и что от этого изменилось бы? В конце письма Валентина упрекнула свекровь, что та всегда уделяла больше внимания воспитанию своих учеников, нежели собственного сына, и хорошо, что она увезла от нее внуков, потому что не исключено, что и на них она бы влияла отрицательно. Валентина писала, что она еще молода, а мальчикам нужен отец. К ней сватается хороший человек, сосед, бездетный вдовец, и она, скорее всего, примет его предложение.

Как Мария Николаевна пережила гибель сына, знает только она. Из статной, молодой женщины она превратилась в сгорбленную высохшую старуху. Временами Марии Николаевне казалось, что жизнь потеряла всякий смысл. Но время лечит. Нет, горе не забывалось, просто боль и сердечная тоска притупились – и только. Наверное, Бог сжалился над этой женщиной, когда послал ей раненую собаку. На нее Мария Николаевна направила свою еще не растрченную заботу и внимание, потому что понимала и сравнивала ее физическую боль со своей душевной болью. Вот так она и жила – размеренно, неинтересно, одиноко. Старых подруг она растеряла, с соседями обшались вежливо-отстраненно.

Было 15 число, и почтальон Наташа принесла пенсию. По старой учительской привычке писать поурочные планы-конспекты, Мария Николаевна стала составлять смету предстоящих расходов. Рассчитав деньги на квартплату и коммунальные услуги, на нехитрый набор продуктов на месяц, она решила, что сможет по статье «непредвиденные расходы» купить граммов 200–300 докторской колбаски.

Принарядившись и аккуратно причесавшись, Мария Николаевна надела на Каштанку поводок, и они не спеша направились не в небольшой магазинчик, как обычно, а в супермаркет – гулять так гулять! Как приятно: на улице тепло, над тротуаром крона изумрудной листвы деревьев, и старая учительница вновь вспомнила незабываемый вкус послевоенной докторской.

На перекрестке они остановились. «Я-то этот вкус знаю и помню, и тебе, Каштанка, я надеюсь, он понравится», – нагнувшись к собаке, сказала Мария Николаевна. Загорелся зеленый свет, и они не спеша продолжили свой путь.

Страшный визг тормозов вывел ее из приятных размышлений о предстоящем пиршестве.

– Куда прешь, старая дура? Жить надоело?

Из крутой иномарки выскочил мордатый парень и угрожающе навис над Марией Николаевной.

– Что, дома не сидится, старая калоша? Вот из-за таких, как ты, и происходят аварии, а потом порядочным людям приходится отвечать. Сама еле ноги передвигает, а еще с собакой. Тоже мне, блин, дама с собачкой выискалась!

«Боже мой, – пронеслось в голове у Марии Николаевны, – да это же Ильхомчик, мой бывший ученик! Как возмужал, как чисто, без акцента он говорит по-русски! Молодец! И Чехова не забыл». Она, подняв голову, с улыбкой смотрела на него.

– Нет, она еще и улыбается! Ты что, издеваешься надо мной? Ну, чего молчишь? Ты что, немая, как Герасим? – продолжал свой монолог молодой человек, явно вдохновленный вниманием начавших собираться вокруг них людей.

Мария Николаевна поняла: она так изменилась, что бывший ученик не узнал ее. Не желая ставить его в неловкое положение, назвав себя, старая учительница не нашла ничего лучшего, как извиниться: «Прости, сынок, я задумалась. Прости».

Продолжать свой путь дальше она не могла, – слезы душили ее, застилали глаза. О цели своего неудачного похода – докторской колбасе – она напрочь забыла.

ПОЭЗИЯ

Маргарита ТАРСИНА

*Созвучие чувств*

* * *

Руми, Хайям и необъятный Данте,
 У вас и жизни я всегда училась.
 Под гулкий стон веков и песнь вагантов
 Да осенит наш мир любовь и милость!

Поэзия – властительница дум,
 Я счастлива, что мы не разминулись.
 Она на век смутила душу, ум,
 И рифмы тайнописью обернулись.

Постичь ее не хватит жизни мне,
 Но не устану до конца учиться,
 И, к небесам взывая в тишине,
 Неистово молиться и трудиться.

* * *

*Посвящается 5-й годовшине открытия музея
 Анны Ахматовой в Ташкенте*

Чигирь, мангал, арык и балхана,
 Сплошь новые понятия и слова.
 Далекая восточная страна,
 Ассоциация из детства – сладкая халва.

В тени дувала женщина идет,
 Чье имя знают все наперечет,
 Простое платье, нитка темных бус,
 Рифмующихся чувств горчащий вкус.

И все, чего коснется этот взор,
 Все в памяти, как шелковый узор.
 И чувства переплавятся в слова,
 От их красоты кружится голова.

Бессмертье обретает тот мангал,
Что в лихолетье ей еду давал.
Полвека с лишним минуло с тех пор,
Но жив мангал судьбе наперекор.

Музей живет, музей хранит былое,
Ахматовскую царственную статью,
Зайди, услышишь слово там благое
И благодарственное: «Анне, исполать!»

РАДЕНИЕ С ГРАНАТОМ

С чем красоту граната мне сравнить,
Возможно ль вкус его отобразить?
Разбор всех чувств на помощь призову,
И разобравшись, так их назову.

Лежит передо мной округлый фрукт,
Увенчан шестизвездочной короной,
В окружности и сбоку очень крут,
Закатно-розовый, пурпурный иль бордовый.

Когда его рукою обоймешь,
Уютно помешается в ладони.
Устойчивую тяжесть ощутишь
И шелковую гладкость холки пони.

Сожмешь его упругий, гладкий бок,
Откроешь и с восторгом захлебнешься.
Из зерен брызнет ярко-алый сок,
И будешь пить, пока не оторвешься.

Но вот насытился и вскрыл еще один,
Гармонии природной поразился.
Как зерен много, а гранат один,
Он твердой кожей зашил.

Сообществу людскому у плода
Как жить в согласьи надо бы учиться.
Тогда не наступала бы беда,
И дружбой обшей мы могли б гордиться!

* * *

Бричмулла, не раскрывай секрета
Путникам, пришедшим невзначай,
Очаруй игрою тени, света
И с собой свиданье не продляй.
Если захотеть, то можно слышать
Тихую беседу древних гор,
Что в тиши мечтой о прошлом дышат
И ведут неспешный разговор.

Да, немало там перебивало
 Молодцев отважных и лихих,
 Чье воображение отрезвляло
 Скал величье, древних и седых.
 Помню, как попал туда впервые
 И проснувшись утром на заре,
 Оробела от громад стихии,
 От вершин под снегом, в серебре.
 Помню общежитие, палатки,
 Смех подруг, украдкой чей-то взгляд.
 Свежесть утра сон сменяет сладкий,
 Холод родника, цветов наряд.
 Все казалось прочным и навечно,
 Праздник счастья, дружбы естество,
 Споры о ночной дороге Млечной
 И светил молчащих торжество.

* * *

Что за термин – «дикая природа»?
 Дикости в ней не было и нет,
 От гармонии и до времен погоды
 Льет на всех прелестный, ясный свет.

У нее учиться и учиться
 Мудрости, служению добру,
 Не мешая никому, не суетиться,
 Приводя себя в порядок поутру.

И деревья, и кусты, и травы
 Дарят ощущение красоты,
 Прорастают и цветут во славу
 Чуткости, терпенья, чистоты.

Тишину спокойно воспевают,
 Место жизни не спешат сменить,
 Все на веру принимают,
 Чтоб затем потомству подарить.

Слово «дикость» ей не подобает,
 Бескорыстие – ее девиз,
 А секреты жизни точно знает,
 Утверждая принцип – всем делись!

Кто ее с восторгом наблюдает,
 Помогает, холит, бережет,
 Благость Божию воспринимает,
 А на Небе пишется зачет.



проза

Ольга ГРИГОРЬЕВА

Синдром страха, или закон матрешки

Фантастический роман

28

Вот уже которую ночь Олега мучила бессонница. Сначала вроде бы крепко засыпал, потом начинали тревожить тяжелые, «душные», незапоминающиеся сны, а часа в три или полчетвертого просыпался и все, и до утра уже не мог больше глаз сомкнуть. К семи вновь начинал одолевать липкий и такой желанный сон, но позволить себе расслабиться и «уйти» в него он не мог, потому что знал: если позволит, то проснется не раньше двенадцати, а то и в час дня, а такой роскоши он не мог допустить по многим причинам. Во-первых, напряженно обстояли дела на фирме. Без Виктора и Уткура что-то стало распадаться, не стыковываться, не склеиваться... Синонимов можно подобрать много, русский язык богат на синонимы, только суть дела от этого не менялась. Им с Умидом явно не хватало опыта и... и, пожалуй, веса в определенных кругах. Черт, как не вовремя сдох этот Уткур! Хотя кто его знает, может быть, и наоборот вовремя, ведь он начал серьезно копать под него, под Олега. Смерть Виктора ему, видите ли, покоя не давала, решил свое расследование провести, тоже мне Шерлок Холмс!

Олег перевернулся на другой бок и попытался снова уснуть, прогнав тревожные мысли, но они не желали «прогоняться», а наоборот, наплывали и наплывали, вызывая тревогу и раздражение.

Сейчас в фирму еще старший сынок Уткура лезет на правах наследства. Умид от одного вида этого «сынка» зеленым становится. Надо же, избавила судьба от папаши, так теперь наследничек под ногами путается.

Олег вздохнул и снова попытался удобно устроиться на кровати: не получилось, зато хорошо получилось думать.

Во-вторых, и с самим Умидом отношения стали внятненько. Недавно так пощипались – чуть до драки дело не дошло, еле сдержались оба. Умид считает, что во многих срывах в работе виноват именно он, Олег, якобы из-за своего неадекватного поведения. Какое еще к черту неадекватное поведение! Никаких серьезных проступков он за собой вообще не помнит!

Подумав об этом, Олег окончательно расстроился и окончательно проснулся. Электронные часы равнодушно высвечивали 3.20. Мелькали секунды, исчезали минуты, съедая отпущенный ему, Олегу, срок жизни. Особенно остро эти ощущения возникали у него в новогоднюю ночь, когда, глядя на стрелку, он буквально физиче-

ски ощущал быстротечность и неумолимость коварного времени: тик, так, тик, так – полночь! С Новым годом! Звенят бокалы с шампанским, звучит радостный смех, а секунды равнодушно продолжают шелкать, и если вдуматься в эту ситуацию, то непонятно: по поводу чего все столь бурно веселятся? По поводу того, что сделали еще один шаг к могиле?

Так, это мысли идиота, – оборвал сам себя Олег, – никогда не стоит заикливаться на таких вещах, иначе вообще все в этой жизни потеряет смысл.

Стараясь не разбудить Елену, он осторожно встал с кровати, накинул халат и прошел на кухню. Налил в стакан холодной воды, выпил залпом и, сев за стол, уставился в черный провал за окном. Там что-то скрипело, шуршало, иной раз по стеклу снежной плеткой лениво хлестал ветер, оставляя мелкие ледяные быстро тающие крупинки. Зима, ненадолго обманувшая синим небом и теплой погодой, вновь проявляла свой серьезный характер.

Очень хотелось курить. Елена плохо переносила запах сигарет и не разрешала дымить в комнатах, приходилось либо выходить во двор, либо, приоткрыв окно, курить на террасе, но сейчас он не собирался этого делать. Сунув руку в карман халата и нащупав пачку сигарет, с удовольствием закурил, стряхивая пепел в подвернувшуюся под руку пиалу: вставать и искать пепельницу было лень. Надо было посидеть... посидеть и подумать... хорошо подумать...

Что в его жизни не так? Почему что-то перекошилось? Вроде бы все шло по плану, по им задуманному плану: Ритка куда-то исчезла, он женился на Елене, ездит на крутой тачке, в настоящий момент является, практически, единовластным хозяином и главой фирмы, а скоро, буквально на днях, станет благодаря своей жене миллионером. Намек на эту приятную тему он почувствовал во время своего последнего разговора с их «семейным» адвокатом и другом покойного Виктора Семеном Гургеновичем, который интеллигентно намекнул на то, что, по всей видимости, «скоро будет иметь с Еленой Михайловной серьезный разговор на весьма интересную тему». Олег догадывается, что это за «интересная тема». Это прекрасная тема! И вообще, все, что сейчас происходит в его жизни – прекрасно, отлично, великолепно!

Тогда почему на душе-то так тяжело? Почему он живет с омерзительным ощущением того, что что-то не так? Но что конкретно – объяснить не может.

Тягостные размышления и анализ ситуации привели к неутешительному выводу: ему плохо потому, что он болен. Это с ним что-то не так. Отсюда и угнетенное состояние. Со страхом, скрываясь ото всех, проконсультировался с хорошими врачами по поводу своего здоровья, прошел полное обследование. Ну... почти полное. К психиатру не обращался. Диагноз – здоров, как бык. Тогда почему же он не чувствует этого? Его ведь даже к жене последнее время не тянет! Хорошо, что она сейчас равнодушно относится к сексу, поскольку беременна. Хотя, – с раздражением и тоской подумал Олег, – и до беременности ее никак нельзя было назвать по-настоящему страстной. С Риткой было все по-другому.

– Да, было бы неплохо иметь Елену – женой, а Ритку – любовницей. Вот это был бы хороший, правильный расклад...

Нет, не правильный, – тут же осадил он сам себя, – и не хороший: Ритка в силу своего бешеного характера и ненормальной ревности не сильно годится на роль любовницы, так что правильно другое, то, что она от него отвалила. Бог услышал его молитвы! Правда, остается открытым вопрос о том – куда? Куда она отвалила-то? И с кем? С чернобровым Акмалем ее нет – это Олег проверил. Но ведь и в квартире нет! А ее бабушке и подруге Кате он больше не звонил, поскольку последний разговор с ними внес большую сумятицу в его мысли и чувства. Именно эти телефонные разговоры и положили начало его страхам за себя, свой разум, свое психическое состояние. Сейчас этот страх усилился. Этому способствуют и его малоприятные разговоры с Умидом, который упрекает его в странных поступках, а он, Олег, эти поступки не помнит! Напрочь не помнит, и все тут! И не знает, что отвечать Уми-

ду, как себя с ним вести? Но по тому, как Умид на него наезжает, видно, что он не врет, не притворяется, что он действительно взбешен какими-то поступками своего босса. Слушая его, Олег просто не верил, что может такое сделать, однако недавно сорвавшийся контракт подтверждал закономерную ярость друга. Это по-настоящему пугало.

Олег докурил сигарету и вдавил окурок в доньшко пиалы. Теперь захотелось кофе. М-да... Первый завтрак в половине четвертого утра. Оригинально. Олег иронично хмыкнул, но не встал. Надо было додумать свои мысли, обязательно додумать и постараться найти ответ на мучающие его вопросы. В противном случае весь великолепный, просто волшебный расклад его жизни мог рухнуть в одну секунду: у психов дорога одна – в ад безумия.

Почему у психов? Почему именно так он вдруг оценил свое состояние? Застонав, Олег сильно сдавил голову руками. Значит, подспудно, на подсознательном уровне он чувствует себя психом, поэтому так и подумал. Черт, как все плохо!

В области позвоночника появилось неприятное ощущение, как будто по нему вниз, к копчику, стекало что-то липкое, холодное и омерзительное.левой рукой Олег потер позвоночник, как бы стирая неприятное ощущение, и снова подумал:

– Так, почему я сам себе поставил такой диагноз? Почему, почему?... – прошептал он со злобой и ненавистью неизвестно к кому и тут же сам себе ответил, – да потому что в моей душе гнездится страх, ворочается там, как ядовитая кобра, и ждет момент, чтобы поднять свою смертоносную голову и нанести безжалостный сокрушительный удар.

Олег вдруг ярко, зримо представил себе эту жуткую картину – атакующую сильную и страшно ядовитую торпеду. Где-то он читал, что при нанесении удара голова кобры движется со скоростью двести метров в секунду. Невольно с омерзением передернул плечами.

Неужели тогда, когда медленно травил Виктора, занес что-то и себе? Он ведь до сих пор не знает, что за дрянь дал ему этот страхолюдный колдун? Может быть, достаточно одной крупинки пылицы, чтобы она стала постепенно разрастаться в организме и медленно убивать его? Вот она, кобра, скрученная в тугую спираль перед броском. Может быть, именно такую смерть этот чернорожий и называл Прекрасной Мамбу? А может быть, правильнее назвать Безумной Мамбу? Черт, черт, черт! – Олег сжал в кулаке пачку сигарет с такой злобой и силой, как будто это была тонкая грязная шея паршивого колдуна.

Добраться до вершины счастья, получить все, о чем мечтал, и... закончить в психушке!

Стоп! – Олег отбросил смятую пачку, и она, прокатившись по столу, свалилась на пол. – Стоп! С чего это он решил, что становится психом? Психи не анализируют ситуацию. Или анализируют? На свой манер. А он сейчас на какой манер анализирует? Может быть, тоже на «психический»? Неужели придется обращаться к психиатру? Этого делать не хотелось. Очень не хотелось, даже несмотря на то, что высокооплачиваемый специалист, безусловно, все сохранит в тайне. Тайна – это одно, по-настоящему страшно другое: услышать неутешительный диагноз: здоров, как бык, а с мозгами не того.

Снова захотелось курить. Олег встал, подобрал изуродованную им пачку сигарет и выбросил ее в мусорное ведро. Кажется, еще одна пачка должна быть в кармане куртки. Он прошел на террасу, включил свет, отодвинул скользящую дверь большого, встроенного прямо в стену шкафа-купе, в котором было много разных отделений, в том числе и для верхней одежды, и действительно в кармане своей куртки нашел пачку сигарет и зажигалку.

На террасе было гораздо прохладнее, чем на теплой кухне, но Олегу это даже нравилось. Босые ноги тонули в мягком ворсе темно-зеленого паласа, такие же темно-зеленые с тонкой золотой вышивкой-строчкой шторы закрывали огромные

окна. Летом они с Леной распахнут их настежь, и терраса наполнится запахом роз, душистого табака, райхона и мяты. Они будут сидеть вот за этим столом в удобных мягких креслах, пить чай и тихо беседовать, строя свои планы на будущее, тем более что для такой «постройки» у них уже будет весомый миллионный фундамент.

Эти мысли успокаивали, вселяли уверенность, надежду, но «кобра» шевельнула своей мерзкой треугольной головой, и все рассыпалось, все, кроме тупой боли беспокойства, которая ржавым гвоздем сидела в сердце.

Олег чиркнул зажигалкой, прикурил и, пройдя по мягкой «траве» паласа, взял стоявшую на столе пепельницу и сел в одно из удобных кресел.

Так, надо сосредоточиться, надо прислушаться к самому себе. Что не так? Ведь, когда что-то болит, человек чувствует «что» и «где». Значит, и он должен понять причину своего странного состояния. Так в чем она?

Олег сосредоточился, анализируя свои дискомфортные ощущения, появившиеся в последнее время: головные боли, подавленность, депрессия и такое ощущение слабости, как будто кто-то выпил из него все жизненные силы. А временами наоборот: прекрасное настроение, бьющая через край энергия, жажда активной деятельности. Получается, какая-то нервная возбудимость, что ли? Нет, точнее, нервные перепады. Никогда раньше ни в его настроении, ни в его физическом состоянии не было таких резких перепадов. Он всегда был сдержанным, ровным, скрытным, волевым и ни о какой боли – ни о головной, ни о душевной – не имел, практически, никакого представления! Всегда был сам себе хозяин, и был счастлив!

Произнеся про себя эту фразу, Олег вдруг насторожился и вернулся к ней еще раз.

Всегда был «сам себе хозяин»... Вот именно... Всегда был «сам себе и сам по себе»... А сейчас? А что сейчас? – с интересом переспросил он себя, чувствуя, что вот-вот ухватит за хвост какую-то очень важную и все время куда-то ускользающую мысль. – А сейчас этого ощущения нет, а есть ржавый гвоздь в сердце, есть «кобра» со смертоносной головой. Есть... – Олег напрягся, подбирая нужное определение своему странному состоянию, и вдруг тихо проговорил вслух, – есть ощущение какого-то раздвоения... раздвоения личности. Да, вот именно так я себя ощущаю. Как будто во мне кто-то сидит... сидит и управляет. Но ведь это... это, кажется, очень редкое и тяжелое психическое заболевание? Где-то я об этом читал... У Стивена Кинга что ли? Кажется, у него... что-то очень интересное и... и жуткое...

Олег никак не мог вспомнить название книги и решил утром спросить об этом у жены, или у Сабины (та наверняка знает, это ее профиль). Хотя, что спрашивать-то? Причем тут, к черту, Стивен Кинг?! Что, оттого что он название вспомнит, ему легче станет, что ли? Проблемы исчезнут, что ли?

Олег тихо выругался, четко, с ненавистью и злобой произнося матерные слова.

И когда же это с ним началось? Когда он вдруг почувствовал, что в нем как будто временами сидит «кто-то» и навязывает ему, Олегу, свою волю. Более того, затуманивает мозги так, что он потом ничего не помнит. Вот и разгадка всех странностей в его поведении за последний месяц. Значит и Умид бесится не на пустом месте. И загадочная ситуация с Риткой... Стоп.

Олег почувствовал, как в голове начинают стучать маленькие противные молоточки: тюк, тюк, тюк, тюк... Он с силой потер виски и снова задал себе весьма неприятный вопрос:

– А с Риткой-то что? Где она? Что я с ней сделал? Бабке сказал, что отправил в Москву писать диплом; Катька считает, что мы с ней прячемся от каких-то моих врагов по бизнесу. Ее сотка почему-то у меня, в моей сумке, в моей квартире. А самое главное, нет ее нигде, нет! Исчезла! А если... – от этого «если» у него похолодело в спине, – а если я ее... убил? И ничего не помню... Может, потому и не помню ничего, что убил? Сильный стресс... и с мозгами у меня после этого «того». Я ведь хотел от нее избавиться? Хотел. Однозначно хотел, чтобы она, не дай бог, не сунулась в мои дела с Еленой! Неужели, я ТАК от нее избавился?

Олег застонал, измученный своими дикими мыслями. Вся его сложная ситуация не только не прояснялась, а наоборот, запутывалась еще больше.

Он вдруг сразу замерз, прямо до дрожи. Быстро встал, поставил пепельницу с одиноким окурком на стол и, сотрясаясь от внезапно навалившегося озноба, чуть ли ни бегом вернулся в спальню и нырнул под теплое одеяло. Елена крепко спала, тихо и уютно посапывая. По подушке разметалась золотая волна ее густых длинных волос. Обычно на ночь она заплетала их в косу, но вчера, видимо, поленилась. Олегу хотелось прижаться к теплому телу жены, но он не сделал этого, не желая будить ее. Спит человек в свое удовольствие и пусть спит. Он подоткнул под себя одеяло, стараясь быстрее согреться, и взглянул на часы: зеленым светом горели цифры 4.35. Зная, что утром самостоятельно не проснется, поставил будильник на 8, потом подумал и «сдвинул» время на 9.

Пулсиривало в висках – накатывала противная головная боль. Встать, выпить таблетку... Нет, даже противно думать о том, что надо вылезти из-под теплого одеяла.

Когда-то, в какой-то «прошлой» жизни, Ритка учила его снимать головную боль с помощью приема, который она называла «матрешка». Сначала надо представить себя, лежащего со своей головной болью на кровати, в комнате, – это первая маленькая «матрешка»; затем спрятать эту «матрешку» в другую, размером побольше, представив себя в доме. Твои размеры чуть уменьшились, и чуть уменьшилась твоя головная боль. Затем следует спрятаться в следующую «матрешку» – дом на улице; затем в следующую – улица в квартале; и по нарастающей – квартал в районе, район в городе, город в стране, страна на континенте, континент на планете Земля, Земля в солнечной системе... Пряча себя в «матрешки», ты постепенно уменьшаешься, уменьшаешься, уменьшаешься и вскоре исчезаешь совсем, потому что в масштабах солнечной системы, не говоря уже о бездонных просторах космоса, тебя просто нет, ты – условная, математическая точка, значит нет и твоей головной боли. «Поплавав» немного в таком «условном» состоянии, следует раскрывать «матрешку» в обратном порядке и постепенно «возвращаться» к себе, любимому, но уже избавившемуся от противного «тюканья» в висках и затылке.

Олег попробовал поиграть в эту игру и, как ни странно, действительно почувствовал себя гораздо лучше. Он даже как-то успокоился, расслабился и вскоре незаметно для себя уснул.

Проснувшись, Олег понял, что Елена уже уехала на работу, с которой никак не могла расстаться. Приняв контрастный душ и выпив две чашки крепкого кофе, он почувствовал прилив сил и энергии, и твердо решил сегодня же проехать к одному хорошему специалисту, психиатру, и, если (не дай бог!) потребуется, начать курс соответствующего лечения. В своих мучительных размышлениях он дошел до предельной точки и уже был просто не в состоянии оставаться в неведении по поводу своей головы. Надо было выяснить – здоровая она у него или нет? – надо было решиться разрубить этот узел одним махом, потому что твердо знал: если прятаться от возникающих проблем, будет только хуже.

– Но ведь сейчас, – рассуждал он сам с собой, стоя у зеркала и подбирая к рубашке галстук, – сейчас я, безусловно, в здравом уме: логично рассуждаю, понимаю все, что делаю. Я распланировал свой сегодняшний рабочий день, объективно оцениваю себя со стороны, сам пришел к выводу, что не совсем здоров... Разве псих способен на такое? Да, у меня есть провалы в памяти, безусловно, есть, но, наверное, это не такая уж страшная патология и, скорее всего, как-то лечится. Так, сейчас приеду в офис, встречу с Умидом, отдам кое-какие распоряжения, созвонюсь с врачом и, возможно, сегодня же попаду на прием. Иначе от одних только гложащих душу мыслей психом станешь. И еще: по всей видимости, надо будет поговорить с Умидом, без его помощи и поддержки в такой ситуации не обойтись. Это тоже рискованно, но... но он единственный человек, которому я хоть в какой-то степени доверяю. По крайней мере, попрошу его выяснить что-нибудь о Ритке. Об этом можно попросить

только его, потому что черт его знает, что там, с этой Риткой! Дай бог, чтобы была жива и здорова! Лишняя кровь на руках...

Олег невольно со страхом глянул на свои руки, как будто действительно собиравшись увидеть на них «лишнюю кровь», но увидел только широкую ладонь с крепкими, сильными пальцами, на которых посверкивали два кольца: на правом безымянном – обручальное, на левом безымянном – драгоценная печатка. С мыслью о крови и Ритке он неожиданно перескочил на другое: печатка показалась ему какой-то тусклой, не было той завораживающей игры бриллиантов, которая нравилась, грела сердце. Надо снять кольцо и почистить. Правая рука автоматически потянулась к левой и... замерла. Сердце заполнил непонятный страх, а в голове писклявой азбукой Морзе задолбило: нельзя, нельзя, нельзя... не снимать, не снимать, не снимать... смерть, смерть, смерть... Лицо Олега побледнело, под глазами обозначились круги, как после бессонной ночи или хорошей попойки. Частью «своего» сознания он успел зафиксировать странные изменения в себе, в своей голове, почувствовать появление того, другого, страшного, который повелевает...

Но тут же паническая мысль о вторжении чего-то чужеродного в его мозг, в его тело погасла. От печатки по руке пошла жаркая волна, вцепившаяся сначала в плечо, затем в спину, охватившая голову, перекинувшаяся на другое плечо и горячей волной скатившаяся вниз, к пояснице, бедрам, ногам. Он покачнулся и, отойдя в сторону, застыл, почтительно склонив голову. В этот момент из затуманившегося зеркала в комнату шагнул Джастин. Застывшее лицо Олега и потухшие глаза говорили ему о том, что перед ним стоит покорный, готовый ко всему раб.

Брезгливо скользнув взглядом по склоненной голове и ссутулившейся высокой крепкой фигуре, Джастин отошел в сторону. От неубранной кровати резко тянуло терпким и сладким запахом человека. Сегодня у аланта наступило время охоты, он был голоден, и этот манящий запах сильно раздражал, возбуждая аппетит. Если бы не охранная печатка и не особая миссия этого мерзкого человеческого существа, стоявшего перед ним, то он бы уже наслаждался его кровью, забирая его жизнь, вливая в себя очередную порцию бессмертия. Взглянув на Олега еще раз, Джастин высокомерно произнес:

– Ты хорошо ведешь себя, раб. Пока я доволен тобой. Люби Елену, береги Елену, делай все, чтобы ей было хорошо и комфортно. Береги ребенка, которого носит эта самка! Через некоторое время, я скажу тебе, когда ты снова привезешь ее в нашу клинику для очередной проверки. Ты слышишь, что я тебе говорю? Ты понял меня?

– Да, господин, – тусклым голосом ответил «раб».

– С сегодняшнего дня ты начнешь искать клиентов, желающих купить твоё дело, твою фирму.

– Да, господин.

– Как только договор будет подписан, я дам тебе номер банковского счета, на который ты переведешь полученные деньги. Ты все запомнил?

– Да, господин.

– Готовь Елену к тому, что недели через две-три вы уедете в специальный подмосковный санаторий. К этой поездке ее подготовят и наши врачи. Они убедят ее в том, что для здоровья ребенка ей необходимо пройти соответствующий курс лечения в хорошей неврологической клинике. Сейчас и для тебя и для нее важно только одно, только одно – с нажимом повторил Джастин, акцентируя голосом дальнейшую фразу, – чтобы ребенок, которого она носит в своем чреве, родился живым и здоровым. Ты понял меня?

– Да, господин.

Джастин остался доволен. По всей видимости, кольцо окончательно поработило этого сильного и строптивого самца. Первое время алант, отдавая распоряжения человеку, явно ощущал его злобу, раздражение, нежелание подчиняться, ненависть к невидимому для него противнику, заставлявшему выполнять свои приказы. Олег

действительно не видел своего «хозяина», он просто ошущал его внутри себя, и все его существо страдало от сокрушающей чужой воли. Но сегодня никакой агрессии в Олеге (точнее, почти никакой) Джастин не почувствовал. Это было хорошим признаком.

Вечером, когда они с Ло на минуту заглянут в этот дом для того, чтобы проведать Елену, Олег, как всегда, встретит их, улыбаясь, и, дружески беседуя со своим новым знакомым, богатым человеком и серьезным бизнесменом Джастином, даже не будет подозревать, что видит перед собой своего господина, чьи приказы он уже выполнял и впредь будет выполнять беспрекословно. И еще: раб Олег помнит только то, что ему позволяют помнить.

Джастин подошел к зеркалу, в затуманенной поверхности которого не отражалось ничего, и перед тем, как исчезнуть в образовавшемся «переходе», снова посмотрел на Олега и жестко приказал:

– Помни! Кольцо не снимать! Это смерть.

Через минуту Олег пришел в себя. Состояние было мутное: появилось такое ощущение, что он что-то хотел сделать и забыл. Помучившись и не вспомнив, плюнул на это дело, быстро собрался, переговорил по телефону с Умидом и поехал в офис.

– Ты что? – Умид аж побелел от злости, – у тебя что, совсем что ли крыша поехала? Какого черта ты решил продавать фирму? – сквозь зубы шипел он. – Совсем с ума спятил? Может, ты втихаря от меня хорошие бабки хапнул и теперь по каким-то своим закулисным соображениям решил лавочку прикрыть? Или ты с этим Джастином за моей спиной дела крутишь, а? Решил по миру меня пустить, так что ли? Забыл, что в бизнесе есть и моя доля!

– Я ничего не забыл, – ровным голосом и с отсутствующим выражением лица проговорил Олег. – Деньги свои ты получишь, но фирму я должен продать. У меня так складываются обстоятельства. Я должен это сделать.

– Ах, ты должен! А может быть, ты соизволишь мне объяснить, почему «должен»? А может быть, ты, брат, втихаря на иглу сел, а? И тебя на этом хорошо подсекли? Я последний месяц обратил внимание на твои стеклянные глазки. Может быть, ты уже вяпался во что-то по полной и теперь продажей фирмы свои делишки прикрыть хочешь?

– Умид, пойми, это надо сделать, – вновь спокойно произнес Олег, никак не реагируя на откровенную грубость, – фирма разоряется, и мы не тянем...

– Не Мы! не тянем, а Ты! последнее время ничего не тянешь! Две недели назад сорвал деловую встречу? Сорвал. Попали мы на бабки? Попали. Мы с тобой из-за этого перебазарили? Перебазарили, и мне показалось, что ты все понял, так нет, вчера ваше тупейшество откалывает тот же самый номер!

Вскочив со стула, Умид нервно заходил по кабинету и, зло поглядывая на сидящего с каменным лицом Олега, стал напоминать ему, какой «номер» тот вчера отколол:

– Неформальная встреча в теплой, но в то же время деловой обстановке. Прекрасное начало: как мы старались заинтересовать эту осторожную и хитрую рыбу, этого богатенького и потому дорогого нашему сердцу московского гостя, Александра Сергеевича, как из кожи вон лезли, чтобы убедить его в том, какие мы надежные и выгодные партнеры. И все было бы хорошо, и ударили бы мы по рукам, и вскоре подписали бы оч-чень выгодный для нас контракт – очень! – так нет! В самый ответственный момент ты стекленеешь глазами, превращаешься в тупого идиота и, что-то пробормотав, срываешься и исчезаешь! Какое уж тут процветание фирмы! – голос Умида в буквальном смысле слова источал яд. – Что ты уставился на меня? Что молчишь? С головой плохо? Не помнишь ничего?

Под напором горячих и злых речей друга Олег вроде бы пришел в себя: по крайней мере, отсутствующий взгляд сменился осмысленным. Лоб покрылся мелким би-

сером холодного пота. Он напрягся, восстанавливая в памяти вчерашнее: прекрасно помнил начало деловой встречи в шикарном гостиничном номере российского бизнесмена, и беседу помнил (действительно, продуктивную беседу!), а потом... а потом ничего. Пустота! Черт, получается, опять провал в памяти! Но не признаваться же в этом Умиду!

Скрывая свой страх и растерянность за ехидной усмешкой, Олег проговорил с издевочкой в голосе:

– Ну, как же, как же, помню! Все помню! И как ты на жену этого Сергеевича поглядывал, тоже помню. Молодец, правильно поглядывал! Я всегда ценил твой вкус. Красивая девочка! Фигурка, ножки – все при ней! И имя такое загадочно-романтическое – Олеся! Так что, как видишь, я все помню. И вообще, Умид, что ты так раскипятился-то, а! И не слишком ли большое значение ты придаешь...

– Не слишком!!! – взорвался Умид. – Какие тебе еще романтические имена! Какие тебе фигурки, ножки, девочки! Ты слышишь, что я тебе говорю? А я тебе говорю, что ты, сволочь, деловую встречу сорвал! И с кем! Какие бабки мимо рук пустил! Какой контракт завалил! Этот Сергеич как глянул в твои пустые глазки, так сразу тон и сменил. Ты удрал, а мне пришлось все расхлебывать! И сказать-то ему по поводу тебя не знаю что! Напел что-то. Одним словом, меня вежливо выслушали и так же вежливо со мной попрощались! Все, вряд ли теперь этот Сергеич нам позвонит, вряд ли захочет продолжить наше знакомство. И это будет правильно! Деловые люди не водятся с психами.

Умид замолчал и, прищурился, тихо закончил:

Вот так мы сейчас благодаря тебе ведем дела! Если будем продолжать в том же духе, тогда конечно, тогда надо закрывать нашу лавочку!

– Я должен это сделать, я так решил, – снова голосом робота проговорил Олег и, опустив голову, начал просматривать бумаги, которые незадолго до появления Умида занесла его секретарша, длинноногая и вальяжно-медлительная Анжела. Эта медлительность частенько раздражала Олега, и он уже давным-давно выставил бы эту чернокудрую «фотомодель», но... Вот это «но» и останавливало: несмотря на свою показную игру в гламурную девочку, она, во-первых, хорошо знала делопроизводство, во-вторых, умела столь же хорошо снять стресс. Правда, после женитьбы на Елене Олега перестали интересовать чужие юбки, какими бы короткими они ни были и какие бы ножки ни открывали. Недавно Умид, приглашавший его на интересную вечеринку и получивший отказ, сказал: «Да, никак не ожидал, что ты вдруг станешь до омерзения порядочным семьянином!».

– Может быть, сказать Анжеле, чтобы она принесла кофе? – Олег поднял голову, и Умида аж передернуло от спокойно-отсутствующего выражения его глаз.

– Ты что, издеваешься надо мной, что ли? – он вплотную подошел к добротному, выполненному по специальному заказу столу, резко наклонился над ним и прилепнул ладонью бумаги, изучаемые Олегом, – или ты в натуре ширнулся? Что ты смотришь на меня глазами идиота и задаешь дебильные вопросы? Какой еще кофе? Ты что, не слышишь, что я тебе говорю?!

Умид хотел толкнуть друга в плечо, но Олег мгновенно перехватил его руку и вскочил из-за стола, лицо его вдруг стало жестким и страшным.

Если бы не стол, разделявший друзей, то они бы уже топтались посреди кабинета, демонстрируя свое боевое искусство, вводя в шок Анжелу и устраивая потрясающее бесплатное зрелище для своих подчиненных. Еще бы! Такого «цирка» в их солидном офисе не было никогда! Но стол не давал свободы действия, и они стояли, сцепившись друг в друга, с ненавистью в глазах и большим желанием въехать кулаком в физиономию напротив, что Олег и попытался сделать, проведя финт левой. Умид ловко увернулся и, сцепившись мертвой хваткой в несущийся к его лицу кулак, сжал его так, что Олег невольно распрямил пальцы и, желая вырваться из захвата, резко отдернул руку.

В это мгновение роковая печатка слетела с пальца и, благородно посверкивая, покатила по ковру. Олег тут же обмяк и повалился в кресло. Лицо его стало белым, как мел, глаза закатились, челюсть отвисла. Умид онемел: что это с ним? сердечный приступ или он, действительно, на игле и это какая-то реакция? В следующую секунду он уже рванул к Олегу, ослабил узел галстука и крикнул Анжеле. Та, почувствовав в голосе зама странные нотки, быстрее, чем обычно, появилась в дверях кабинета и растерялась, увидев мертвенно-бледное лицо шефа.

– «Скорую», срочно! Что стоишь? Шевелись!

Анжела пулей вылетела в приемную.

– Да, скажи охране, чтобы встретили врачей и без задержек сюда! – крикнул он ей в спину и тут же снова повернулся к потерявшему сознание другу. Проверил пульс – бьется, но прерывисто и слабо. Задрал рукава рубашки и осмотрел локтевой сгиб – следов уколов нет, уже хорошо.

– Олег, очнись, Олег! – похлопал он его по щекам. Бледные веки дрогнули и чуть приоткрылись. Олег с каким-то всхлипом вздохнул и, крепко стиснув зубы, застонал.

– Его бы надо положить на диван, – сказал кто-то рядом. Оглянувшись на голос, Умид увидел седую голову и сморщенное лицо их бухгалтера, Петра Моисеевича. В этот момент быстрым шагом вошел шкафообразный Фархад, начальник охраны, и в просторном кабинете сразу стало несколько тесновато.

– Что случилось, Умид Акбарович?

– Не знаю, похоже на сердечный приступ. Давай осторожно перенесем его в комнату отдыха, на диван.

– Я и один справлюсь.

Фархад поднял Олега, Умид придержал ноги, Петр Моисеевич распахнул дверь в соседнюю комнату, в которой стояли диван, два кресла, журнальный столик и холодильник. В стену был вмонтирован бар с широким ассортиментом дорогих напитков. Влетевшая следом Анжела сообщила, что «скорая» скоро будет.

– Будем надеяться, что действительно «скоро», – процедил сквозь зубы Умид, помогавший Фархаду укладывать Олега на диван, и добавил, взглянув на Анжелу:

– Окно приоткрой немного и прикрой Олега пледом.

– Олег! – Умид присел на диван и склонился над другом. – Олег, скажи мне, что-нибудь... Что с тобой? Где болит?

Снова раздался прерывистый тяжелый вздох, глаза приоткрылись, и зрачок с трудом сфокусировался на лице Умида.

– Ну вот, уже хорошо, – тихо и ласково произнес Умид. – Сейчас приедет врач, всадит тебе пару укольчиков и все будет о'кей, ты только потерпи немного. – И уже другим, жестким и немного раздраженным голосом сказал, повернувшись к Фархаду:

– Не топчись здесь, иди, встречай «скорую». Анжела, принеси воды!

– У него, видимо, давно сердце пошаливает, – тихо проговорил Петр Моисеевич. – Я за последний месяц раза три-четыре заставал его в кабинете в таком... – бухгалтер замялся, подбирая нужные слова, – в таком, несколько странном состоянии. Лицо у него было какое-то застывшее, как будто он то ли к чему-то прислушивается, то ли переживает боль. Я даже раз как-то спросил его – вам плохо? – но он ничего не ответил, немного помолчал, прикрыв глаза, а потом сразу переключился на те бумаги, что я ему принес.

– Да, я тоже замечал, – ответил Умид, вглядываясь в лицо друга, на котором постепенно стали меняться «краски»: слегка порозовели щеки и губы, побледнела синюшность возле крыльев носа и под глазами. Взяв у Анжелы стакан с водой, он приподнял голову больного и попытался его напоить. Это плохо, но получилось: вялые губы тронули край стакана. Олег с трудом сделал один глоток, часть воды пролилась и потекла по подбородку. Умид промокнул ее своим носовым платком.

В комнате воцарилась напряженное долгое молчание.

– Да где эта «скорая», черт бы ее побрал! Сто раз помереть можно, пока они дотелепаются! – взорвался Умид.

– Уже дотелепались, и никому помирать не надо, – раздался бодрый и немного насмешливый голос врача, вошедшего в этот момент в комнату вместе со своим ассистентом. Петр Моисеевич и Анжела тут же вышли, а медики, переговорив с Умидом, принялись осматривать больного.

Увидев валяющиеся на полу бумаги, Анжела собрала их и, аккуратно положив на стол шефа, хозяйским глазом оглядела кабинет и вдруг заметила на красивом орнаменте ковrolана кольцо. Подняв его, сразу же поняла, что это драгоценная печатка Олега Владимировича.

– Какая прелесть! – с восхищением подумала девушка, «играя» печаткой и любясь звездным мерцанием граненых алмазов. – Сколько же такое колечко стоит! Не удержавшись, она решила примерить его на свой тонкий безымянный пальчик с аккуратным овалом перламутрового ноготочка (квадратные ногти Анжелка терпеть не могла!). Интересно, как оно – носить настоящие бриллианты? Наверное, с таким колечком и чувствуешь себя иначе!

Пальчик легко проскользнул в печатку, размер которой явно был рассчитан не на тонкие девичьи персты, и в ту же секунду Анжела, вскрикнув, рухнула на пол. Печатка слетела с пальца и, откатившись метра на два, застыла свернувшейся в кольцо опасной золотой змейкой. Из соседней комнаты тут же выглянул Умид и бросился поднимать потерявшую сознание девушку.

– Да что это у нас сегодня! День приступов и обмороков что ли! – в сердцах воскликнул он и, подняв Анжелу, осторожно посадил ее в кресло Олега. Тяжеленькая девица! Ну, это и естественно: с таким ростом и таким бюстом... – Анжела! Ты слышишь меня? Анжела, что с тобой?

«Черт, – выругался про себя Умид, – что еще с этой вальяжной красавицей-то случилось? Она-то что в обморок грохнулась? Такая впечатлительная натура, что ли, или у нее с Олегом любовные шуры-муры, и это она из-за него так дергается?»

– Анжела! – он слегка похлопал ладонью по белым, как мел, щекам.

Девушка открыла глаза и несколько раз вздохнула так, как будто ей не хватало воздуха, судорожно и прерывисто. Ее большущие карие глаза с длинными, искусственно «созданными» ресницами наполнились слезами. Брови сошлись у переносицы, создав на лбу две глубокие складки. Алая помада полуоткрытых, изогнутых в страдальческой гримасе губ резко выделялась на белом полотне лица, напоминающем сейчас маску скорби.

– Ой! Больно... – еле выговорила она.

– Где больно? Анжел, Анжела! Ты слышишь меня? Где больно? Скажи мне...

– Что с Анжелой, Умид Акбарович?

– У вас здесь что-то серьезное что ли?

Умид оглянулся на голоса и увидел выглянувшего из соседней комнаты очкастого ассистента и появившегося из приемной Фархада.

– Да я и сам не знаю, – буркнул он, – «серьезное» это или нет. Свалилась в обморок, сейчас вроде бы приходит в себя.

– Она беременна? – ассистент подошел к девушке и, взяв руку, нащупал пульс.

– Да откуда же я знаю, беременна она или нет! – взъярился Умид.

Ассистент, не обратив никакого внимания на нервность зама, подошел к Анжеле и, взяв ее безвольную руку, стал спокойно считать пульс. Если в течение смены на всех нервных внимание обращать, то через месяц умом тронешься.

Из-под прикрытых век Анжелы, не оставляя темных потеков, катились по щекам слезы, демонстрируя хорошее качество импортной туши.

– Ну что, как она, доктор? – спросил шепотом шкафообразный Фархад.

– Да ничего страшного, просто, видимо, переволновалась девушка. Сейчас укольчик сделаем...

– Не надо мне никакого укольчика! – тут же очнулась Анжела. – Я терпеть не могу уколы! Мне уже лучше.

– Ну, вот и славненько! – кивнул головой очкастый, – но я бы все-таки посоветовал вам обязательно посетить вашего лечащего врача. Подобные внезапные обмороки могут быть вызваны серьезными причинами, так что не стоит шутить со здоровьем. – Развернувшись, он исчез в соседней комнате.

– Утешил, спасибо, – проворчала себе под нос Анжела.

– Так что случилось-то? С чего ты-то в обморок грохнулась? Он, – Умид кивнул в сторону двери, за которой исчез ассистент, – даже спрашивал меня, не беременна ли ты?

– Типун ему на язык! – искренне возмутилась секретарша, промокая щеки салфеткой, поданной ей Фархадом.

– Ну, а в чем причина-то тогда? Просто так взяла и упала что ли?

– Да не знаю я, Умид Акбарович! Не знаю! – Анжела несколько раз глубоко вздохнула, и на ее бледные щеки стал возвращаться румянец. – Я вышла сюда, смотрю – бумаги по полу разбросаны. Я их собрала, на столе аккуратно сложила, потом смотрю – на полу кольцо лежит...

– Какое еще кольцо?

– Олега Владимировича кольцо, его печатка. Наверное, когда плохо ему стало, оно как-то с руки и скатилось. Я ее подняла и хотела...

– А где она сейчас?

– Не знаю, наверное, на полу валяется...

Умид с Фархадом тут же стали оглядывать пол и увидели закатившееся в угол кольцо. Охранник передал печатку замку.

– Так что ты хотела, Анжела?

– Примерить колечко хотела, интересно же, как оно, когда на пальчике бриллианты.

– Ну!

– Ну что, ну? Только надела кольцо и больше ничего не помню. Как будто прострелило меня всю от головы до пяток! Ужас как больно было! А вдруг у меня что-то серьезное? Я в жизни так в обморок не падала!

– А как падала?

– Да никак не падала! Что вы к словам цепляетесь, Умид Акбарович!

– О! Уже начальству дерзишь. Это хорошо! Это говорит о том, что ты, Анжелочка, снова в форме. Фархад, – повернулся он к стоящему рядом начальнику охраны, – распорядись, чтобы Анжелу отвезли домой. Пусть она сегодня полежит, а то еще, не дай бог, снова в обморок рухнет.

– Неласковый вы, Умид Акбарович, но добрый.

– Ну, вот и пользуйся сегодня моей добротой! Кстати, я бы тебе тоже советовал вызвать врача.

– Советчиков развелось! – Анжела хотела добавить – «плюнуть некуда», но, посмотрев на хмурое лицо зама, сдержалась и продолжила уже в плаксиво-просительном тоне, – лучше бы материальную помощь выписали, поскольку у меня травма на работе. И колени, и локти болят – так грохнулась! – и в голове до сих пор туман.

– Анжела, не груби начальству! Фархад, что ты стоишь, выводите эту девушку под белые руки и отправляй домой... пока я не передумал.

– Хорошо, скажу Кариму, он это задание выполнит с удовольствием, – прогудел Фархад, и вместе с девушкой вышел из кабинета.

– Еще бы не с удовольствием, – подумал Умид, – я бы и сам с удовольствием подвез куда-нибудь такие «формы». Так, что там с Олегом?

В этот момент на пороге кабинета показался врач.

– Как фамилия вашего директора?

– Тропинин, Олег Владимирович Тропинин.

Врач повторил для своего ассистента фамилию больного и добавил к этому еще несколько медицинских терминов, видимо для записи.

– Так вот, э... – врач вопросительно взглянул на Умида.

– Умид Акбарович, – представился тот.

– Так вот, Умид Акбарович, вашего директора следует госпитализировать. Инфаркта, слава богу, нет, но общая картина настораживающая. Ему надо обязательно полежать, пройти курс лечения. Обязательно! Похоже на сильное нервное истощение, но конкретнее вам скажут после обследования.

– Вы его увезете прямо сейчас?

– Да... было бы желательно прямо сейчас.

– Хорошо. Без проблем. Я еду с вами.

Спрятав печатку Олега в сейф и наспех переговоров с Петром Моисеевичем, Умид быстро спустился вниз, к своей машине, чтобы сопровождать «скорую» до больницы.

Джастин вместе с Ло охотился в приглянувшемся ей ресторане. Днем народу в нем было мало, это вечером, несмотря на достаточно высокие цены, посетителей наберется так много, что негде будет яблоку упасть. А сейчас было тихо, и официантки неторопливо обслуживали немногочисленных клиентов.

Засада алантов в туалетной комнате увенчалась успехом: Ло пообедала пухленькой дамой, зашедшей «попудрить носик», а Джастин – ее подружкой. Уничтожив с помощью соержимого амфор следы своего пребывания, они исчезли в зеркале и через некоторое время появились у себя в комнате, не подозревая о том, что на протяжении всей их охоты за ними внимательно наблюдала Богиня. У нее была своя цель и своя охота, в которой дичью являлись именно аланты.

Клэр встретила их с улыбкой и уже хотела поинтересоваться, где они охотились на этот раз, как вдруг Джастин замер и изменился в лице.

– Что, милый, что случилось? – в голосе Клэр звучала неподдельная тревога.

– Я перестал чувствовать кольцо. Мой раб как будто бы исчез. Связь оборвалась, – сдерживая волнение, проговорил Джастин.

– Но этого не может быть! Он уже не может снять кольцо! На данном этапе для него это, практически, смерть! – тихо произнесла Клэр.

– И, тем не менее, он его, видимо, опять снял. Я понимаю, Клэр, что это невероятно, но связи нет.

– Невероятно... – повторила вслед за ним Клэр, – просто невероятно, если только... – задумалась она.

– Если только что? – поторопил ее с ответом Джастин.

– Если только Елена не водила его к этой ведьме.

– Нет, – тут же подала голос Ло, – ни к какой ведьме Елена не ходила.

– Тогда... тогда я не знаю, как объяснить все это. В моей долгой практике такого еще не было. Никогда! Через определенный период времени раб ни за что не снимет кольца и никому не позволит сделать это. Кольцо – это жизнь, отсутствие кольца – смерть. Если этот строптивый самец все же как-то снял его с пальца и остался жив, то... то это плохо. Очень плохо! Это нарушает все наши планы.

– Я думаю, следует найти Олега и все выяснить, – хмуря свои красивые соболиные брови, – произнесла Ло.

– Да, ты права, дорогая, ты, безусловно, права. Надо найти Олега.

– Я немедленно займусь этим, Клэр.

– Да, Джастин, немедленно! – это уже был приказ, который отдавала Посвященная.

– Можно я пойду с ним? – Ло сделала шаг в сторону Джастина.

– Нет, дорогая, нет, – Клэр нежно взяла ее за руку и притянула к себе. – Он пойдет один, а мы с тобой спокойно погуляем по зимнему парку. Там сейчас такая красота! Ты впитаешь в себя эту красоту, подышишь свежим морозным воздухом. Не забывай, ты носишь в себе сокровище!

– Клэр права. – Джастин нежно поцеловал Ло и исчез в зеркале.

(Продолжение следует)

ВЫМЫСЛЫ И ХИТРОСПЛЕТЕНИЯ

Николай ИЛЬИН

**В СЕЗОН БОЛЬШИХ
БАБОЧЕК**

Фантастический рассказ

*«Ба!»
(Еврипид)*

Я люблю по вечерам, когда улица уже стихнет, сидеть на подоконнике и смотреть в распахнутое окно. От него тянет свежестью, и свет уличного фонаря странно теряется в листьях деревьев, и сами листья будто становятся зелеными бликами, как если бы их погрузили в прозрачную воду. В такие вечера со мной часто случаются необычные вещи: странные гости прилетают ко мне в окно и, если я не очень занят, проводят со мною часы интересных бесед, углубляя мои познания и расширяя мой кругозор.

Сегодня как раз такой вечер, когда я вправе ждать нового гостя, но его нет и нет, и мне не остается ничего другого, как только вспоминать о всех прежних.

Однажды залетел ко мне сказочный Эльф. Он прилетел на прозрачных, как у стрекозы, крылышках, и в довольно картинной позе торжественно застыл в проеме окна. Эльф был очень хрупкий и маленький, но такой важный и гордый, как если бы это он изобрел Ганса Христиана Андерсена. Посидев с таким видом некоторое время и видя, что я не обращаю на него особенного внимания, Эльф сначала будто обиделся и насупился, но затем быстро переменялся, сделался как-то дружелюбней и проше и заговорил очень мягко:

– Я пролетал мимо и решил заглянуть в твоё окно. Молчать неинтересно. Надо как-то начать разговор. Расскажи мне, пожалуйста, как тебя зовут и чем ты занимаешься?

– Сначала скажи: «Здравствуй!». Зовут меня так-то (я назвался). У меня есть работа в редакции, но кроме того я люблю старинную музыку и романтическую поэзию.

– Понятно, – сказал он. – И это очень хорошо. Есть шанс поговорить о чём-нибудь интересном и понять друг друга. А скажи, сказки ты любишь?

– Нет, сказки я не очень люблю.

Это, казалось, огорчило его:

– Жаль, что ты не любишь сказок. Я-то из сказки. У меня ведь нет к тебе какого-то дела, я пришел просто так, – поговорить, посидеть...

– Сиди, сиди сколько хочешь.

– Спасибо. Но мы ведь не можем просто сидеть и молчать. Давай поговорим о чем-нибудь. Хочешь, я расскажу тебе какую-нибудь историю или сказку, например, про меня?

– Не надо. Ты же знаешь, что я не люблю сказок.

– Тогда зачем же я прилетел?

– Не знаю. Должно быть, тебе просто захотелось поиграть со мной во что-нибудь романтическое, вот я и понадобился.

– Нет, нет – тут какое-то недоразумение: с чего мне было сюда лететь, если тебе ничего не нужно, если ты даже не любишь сказок? – заметил он раздраженно.

– Ничего не поделаешь, так уж оно есть... (Теперь я тоже не знал, как продолжать разговор).

– Что ж, я полечу к себе, пожалуй, – сказал он нерешительно, словно надеялся, что его остановят.

– Ну лети, лети. Залетай еще.

– Спасибо. Как-нибудь залечу.

Я не хотел, чтобы он залетал еще, но сказать об этом было неловко. Впрочем, он понял.

Эльф взмахнул своими прозрачными крылышками и исчез. А я отошел от окна и задумался. К счастью, неприятного осадка в душе не было.

* * *

Как-то осенним вечером разыгралась гроза, и я долго сидел у окна, пока озноб не заставил меня отойти. Вдруг тяжелая синяя птица подлетела к окну и грузно опустилась на мой подоконник. Я сразу узнал Птицу Счастья. Об этом говорил и синий цвет ее перьев с золотыми прожилками, и какое-то подобие короны на голове, и вообще я несомненно где-то уже ее видел, хотя, конечно, знакомы мы не были. Сидя за письменным столом, я внимательно разглядывал гостью, стоящую в створе окна, не зная, с чего начать разговор.

– Ну, здравствуй, – сказала птица. – Что ж ты меня не приветствуешь?

– Здравствуй, – ответил я.

Голос у нее был нормальный, птичий, но я ждал чего-то особенного, а этот был просто птичий. К тому же, она была грузновата. Это несколько занижало впечатление. Мы молча смотрели друг на друга.

– Может быть, я некстати? – спросила птица.

– О нет! – как же – некстати? Очень даже кстати.

Птица недоверчиво посмотрела на меня, но ничего не ответила. Мне стало неловко.

– Тяжело, наверно, летать с мокрыми крыльями? – наконец, нашелся я. Она усмехнулась и ответила:

– Да, в дождь нелегко.

Разговор явно не клеился. Видимо, она ждала от меня чего-то совершенно другого. Но я никак не мог ничего придумать:

– Ты из-за синя моря? – выдавил я совсем уж нелепо.

– Да, из-за синего, – ответила птица.

– Подожди минутку, сейчас я кое-что принесу, – крикнул я и выбежал в соседнюю комнату. Я хотел достать полотенце и что-нибудь согревающее. Я решил, что вишневая наливка, которую сделала моя мама, как раз подошла бы к такому случаю.

Но когда я вернулся с бутылкой и рюмочками, Птицы Счастья в окне уже не было. Только на влажном подоконнике остались следы ее лапок. Я постоял немного в задумчивости, а потом, вынув тряпку, вытер следы крылатой гостьи. Затем налил себе стаканчик наливки и выпил его сам: «На счастье!» – сказал я себе.

* * *

Подчас со мною случались такие истории, что я даже не вправе настаивать на их подлинности, хотя это вовсе не выдумка. Но как настаивать, если все равно никто не поверит?

Однажды мне встретились два фараона египетских, то есть не сами фараоны, а как бы их ожившие мумии. Оба в очень хорошем состоянии. Одного звали Рамсес II, а второго – Аменхотеп, не помню только, который именно. Это было вечером, недалеко от моего дома на заброшенной стройке, куда я забрел совершенно случайно.

Ни я, ни фараоны встрече не удивились. Мы разговорились, и я пригласил их к себе. Хотя это и были знаменитые на весь мир фараоны, но в их обращении не чувствовалось ничего заносчивого. Оба неплохо говорили по-русски с легким древнеегипетским акцентом. Интересно, что английского языка мои гости не знали совершенно, и даже не слыхали о таком. Должно быть, влияние Соединенных Штатов в том регионе тогда еще не было столь значительным.

Мы разместились за чаем у моего стола. Фараоны были у нас недавно, и все их живо интересовало. Они расспрашивали меня о чае, интересовались книгами, особенно по Арабской Республике Египет, задавали массу вопросов по истории и современной жизни. Я тоже старался не ударить в грязь лицом и припоминал все, что мне довелось читать и слышать о Древнем Египте. Я спросил, как это вышло, что такой замечательный народ, такая великая цивилизация, не знала, как говорят и пишут, колеса – и люди ташили каменные блоки на строительство пирамид на санях с полозьями (да еще поливая салазки водой, чтобы они не загорелись от трения).

«Как это – не было колеса?! – удивились фараоны. – Вы не могли их не видеть на фресках с изображением боевых колесниц». «У меня у самого как раз была такая, – воскликнул Рамсес II. – Я на ней гонял по пустыне со скоростью до тридцати пяти тысяч локтей в час. А что до каменных плит, то сами попробуйте везти их по песку на колесах – что получится? – увязнете! Шин-то у нас еще не было».

Далее я узнал, что знаменитую красавицу Нефертити звали на самом деле «Нэфрэт», и это означало «Прекрасная пришла». «Но это было уже после меня», – пояснил Аменхотеп.

Потом я вспомнил еще о претензиях японского проповедника «души истины» Сёко Асахары на то, что будто бы именно он в прежнем живневоплощении был зодчим фараона Джосера, создателем знаменитой многоступенчатой пирамиды, и спросил моих гостей, что они об этом думают. Но фараоны только пожали плечами: «Мы у нас в Древнем Египте никогда ни про какого Сёку не слышали».

Я рассказал им, что у нас очень ценится культурное наследие Древнего Египта, что у нас даже есть опера, написанная на «древнеегипетский сюжет» – «Аида» композитора Верди.

– Мы как раз ходили на днях в ваш оперный театр и посмотрели ее, – сказали фараоны. – Очень хорошая музыка. Особенно марш из второго действия. У нас трубы так громко и слаженно не звучали (правда, здесь может быть эффект закрытого помещения). Пляски на могиле тоже хороши. И еще то место, где хор и жрецы кричат: «Мшень!»». Но в походном марше слова явно не продуманы. Как это: «Ты поведешь могучие войска к берегам свяше-е-нного Нила»? – А сами уже стоят на этом берегу. Куда же вести войска? Неувязка какая-то. Ну и в целом, конечно, содержание оперы очень далеко от реальности.

– В каком отношении?

– Ну что этот Радамес так носится с какой-то рабыней? Неправдоподобно.

– Не верю! – воскликнул Рамсес II, очевидно вспомнив фразу Станиславского.

– Но она все-таки дочь эфиопского царя.

– Да, того волосатого ...как его? Амонасро? (Тьфу, и не выговоришь). Ну не важно – все равно рабыня! Так что ж этот Радамес, близкий к трону человек, полководец, не может просто так овладеть рабыней?

– Но он же любви ее хотел, а не просто так.

– Так овладей ею: забеременеет – полюбит, куда денется? Ну, подари ей что-нибудь, если уж так нравится.

– Как-то грубовато выходит.

– А вы серьезно полагаете, что представитель вашей цивилизации поступил бы по-иному?

– Не верю, – повторил Аменхотеп вслед за своим соратником. – Есть все-таки вечные ценности.

Я понял, что с типологической общностью культур не все так просто, и поспешил сменить тему.

– А как насчет костюмов и декораций?

– Очень ярко, оригинально, но тоже не слишком правдоподобно. Все женщины укутаны, словно у нас в Египте лютый холод («собачий», как вы говорите) или пришли талибы. Ну, и главная жрица – такая толстая, а голос, как у сиамской кошки.

Я закурил, и Рамсес II тоже решил попробовать. Я знаю, что сразу трудно понять вкус курения, но им обоим очень понравилось, и они даже попросили у меня пачку сигарет:

– Нам нравятся ваши воскурения, – сказали они.

Мы просидели почти до ночи, беседа о том о сем. Наконец, гости мои стали прощаться, и я пошел проводить их до выхода из подъезда. Здесь они расстались со мной и попросили не провожать их дальше, мотивируя это тем, что им «необходимо исчезнуть». Мне было, конечно, неудобно их спрашивать, как они ожили и попали сюда: есть вопросы, которые неловко задавать сразу при первой встрече. Я высказал им слова искренней благодарности за проведенный вечер, за увлекательную беседу, и удивился их эрудированности и воспитанности.

– Что ж вы хотите, такие времена, надо перестраиваться.

Мы простились почти по-дружески, и я вернулся назад в мою комнату. Там я закурил сигарету и, высунувшись в окно, стал рассматривать зеленые листья. Воздух был теплый и ласковый. Это было в начале лета, в сезон больших бабочек, залетающих в окна.

* * *

Уже в самый обычный вечер ко мне «залетел» мой приятель Володя и, пока я был на кухне и заваривал чай, бесцеремонно просмотрел мои записи.

– Что ты тут такое снова насочинял? – спросил он.

– Это не для тебя, оставь.

– Что же подделаешь – я ведь уже прочел.

– Ну, и что скажешь?

– Да ничего. Только с такими гостями можно было бы поинтересней провести время.

– Пей лучше чай, – посоветовал я и убрал листы со стола.



просветители востока

Дилором АЛИМОВА,

доктор исторических наук,
профессор

АБДУКАДЫР ШАКУРИ (1875 – 1943)

Просветитель и педагог Абдукадыр Шакури родился в 1875 г. в семье садовника в кишлаке Ражабамин, недалеко от Самарканда.

После окончания старометодной школы А. Шакури продолжил учебу в медресе Самарканда. После посещения русской гимназии и ознакомления с ее внутренним порядком, правилами и методами обучения у молодого учителя появилась мечта – организовать новые школы для детей местного населения.

А. Шакури узнал из газет о существовании новометодных школ для тюркских народов, проживающих в различных частях России. Подобные школы уже в то время были в Туркестане, и в том числе в Коканде. Изучив опыт кокандских школ, А. Шакури возвратился в Самарканд и в своем родном селе Ражабамин осенью 1901 г. открыл первую новометодную школу. Вскоре слава о школе А. Шакури разнеслась по всему краю и привлекла внимание других просветителей Средней Азии.

Не ограничиваясь лишь преподаванием, А. Шакури писал для своей школы учебники, на издание которых использовал свои средства. Примером может быть его учебник «Рахнамои савод» («Методика грамотности»).

А. Шакури первым открыл школы и для девочек. Педагогической деятельностью в ней занималась его супруга. Позже группы мальчиков и девочек стали обучаться совместно.

В 1921 г. А. Шакури был назначен директором школы № 13 города Самарканда и одновременно был учителем родного языка и литературы. Все свое время он посвящал воспитанию и обучению детей, страстно желая, чтобы они выросли образованными и прогрессивными людьми своего времени.

Абдукадыр Шакури умер в 1943 году.

АШУРАЛИ ЗАХИРИ (1885 – 1937)

Известный просветитель, литератор, журналист и ученый-языковед Ашурали Захири родился в 1885 г. в Коканде. Первоначально он обучался в медресе Мадалихон в Коканде. За этот период он освоил арабский и персидский языки, изучил узбекскую и персидско-таджикскую классическую литературу.

С 1907 г. А. Захири преподавал узбекский язык и литературу в джадидской и русско-туземной школах.

В 1912–1919 гг. активно занимался педагогической и журналистской деятельностью. Создание в 1917–1918 гг. Туркистон Мухторияти оказало большое влияние на его деятельность. Работая редактором официального печатного органа республики – газеты «Эл байроғи», он внес существенный вклад в развитие идей автономии Туркестана и распространение их среди народа.

После 1917 г. А. Захири продолжал заниматься просветительством. Он был организатором первого педучилища, которое было преобразовано позднее в педагогический техникум, на базе которого в 1930 г. был открыт Ферганский педагогический институт. А. Захири внес весомый вклад в развитие первых современных школ Ферганской долины и подготовку педагогических кадров.

В 1929 г. он был арестован и осужден за свободолюбивые идеи. После выхода из тюрьмы продолжил просветительскую деятельность. Однако, в 1937 г. вновь был репрессирован и расстрелян 4 декабря того же года. Местонахождение могилы А. Захири неизвестно.

литературная критика

Тохиржон УМИРЗАКОВ,Узбекский национальный университет,
кандидат филологических наук, докторант

Роман Д. Джойса «Улисс» переводится на узбекский язык

В начале XX века ирландец Джеймс Джойс еще не был широко известен, хотя к тому времени опубликовал и сборник стихов «Камерная музыка», и цикл новелл «Дублинцы», и роман «Портрет художника в юности». Но все изменилось в 1922 году, когда в Париже ограниченным тиражом вышел в свет новый роман ирландца – «Улисс». Он принес своему автору скандальную известность (дальнейшая публикация романа была на долгие годы запрещена во многих странах, в том числе, и в Ирландии) и, вместе с тем, всемирную славу. А ведь задумывал Джойс нечто совершенно иное и, вероятно, не столь сенсационное – небольшой рассказ об одном дне жителя Дублина еврее Леопольде Блуме (национальность была выбрана неслучайно – евреи в то время считались едва ли не иностранцами в католической Ирландии, и герой, согласно замыслу автора, находясь в самой гуще дублинской жизни, оставался сторонним наблюдателем). Под названием «День мистера Блума в Дублине» он должен был войти в уже упомянутый сборник «Дублинцы». Но вместо несостоявшегося рассказа один день мистера Блума, «блумсдей» (от англ. Bloom's day – день Блума), создался семисотстраничный труд, рассказывающий о жизни трех жителей Дублина: мятущегося писателя-неудачника Стивена Дедала, торгового агента Леопольда Блума и

его жены, певички в дешевеньком кабаре Мэрион Блум. Написав «Улисс», Джеймс Джойс сумел вдохнуть в мировую литературу новую силу, которая оказалась исчерпанной классическим реализмом XIX века – Диккенсом и Теккереем, Бальзаком и Золя. Джойс вывел новаторское правило для мировой литературы XX века: «можно писать о чем угодно...»¹.

Джойс пошел наперекор существовавшей веками традиции и сделал предметом изображения в романе «Улисс» не какой-то особенный день в жизни героев, а просто день, в течение которого почти ничего не происходит, один день жизни. «Джойсоведы» не без основания заявляют, что один день Леопольда Блума – это одновременно и один день мира, в котором аккумулирована вся история человечества, вся история литературы от Гомера до современности. И даже будущее, поскольку новаторство ирландского писателя, примененная им техника «потока сознания» задали направление развитию изящной словесности на долгие годы – без «Улисса» немислим не только европейский модернизм, но и куда более близкий нам хронологически постмодернизм.

«Улисс» писался Джойсом семь лет: с марта 1914 по октябрь 1921 года. «Улисс» – это самое длинное в мировой литературе описание одного дня – 16 июня 1904

¹ Ганиева Е. Из-за Джойса // «Вестник Европы», 2005, №15

года, который разделен на 18 эпизодов. В 1918 году, закончив очередной эпизод, Джойс отправил его в Нью-Йорк, в редакцию журнала «Литл ривью» и в Лондон, в редакцию журнала «Эгоист». В 1918–1920 годы были выпущены в свет 1–14 эпизоды в «Литл ривью». Но затем, с 1920 по 1933 г. дальнейшая публикация «Улисс» была запрещена нью-йоркским судом. Издания романа конфисковывались и уничтожались. А в Лондоне в 1919 году в журнале «Эгоист» удалось выпустить лишь 5 эпизодов. В Нью-Йорке исходная рукопись была продана и перепродана и с 1924 года стала собственностью американского коллекционера А. Розенбаха, получив название «Рукопись Розенбаха». Лишь в 1933 году «Улисс» был разрешен к публикации в США. В 1936–1937 годы в Англии издательством Бодли Хэд было выпущено первое издание (новые базовые издания, выпущенные в последние годы, воспроизводят текст издания Бодли Хэд²), которое является последним прижизненным изданием, корректуры которого держал автор, однако, обычную правку он делал плохо из-за слабого зрения. Кроме того, видимо, иногда и нарочно не исправлял некоторых отклонений³ и, не случайно, что канонический текст «Улисс» сложен и является предметом дискуссии. А на родине Джеймса Джойса, в Ирландии «Улисс» был опубликован в 1960 году.

В России «Улисс» привлек большой интерес переводчиков гораздо раньше, чем в других странах мира, таких как Германия, Франция и Польша. Но русские читатели ознакомились с «Улисс» с полувекowym запозданием, в отличие от немецких, французских и польских читателей, так как в России перевод «Улисс» был запрещен. В России первый перевод нескольких отрывков из романа был сделан в 1925 году В. Житомирским. Предпринятые в 30-х годах попытки полного перевода были прерваны репрессиями. Переводчик Валентин Станич погиб в 1937 году. Группа переводчиков под руководством И.А. Кашкина также погибли

в 1937 году. Среди них был профессор Игорь Романович Гениев.

Позднее переводы отрывков романа «Улисс» делались: в 1982 году – А. Ливергентом; в 1985 году – И. Померанцевым; в 1986 году – И. Шамир.

Основу нынешней редакции русской версии романа «Улисс» заложил писатель русской детской литературы, переводчик В. Хинкис (1930–1981). Не случись клеветы на Джойса и запрета перевода «Улисс», В. Хинкис давно бы это сделал. Благодаря его завещанию перевод был завершен (огромный многолетний кропотливый труд) группой специалистов под руководством доктора физико-математических наук, переводчика С.С. Хоружий и напечатан в журнале «Иностранная литература» в 1989 году. Этот перевод является своего рода эквивалентом английской версии, так называемого «выправленного текста» романа, подготовленного и опубликованного в 1984 году группой специалистов под руководством профессора Х.В. Габлера.

Джеймс Джойс был патриотом Ирландии, желавшим ее независимости и процветания. Джойс не мог смириться с тем, что Ирландия стала колонией Англии и ее национальные богатства были разграблены. Он высказывался против исчезновения национального ирландского языка и со скандалом покинул свою родину, не вернувшись туда больше. Поэтому, как вокруг самого Джойса, так и вокруг его произведения шли разного рода разговоры, продолжающиеся по сегодняшний день. Это происходит потому, что сложный характер Дж. Джойса и сложный текст «Улисс» понимает не всякий здравомыслящий человек и не всякий страстный читатель. В 2005 году известный узбекский писатель, многоуважаемый П. Кодиров выразил свое мнение заметив, что нельзя переводить роман «Улисс» на узбекский язык, так как его мораль не подходит менталитету узбекского народа⁴. Такое мнение писателя сложилось вследствие того, что перевод с английского языка, сделанный русскими переводчиками

² Хоружий С.С. Комментарий// Джеймс Джойс. Улисс. – М.: Эксмо, 2008. С. 747.

³ Там же. С. 746.

⁴ Кодиров П. Маънавият, модернизм ва абсурд// Мустакиллик даври адабиети. – Т.: Гафур Гулом номидаги нашрият матбаа ижодий уйи, 2005. Б. 31–32.

ми был не на должном уровне, ведь если читать «Улисса» в оригинале, то он приобретает несколько иное звучание. Возможно, если бы перевод был осуществлен на высоком уровне, то писатель П. Кодиров был бы другого мнения.

На наш взгляд, роман «Улисс» читают во всех странах. Вот что пишет русский ученый, академик Д. Лихачёв: «Всякий народ, считающий себя моральным, должен иметь возможность прочесть «Улисс» на своем родном языке». Творческое величие Дж. Джойса и его бесценный роман были объективно оценены профессорами УзНУ У. Норматовым⁵ и Х. Болтабаевым⁶.

В 2008 году известный узбекский журналист-переводчик И. Гофуров перевел «Улисс» с русского языка на узбекский (11 эпизодов из 18). Однако, следует отметить, что русский перевод нельзя назвать адекватным, так как два русских переводчика не были лингвистами и специалистами по английскому языку⁷. Наш анализ показал, что при переводе на русский язык русские переводчики пользовались, в основном, денотативными (словарными) значениями, не учитывали полисемантической и коннотативные (контекстуальные) значения слов оригинала. И, безусловно, ошибки русских переводчиков переходили и в узбекский перевод, обрастая новыми.

Один из главных персонажей романа Маллиган восхваляет свою тетьку, здесь Дж. Джойс хотел подчеркнуть дружелюбие и духовность ирландского народа. Однако в русском и узбекском переводах персонажи романа скорее походят на любителей выпить.

*Then here's a health to ulligan's aunt
And I'll tell you the reason why.
She always kept things decent in
The annigan famileye.⁸*

⁵ Норматов У. Тафаккур ёгдуси. – Т.: 2005. Б. 66–70.

⁶ Болтабоев Х. Имом Газзолий, Фитрат ва пост-модернизм// Фитрат ва жадидчилик. – Т.: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти. 2006. Б. 96–98.

⁷ Умирзаков Т.Б. Аслиймонд таржима муаммолари. «Жаҳон адабиёти», 2010, №1, Б. 191–194

⁸ James Joyce. Ulysses. – Penguin Books, 1992. p. 48.

*За тётку Маллигана бокал
Мы выпьем дружно до дна.
Она приличья свято блюдет
В семье у Ханнигана.⁹*

*Дўстлар ичайлик хола учун,
Бордур холаси Маллиганнинг,
Саранжом-сариишта рўзгори,
Хонадони Ҳанниганнинг...¹⁰*

На наш взгляд, перевод в узбекском языке должен звучать так:

*Маллиган холаси бўлсин саломат,
Сабабин сўрсангиз мен сизга айтай.
Хола фаросати ва саранжомлиги
Ҳанниган рўзгорин қилди сариишта.*

Признавая, что ему непонятен замысел писателя С.С. Хоружий пишет: «Поэтому перевод мой использует жаргон XIX в. и явно не слишком удовлетворителен. А что прикажете делать, господа?»¹¹

*White thy fables, red thy gan
And thy quarrons dainty is
Couch a hogshead with me then
In the darkmans clip and kiss.¹²*

*Эх, фартовая маруха,
На молодчика присуха!
Маркоташки – голубки,
Выйди в ночь под дубки.¹³*

*Оппоқ қўллар, ақиқ лаб,
Ширин бадан лаззатли.
Ўтир бунда уқалаб,
Сени севай бир тотли.¹⁴*

Компонентный анализ текста-оригинала позволил нам перевести данный речитатив как:

⁹ Джеймс Джойс. Улисс. – М.: Эксмо, 2008. С. 47.

¹⁰ Улисс саргузаштлари. Гафуров И. // Жаҳон адабиёти. 2008. 7-сон. Б. 40.

¹¹ Джеймс Джойс. Улисс. – М.: Эксмо, 2008. С. 772.

¹² James Joyce. Ulysses. – Penguin Books, 1992. p. 52.

¹³ Джеймс Джойс. Улисс. – М.: Эксмо, 2008. С. 52.

¹⁴ Улисс саргузаштлари. Гафуров И. // Жаҳон адабиёти. 2008. 7-сон. Б. 45.

*Қилиғинг ўнглагин ва тилингни тий,
Шунда суҳбатларинг бўлади гўзал.
Қилгил сўнгра мен бирла суҳбат,
Зулмат йўқолади ва бўлар бўса.*

Необходимо подчеркнуть, что для адекватности перевода важно учитывать, что вспомогательные части речи, такие как предлог, артикль, частица и междометие, выражают определенное лексическое или грамматическое значение. Русские переводчики не смогли оценить этого, что привело к неадекватности текста-оригинала в переводе¹⁵.

Надеемся, что бесценный роман «Улисс» рано или поздно будет полностью переведен с оригинала на узбекский язык с учетом языковых тонкостей, дающих возможность читать произведение как в

подлиннике. Было бы отраднo, чтобы у нас в стране начался перевод романа непосредственно с оригинала, т.е. с английского языка на узбекский.

В заключение следует особо отметить, что для непосредственного перевода целесообразно подготовить специалистов-переводчиков, осваивающих теории общего языкознания, сопоставительной лингвистики, лингвокультурологии и лингвистического переводоведения, а также хорошо знающих философию, культурологию, теологию, фонетику, грамматику, лексикологию, стилистику, литературу, историю языка, культуру языка, духовности речи, историю религии и религиозные обряды народов как переводимого, так и переводящего языков.

¹⁵ Умрзақов Т.Б. Аслиймонанд таржима муамолари. «Жаҳон адабиёти», 2010, №1, Б. 191–194

публицистика

Юрий МОРИЦ,кандидат филологических наук,
доцент

Юрий Александрович Мориц родился в 1927 году в России (г. Белинский, Пензенской области). В 1938 году семья переехала на постоянное место жительства в Узбекистан. В 1942 году, оставив школу, поступил на военный завод рабочим. Был награжден медалью за доблестный труд в годы Второй мировой войны. В 1963 году после окончания филологического факультета ТашГУ (ныне Национальный университет Узбекистана) остался работать в университете на кафедре русского языка и литературы. Кандидат филологических наук, доцент, член Союза писателей Узбекистана.

Ю.А. Мориц автор книг «Поэт – человек влюбленный» (статьи), «Дожди 43-го», «Кто в тебе живет?», «Принцесса Ирен», а также многочисленных статей, посвященных русской классической литературе.

ИММОРАЛИЗМ В АСПЕКТЕ АКСИОЛОГИИ

Нравственность и искусство. Их соотношение издавна волновало умы художников слова, критиков и ученых. При ответе на непростой вопрос: нужна ли искусству нравственность, мнения знатоков разделяются. Одни говорят – нужна, другие удаляют это понятие за пределы искусства. Вот что писал об этом А.С. Пушкин: «Поэзия выше нравственности, – или, по крайней мере, совсем иное дело... какое дело поэту до добродетели или порока».¹

Афанасий Фет в стихотворении «Добро и зло» вторил любимому поэту:

*Пари всезрящий и всеильный,
И с незапятнанных высот
Добро и зло, как прах могильный,
В толпы людские отпадет.*

Другой несомненный авторитет в области творчества Генрих Гейне, напротив, защищает высоконравственную поэзию (дидактическую), имеющую своим предметом просвещение и «улучшение человека».

«Творчество аморально, – пишет Иннокентий Анненский в «Книге отражений», – и лишь в том случае, когда искусство приспособляется к целям воспитательным или этическим, оно руководствуется чуждыми его природе критериями».² Миропонимание, философичность, по убеждению И. Анненского, не свойственны лирике как жанру. И развивая эту мысль, утверждает: «Я измеряется для нового поэта не завершившим это я идеалом или миропониманием, а болезненной безусловностью мимолетного ощущения».³

Идея аморальности искусства не представляется бесспорной. Серьезный теоретик и историк литературы Лидия Гинзбург подходит к этой проблеме исторически. Она внимательно рассматривает тему демонизма, попытки вывести литературу за пределы нравственных категорий добра и зла и объявить зло предметом лирического восхищения. «Декадентство, – пишет Л. Гинзбург, – все более склонялось к «имморализму», но оно никогда не могло уйти от структурной

¹ Пушкин А.С. Полное собр. соч. в 10-ти томах. Т.5. – М., 1949. С. 461.

² Анненский И. Книги отражений. – М.: Наука, 1979. С. 111.

³ Там же. С. 109.

для него категории зла, то есть категории этической».⁴

Этической категории «зло» соответствуют понятия: безобразное, низменное, ужасное, являющиеся его эстетическими эквивалентами. Имеется теснейшая связь между эстетикой и этикой и от этого искусству никуда не уйти. А если это так, то вопрос с неизбежностью переносится в иную плоскость: требуется выяснить место безобразного, низменного, имморального в искусстве, их значение с точки зрения аксиологии, то есть проблемы ценности.

Художественно осваивая безобразные, ужасные явления жизни, искусство их сублимирует в этически отрицательные, но эстетически полноценные персонажи и символы. Это отрицательные фольклорные образы, антигерои литературы, объекты сатиры. Сложнее обстоит дело с созданием и уяснением образов амбивалентных, когда открывается широкий простор для поэтизации зла.

В начале XX в. теоретиков искусства особенно привлекало дионисийское начало в поэзии. По-новому осмысливается опыт А.С. Пушкина, он тщательно анализируется именно в аспекте дионисийства. Низкое, низменное в творчестве Пушкина получает у этих теоретиков психологическое, а вслед за ним и этическое обоснование и даже восхваление.

Опираясь на свидетельства А.О. Смирновой, Д.С. Мережковский в статье «Пушкин» говорит о том, что Пушкин в своих беседах указывал на душу как на источник зла и видел в зле обаяние, позволяющее ему овладеть душой. Падший ангел прекрасен и коварен, Дионис – бог тайны, неги, сладострастия поэтизируется Пушкиным, точно так же, как и ужас. «С трудом верится, – утверждает Мережковский, – что гениальный художник слова, художественно воплотивший образ Клеопатры, царицы смерти и нег, создал и чистый образ Татьяны. Всего любопытнее, что эта уездная русская барышня, подобно Клеопатре, любит загадочный мрак, любит ужас. Поэт говорит о Татьяне:

*Но тайну прелесть находила
И в самом ужасе она.*

В страстях самых низких Пушкин, которого в этом отношении можно сравнить только с Шекспиром, находит черты героизма и царственного величия».⁵

Автором приведенных строк, к сожалению, не отмечается, что в контексте всего творчества Пушкина имморальное занимает ничтожно малое место.

В современной литературной теории считается возможным дионисийское начало наделять статусом позитивной категории, рассматриваемой рядом с категориями прекрасного и возвышенного. В.Е. Хализев в своем труде «Теория литературы» пишет следующее: «Возвышенному в немалой степени родственно (хотя и отлично от него) дионисийство, ставшее в XX в. весьма существенной эстетической категорией благодаря Ф. Ницше, автору трактата «Рождение трагедии из духа музыки». Новизна эстетической концепции Ницше, как видно, состояла, прежде всего, в апологии дионисийской безудержности. И эта апология оказалась весьма созвучна символистской эстетике».⁶

Известно, что апология зла во всех его проявлениях и разновидностях становится одним из устойчивых мотивов творчества декадентов и представителей близких им литературных течений. Декаденты поднимают на щит творчество Достоевского, выпустившего джина зла из бутылки. Полифония Достоевского – это свобода полярных «голосов-идей» (М. Бахтин), их равноправие. Голос, поэтизирующий зло, торжество абсурда, приобретает в творчестве Достоевского авторитетность, то есть относительную самостоятельность и независимость. Что из этого следует, показал Р.Г. Назиров в статье «Об этической проблематике повести «Записки из подполья». «Подпольный человек Достоевского, – пишет ученый, – это «поздний романтик». Его романтизму свойственна демонстративная аморальность – это романтизм подлости. Антигерой Достоевского (парадоксалист, а затем Ставрогин) рассматривает подлость как эстетически выразительное явление. Боясь оказаться ординарным, подпольный человек готов приобрести статус злодея».⁷

Разумеется, Достоевский развенчивает или пытается развенчать своего антигероя, но последний, возникнув как художественное явление, получает возможность жить в художественном сознании читателей самостоятельно, независимо от воли автора, пирая развенчивающие его постулаты.

⁴ Гинзбург Л.Я. О лирике. – Л., 1974. С. 9.

⁵ Мережковский Д.С. Пушкин. // Пушкин в русской философской критике. – М.: Книга, 1990. С. 139.

⁶ Хализев В.Е. Теория литературы. – М.: Высшая школа. 1999. С.20–21.

⁷ Назиров Р.Г. Об этической проблематике повести «Записки из подполья» // Достоевский и его время. – Л.: Наука, 1971. С.149, 152.

В XX в. имморализм как принцип человеческого поведения и пафос так называемого искусства завоевал основательные позиции. Если у Достоевского эстетизация зла совершается развенчиваемым героем, то через несколько десятилетий этим делом, не задумываясь о развенчании зла, будут заниматься как художники слова, так и театрики искусства.

В книге А.В. Гулыги «Принципы эстетики» приводятся примеры обескураживающих суждений теоретиков Запада. Так, немецкий философ К. Фидлер призывал к изгнанию эстетики из сферы рассмотрения искусства, поскольку они, по его мнению, не имеют между собой ничего общего. Американский профессор Х. Дикман ратует за утверждение безобразного, а немецкий искусствовед И. Гианарас заявил о том, что наука о прекрасном сегодня невозможна, поскольку место прекрасного заняли новые ценности, так называемые шок-ценности: новизна, интенсивность, необычность.⁸

Практика модных авангардистских течений связана с такими тенденциями, как сужение сферы содержательности литературы, игнорирование ее созидательной функции, апологетика абсурда, ревизия ценностных критериев. Все это облегчает легализацию безобразного, низменного.

Примечательно, что одна из самых значимых категорий эстетики – идеал устраняется из теории. В учебнике В.Е. Хализева «Теория литературы» (1999) этого термина нет вообще. Изгнано и понятие проблема, а вот практика игры актуализируется настолько, что понимается иными теоретиками (И. Карпов) как необходимейшее условие не только художественной, но и критической деятельности.

Ведущий критик российского журнала «Знамя» Сергей Чупринин в статье «Сбывшиеся надежды» заявил, что у него «отвращение вызывают книги, ставящие своей целью исправление нравов, пропаганду всего хорошего».⁹ По мнению критика, рассказывать следует «что угодно, лишь бы не скучно». Таким образом, потребительский аспект (удовольствие) делается доминантным, определяющим ценность произведения.

Но ведь давно известно, что особенность индивидуального, субъективного восприятия искусства ни в коем случае нельзя делать оценочным фактором, по-

скольку это противоречит основному принципу аксиологии – оценочное суждение выносится не по критериям индивидуального прихотливого вкуса, а на основе совокупности критериев эстетически значимых, существенных.

В связи с этим следует заметить, что в последние десятилетия все большую авторитетность приобретает мысль о приоритете формы над другими ценностными критериями. Критик Е. Кладо справедливо замечает: «В нашей среде настолько значим приоритет таланта над духовным светом, что мы готовы заглотить любой экранный продукт, сделанный мастерски» («Труд», 21 марта 2001). То же можно сказать и о литературе. Приоритетно мастерство как таковое. Как это ни парадоксально, мастерство как виртуозное владение приемами изобразительности оказалось на орбите всемогущей моды. Не модно говорить о смысле, об идее и тем более – об идеале. Не модно пользоваться строгими научными критериями. Модно восхищаться «приемами». Эта опасная тенденция ведет к вседозволенности в сфере искусства, к торжеству имморализма.

В «Теории литературы» В.Е. Хализев определяет понятие искусства как создание эстетических ценностей, то есть в плане аксиологии. Но сама ценностность – «это нечто обладающее позитивной значимостью. Она может быть реально существующим предметом либо метафизическим («общезытийным») началом, мыслимым и воображаемым. В качестве умопостижимых ценности играют в жизни людей роль неких ориентиров (маяков)».¹⁰

Подобный подход к пониманию сущности искусства в силу своей неопределенности не позволяет поставить заслон безобразному, трактуемому как эстетическая ценность. Эту задачу способно осуществить лишь понимание искусства как художественного постижения мира по законам красоты, освоение, предполагающее ориентацию на эстетический идеал. Лишь в соотносении с идеалом уясняется принадлежность произведения к искусству или же к деятельности, ничего общего с ним не имеющей. Уяснение этого принципа имеет значение при решении вопросов аксиологического характера.

Необходимо четко различать следующие виды имморальных реалий. Первый – это крайний имморализм, когда исключение

⁸ Гулыга А.В. Принципы эстетики. – М., 1987. С. 91–93.

⁹ Чупринин С. Сбывшиеся надежды // «Знамя», 1993. №9. С. 182.

¹⁰ Хализев В.Е. Теория литературы. – М.: Высшая школа. 1999. С. 79.

непотребных опытов из сферы искусства не вызывает серьезных возражений (например, порнография). Второй случай. Имморализм составляет лишь мотив, звено в художественной системе и эстетически осваивается, то есть преодолевается. И, наконец, третий случай, самый сложный. Это когда имморализм активно вторгается в искусство и теорию как «последнее слово» художественного и научного мышления. Это и есть процесс разрушения эстетики – следствие того духовного кризиса, который переживает современное общество.

Подлинно научная оценка художественного явления определяется выяснением характера отношения художника к безобразному: либо он его эстетически преодолевает, развенчивая, либо поэтизирует. Поэтизацию безобразного следует определить как апологию бездуховности, как пресловутую смердяковщину, вторгшуюся в сферу искусства.

Хочется напомнить слова Л.Н. Толстого: «Искусство есть одно из самых могуще-

ственных средств внушения. А так как внушение может быть порочное (и порочное всегда легче внушается) и хорошее, то ни перед какими способами внушения не надо быть больше настороже, то как перед внушением искусства».¹¹

У Александра Грина есть рассказ «Искатель приключений», созданный в 1915 году. Герой этого рассказа Доггер, гениальный художник, чувствуя в своем таланте присутствие страшного разрушительного начала, посчитал необходимым скрыться от людей, чтобы никто не увидел его «злого искусства», порожденного «темными инстинктами души».

В наше время следование примеру Доггера было бы благотворным для искусства, имеющего высокое предназначение – служить не капризам и прихотям заблудившегося ума, а утверждению жизненно важных идей, служащих интересам всеобщей пользы.



¹¹ Толстой Л.Н. Круг чтения. В собр. соч. Т.14. – М., 1912. С.218.